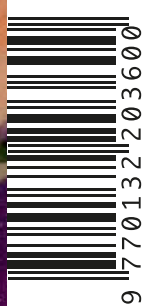


*Инженеры человеческих душ\**  
\* Выражение Юрия Карловича Олеши



Хелью Ребане  
Читайте на стр. 77



ФЕВРАЛЬ  
ЮНОСТЬ · 2015

# ЮНОСТЬ



№ 2 (709) 2015

Литературно-художественный и общественно-политический журнал. Выходит с июня 1955 г.

12+

## *Наше всё*



### Владимир ВЫСОЦКИЙ

Владимир Высоцкий никогда не печатался в «Юности». А ведь очень хотел напечататься — и одним этим желанием великий поэт связан навсегда с нашим журналом. Сегодня как-то забылось, что многие собраты по цеху свысока смотрели на творческие поиски Владимира Семеновича, изредка похлопывая его по плечу, причем в прямом смысле. И многие так называемые друзья гениального поэта сегодня плетут небылицы, а в ту трагическую эпоху душили, затапывали его дар, да и самого Высоцкого. Вот ставшая легендой история об отношениях Владимира Семеновича с журналом «Юность». На выставке молодых художников в «Юности» Высоцкого подвели к некоему чиновнику-редактору. Взяв рукописи поэта, «партийный», упитанный и благоухающий чинуша от литературы, похлопал Высоцкого по плечу, приговаривая: «А ты все пописываешь!» Через некоторое время поэт вновь оказался в редакции, чтобы узнать о судьбе своих стихотворений. И тот же чинуша сквозь ровный ряд безупречных зубов процедил: «Владимир Семенович, зачем вам печататься в “Юности”, вы же не член партии!» Свидетели говорили, что у Высоцкого на лице заходили желваки, но он не вымолвил ни слова — прошел к огромному, тяжелому столу, забрал рукопись и твердыми шагами вышел из кабинета... Повторимся: история эта уже стала легендой и передается из уст в уста, многих ее участников давно нет на свете... Но такую горькую правду среди аккуратно выложенных придумок должно знать. И еще. Выходит, что не только публикации важны. Важны и — «непубликации». Возможно, беспросветная ситуация с поэзией Владимира Высоцкого — это самая трагическая «непубликация» в истории нашего журнала.

- Татьяна Скрудзь: «На развилке из трех дорог»
- Лев Аннинский: «Очередная война цивилизаций»
- Новая повесть Бориса Евсеева не оставляет выбора читателям
- Михаил Синельников: «Моя печаль смеялась то и дело»
- И снова о тунейдце... Бродском
- Русского Шукшина взялся ставить Театр Наций
- У гениального Сент-Экзюпери была особенная звезда
- Писатель из Макеевки Станислав Асеев жонглирует буквами и мыслями
- Мы чувствуем холод — нам холодно, мы чувствуем радость — нам радостно, но «вкусно» — совсем из другой оперы...
- Оногдысь на передызье было порато студенó
- Одна из неожиданностей нынешней культурной жизни — интерес к советской литературе
- Американский прозаик Лоуэлл Ховард Морроу (1870—1951) и продолжение его антиутопии «Омега, человек»
- Хелью Ребане воспела эстетику нового быта
- В детективе гибнет великая держава
- В зеленом портфеле — письмо Путину о поликлиниках
- Галка Галкина: «Просто это — любовь!»
- Проказник ГЕО: к 100-летию Гео
- На стендах «Юности». Инна КАбыш: «Художник в России больше, чем художник, если это Павел183»





*Поэты России*



Татьяна Скрудзъ  
Читайте на стр. 4

*Поэты России*



Михаил Синельников  
Читайте на стр. 30

# ЮНОСТЬ

Литературно-художественный и общественно-политический журнал  
Выходит с июня 1955 г.

№2 (709) 2015

«ЮНОСТЬ» © С. Краусаускас. 1962 г.



*Главный редактор*  
**Валерий ДУДАРЕВ**

*Редакционный совет:*

**Ильдар АБУЗЯРОВ**  
**Анатолий АЛЕКСИН**  
**Лев АННИНСКИЙ**  
**Зоя БОГУСЛАВСКАЯ**  
**Анна ГЕДЫМИН**  
**Тамара ЖИРМУНСКАЯ**  
**Елена ИСАЕВА**  
**Кирилл КОВАЛЬДЖИ**  
**Валерий КОЗЛОВ**  
**Владимир КОСТРОВ**  
**Нина КРАСНОВА**  
**Татьяна КУЗОВЛЕВА**  
**Евгений ЛЕСИН**  
**Георгий ПРЯХИН**  
**Владимир РАДЧЕНКО**  
**Ольга РЫЧКОВА**  
**Елена САЗАНОВИЧ**  
**Александр СОКОЛОВ**  
**Борис ТАРАСОВ**  
**Елена ТАХО-ГОДИ**  
**Олег ТОЛКАЧЕВ**  
**Игорь ШАЙТАНОВ**  
**Андрей ШАЦКОВ**

*Редакционная коллегия:*

заведующая отделом  
образования и молодежной  
политики  
**Славяна БАКУНИНА**  
обозреватель  
**Платон БЕСЕДИН**  
главный художник  
**Дмитрий ГОРЯЧЕНКОВ**  
заведующая отделом критики  
**Елена МАКСИМОВА**  
заведующий отделом культуры  
**Татьяна МАХОВА**  
заместитель главного редактора,  
заведующий отделами  
прозы и поэзии  
**Игорь МИХАЙЛОВ**  
заведующий отделом  
зарубежной литературы  
**Евгений НИКИТИН**  
главный консультант  
**Эмилия ПРОСКУРНИНА**  
консультант главного редактора  
**Евгений САФРОНОВ**  
ответственный секретарь  
**Светлана ШИПИЦИНА**

Учредитель — трудовой коллектив  
редакции журнала «Юность».

«ЮНОСТЬ» — зарегистрированный  
товарный знак, являющийся  
собственностью трудового  
коллектива редакции журнала  
«Юность».

Выпуск издания осуществляется  
при финансовой поддержке  
Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям.

подписной индекс **71120**

ISSN **0132-2036**

Наша почта: [unost-contact@mail.ru](mailto:unost-contact@mail.ru)

Наш сайт: <http://unost.org>

Страница на «Фейсбуке»:

<https://www.facebook.com/unost>



## В НОМЕРЕ:

### *Поэзия*

- Татьяна СКРУНДЗЬ ..... 4  
Михаил СИНЕЛЬНИКОВ ..... 30

### *Проза*

- Борис ЕВСЕЕВ  
**ОФИРСКИЙ СКВОРЕЦ** Повесть. Продолжение ..... 10  
Станислав АСЕЕВ  
**МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК,  
КОТОРЫЙ ДУМАЛ** Роман-автобиография. Продолжение ..... 47  
Хелью РЕБАНЕ  
**ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ** Повесть. Продолжение ..... 77

### *Что возмutilo вас?*

- Лев АННИНСКИЙ  
**ПОДХВАТ ЯРОСТИ — ЛОГИКА ПРЕВЫШЕНИЙ** ..... 8

### *100 книг, которые потрясли мир*

- Елена САЗАНОВИЧ  
**АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ.  
«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» И БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА** ..... 44

### *Как беден наш язык!*

#### **ПОЖАЛУЙСТА, ГОВОРИТЕ ПО-РУССКИ!**

- Марианна ТАРАСЕНКО  
**МНЕ ВКУСНО! КАК ГРУСТНО...** ..... 65

#### **В СВОЕЙ СТРАНЕ Я СЛОВНО ИНОСТРАНЕЦ**

- Мария СОЛОМАТИНА  
**ОНОГДЫСЬ НА ПЕРЕДЫЗЬЕ  
БЫЛО ПОРАТО СТУДЕНО** ..... 67

### *Страницы Льва Аннинского*

#### **ЗАМЕТКИ НЕИСТОРИКА**

- БРОДСКИЙ ПРИБОЙ.  
«МИМО БОЛЬШИХ БАЗАРОВ...»** Продолжение ..... 42

#### **ЗАМЕТКИ НЕТЕАТРАЛА**

- ШУКШИНСКИЙ ОКЛИК** ..... 43

### *Разнообразие слога*

- Алла МАРЧЕНКО  
**ПЕРЕКЛИЧКА**  
Несколько соображений по поводу двух знаменательных культурных событий прошлого года: 125-летия со дня рождения Ахматовой и 200-летнего юбилея Лермонтова ..... 69

Заведующая редакцией  
**Лидия ЗЯБКИНА**

Заведующий отделом информации  
**Игорь РУТКОВСКИЙ**

Специальный корреспондент  
**Екатерина КОРНЕЕНКОВА**

Специальный корреспондент  
по Белгородской области  
**Нила ЛЫЧАК**

Редактор-корректор  
**Юлия СЫСОЕВА**

Верстка и оформление  
**Наталья ГОРЯЧЕНКОВА**

Фотокорреспондент  
**Антон ШИПИЦИН**

Главный бухгалтер  
**Алла МАТЮХИНА**

Финансовая группа  
**Лариса МЕЛЬНИКОВА**

Заведующая отделом рукописей  
**Ирина УШАКОВА**

Интернет-версия  
**Максим ПОПОВ**

Заведующая отделом распространения  
**Яна КУХЛИЕВА**

Дежурные по редакции  
**Людмила ЛОГАЧЕВА**  
**Татьяна СЕМЕНОВА**  
**Татьяна ЧЕРЫГОВА**

Координатор литературного  
объединения  
**Марина КУЛАКОВА**

Администратор  
**Зинаида ПОТАПОВА**

## *Уноземный сюжет*

**РУБРИКУ ВЕДЕТ ЕВГЕНИЙ НИКИТИН**

Лоуэлл Ховард МОРРОУ

**ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК** Фантастическая повесть. Продолжение..... **74**

## *Творческий конкурс*

Дмитрий МИЛОВ г. Москва ..... **86**

Нора НИКАНОРОВА г. Москва ..... **87**

Дмитрий БАТРАКОВ г. Москва ..... **88**

Валентина СВИРИДОВА г. Москва..... **89**

Анна МАЯКОВА г. Москва..... **90**

Нина ГОЛОВАНОВА г. Москва ..... **91**

Лариса ЧЕРНИКОВА Ярославская обл. .... **92**

Сергей ГАЗИН Киев – Москва..... **93**

Тамара АЛЕКСЕЕВА г. Липецк ..... **94**

Татьяна МЕДИЕВСКАЯ г. Москва ..... **103**

## *В конце концов*

**ДЕТЕКТИВ НА НОЧЬ**

Валерий ЛАМЗОВ

**ВИЗИТ КОРРЕКТОРА**..... **107**

**ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ**

Марина КУЛАКОВА

**ОДИННАДЦАТЬ НОЛЬ-НОЛЬ** ..... **140**

**ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ**

Галка ГАЛКИНА

**ПРОСТО ЭТО — ЛЮБОВЬ!** ..... **144**

**VERIORA VERIS**

Проказник ГЕО, человек-юбилей

**К 100-ЛЕТИЮ ГЕО** ..... **145**

## *На стендах «Юности»*

Инна КАБЫШ

**КАКОЕ ВАШЕ ДЕЛО?** ..... **146**

**УВИДЕТЬ ПАРИЖ...** ..... **147**

Паша183 ..... **156**

Лиц. Минпечати № 112.

Адрес редакции:

Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская,  
д. 8, стр. 1.

Для почтовых отправлений:

125047, Москва, а/я 182, «Юность».

Тел.: +7 (499) 251-31-22,

+7 (499) 250-83-98,

+7 (499) 250-40-72,

тел./факс: +7 (499) 250-40-60

Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Авторы несут ответственность  
за достоверность предоставленных  
материалов. Мнения автора  
и редакции могут не совпадать.

При перепечатке материалов ссылка  
на журнал «Юность» обязательна.

Отпечатано в «Академиздатцентр  
«Наука» РАН», ОП ПИК  
«ВИНИТИ»–«Наука»

140014, Люберцы, Московская обл.,  
Октябрьский пр., 403

Тел. +7 (495) 554-21-86

Тираж 6 500 экз. Формат: 60x84/8

Заказ №



Татьяна СКРУНДЗЬ

Татьяна Скрудзь родилась в 1982 году в Липецке. Поэт, прозаик. Оканчивает Литературный институт имени А. М. Горького, публиковалась в журналах «Урал», «Сибирские огни», «Журнал ПОэтов», «Новая реальность», «Кольцо А» и др.

## В тупике

**П**оэзия — это такой способ организации речи, который приносит в речь дополнительную меру (измерение), не определенную потребностями обыденного языка. А если серьезно, то размышления о поэзии поставили меня

в тупик, ибо пафос поэзии не к лицу, простота, говорят, обязана быть гениальной, иначе она превратится в невежество. Поэтому на скорую руку сейчас не могу представить читателям достойное размышление.

Татьяна Скрудзь

### Ода поэту

Кто хочет быть поэтом?  
 Пиджак, борода и коллекция толстых журналов.  
 У него в карманах — говорящие мышцы,  
 диктующие сатирические междометия и обороты.  
 А от любовной икоты  
 поэт имеет несколько капель душистого спирта,  
 которые он разводит соленым раствором слез.  
 То ли плачет, то ли смеется.  
 И ежедневно стирает грязное белье в мазуте цивилизации.

Можно пойти в Академию, учиться хирургии, маммопластике,  
 растить цинизм как коноплю на подоконнике.  
 Но никто не переплюнет поэта в мастерстве взрезать плоть  
 и ковыряться во внутренностях.  
 Он будет насмехаться над исповедальным,  
 курить твои мысли  
 и говорить, что сам их выдумал,  
 а втихаря подкармливать сахаром грустных мышей в карманах.

Я не хочу быть поэтом:  
у меня никогда не вырастет борода.  
Да и смеяться не выгодно — гуинпленов и так достаточно.

### **ЛИ им. Горького**

А я сегодня на Патриарших  
разговаривала с одной вороной.  
Так вот, она утверждала, что Маргарита не умерла,  
а тусуется где-то на Бронной,  
в среде наших.  
А Мастер... Мастера не было никогда...  
Представляешь?  
Желтые цветы цветут по-прежнему...  
им даже март по фиг!  
Только (слышала я) колокола  
весьма настойчиво звали на кофе  
с Маргаритой...

### **БАБЬЕ ЛЕТО**

Гуляет лето по осени,  
Бабами хохоча.  
Да стали виски с проседью.  
Да каблучки стучат.  
И верят старые дворники,  
Что их бесконечен век,  
Когда бросается под ноги  
Оранжевый фейерверк.

### **ВЛЮБЛЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК**

Такой разговаривает музыкой и стихами.  
Говорит во сне, но обычно молчит вне сна.  
Время его — единственный месяц — май, и  
Не его — лето, осень, зима и остальная весна.  
Если кошки поют во дворах, он вторит  
Их невысказанной ясной космической жажде в теле.  
Если воют собаки, он тоже воеет  
О прощании, доме, верности и измене.

\* \* \*

Это было не у моря,  
Это было где-то там,  
Где ни воли нет, ни горя,  
Где не платят по счетам.

Это было там, где трудно  
 Выражать простую мысль.  
 Там, где патриот занудно  
 Клеветит в либерализм.  
 Там, где либерал убогий  
 Бьет патриотизм под дых.  
 Там встречались три дороги:  
 Правых, левых и святых.

\* \* \*

Мой сочельник, мой приход.  
 Рыба треплется об лед.  
 В человеческой во плоти  
 Груз не вынести.  
 Окунуться в прорубь-стынь,  
 Целовать киот святынь,  
 Скинуть тяжесть, веры прыть  
 Полюбить.  
 Разглядеть в толпе Христа,  
 Перекрестье в три перста.  
 Получить на все ответ:  
 Смерти нет.  
 Есть рождение и жизнь,  
 Есть величие святынь,  
 Грех и Божья благодать.  
 Царь и тать.  
 Выбирай, чего стоишь.  
 Хочешь — царство, хочешь — шиш.  
 За тебя внесен залог:  
 Крест и Бог.

### Яффо. Голуби

В развалинах у старого Яффо  
 Мы слышали писк,  
 Похожий на беседу тысячи голосов сразу:  
 Беседу о великом сотворении мира,  
 Споры о том, что появилось первым — день или ночь.  
 Так и было: под куполом разрушенной церкви металась летучие мыши,  
 И так они волновались,  
 Ослепленные лучом света,  
 Что проникал во тьму здания в это время суток.  
 К решетке с глупой вывеской  
 «Осторожно, ведутся ремонтные работы»  
 Мы припали с интересом и внимательно вглядывались  
 В мультяшно клокочущий полумрак,  
 Полный тоненьким многоголосьем.



Дети смеялись, незадумчивые, счастливые:  
«Мама, смотри, смотри, как их много!  
Целая туча. И как быстры, будто черные молнии.  
Неужто они вампиры?»  
И пугались игрушечно.  
А я смотрела на балку под сферой потолка с выщербленными,  
Кривыми кирпичами.  
На ней сидели два голубя — сизых — и целовались.  
И я вспоминала Блока — а как же!  
Но не завидовала голубям.  
А лишь печалилась,  
Что никого рядом того, с кем можно было бы разделить свой восторг:  
Смешные твари не замечали голубей,  
Носились вокруг, да все мимо.  
А те были увлечены друг другом и ворковали,  
Заглушая, казалось, мышинный суетливый писк.  
Так тихо и искренно они любили  
Под рассыпающимся сводом  
Старого францисканского храма.

### Развилка

Перед камнем тяжелым стоя  
на развилке из трех дорог,  
я вас помню, любимые мною,  
и надеюсь, что помнит Бог.

Рвется в клетке судьба, ревнуя,  
норовя из оков улететь.  
Как сдержать ее, не минуя  
чью-то жизнь или чью-то смерть?

И чтоб день мой не стал бесплодным  
а написанное — не пустым,  
я иду путем, неугодным  
захмелевшим мирам больным.

И когда рыжеокий вечер  
тени длинные склонит к ногам,  
я на все вопросы отвечу  
и неотданный долг отдам.

И когда я дойду до храма,  
постарев неожиданно, вдруг...  
Я скажу тебе правду, мама,  
и тебя обниму, мой друг.



**Лев АННИНСКИЙ**

Лев Аннинский — критик, писатель, литературовед, член редакционного совета и ведущий постоянных рубрик журнала «Юность».

Родился в 1934 году в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ. Выбора профессии не было — был выбор специальности, каковою стала русская литература. Еще в восьмом классе, с первых сочинений, Лев решил заниматься ею и только ею. Причем в любом профессиональном качестве. Если бы он не стал литературным критиком, то стал бы учителем-словесником. Был готов делать все что угодно: читать, работать в музее, библиотеке — лишь бы находиться в царстве русских текстов...

Понять каждого, сохранить внутреннее равновесие, придать «человеческое лицо» тому, что дала судьба; не поддаваться никакому яду, мороку, самообману, обрести тайную свободу — такие задачи ставил Л. Аннинский перед собой. Его озорством было напечататься параллельно в двух взаимоисключающих журналах того времени: в «Октябре» и «Новом мире». Это удалось только раз, но ругали его и там, и тут...

Основные книги Льва Аннинского: «Ядро ореха. Критические очерки» (1965), «Обрученный с идеей» («Как закалялась сталь» Николая Островского», 1971), «Василий Шукшин» (1976), «Тридцатые-семидесятые; литературно-критические статьи» (1977), «Охота на Льва (Лев Толстой и кинематограф)» (1980, 1998), «Лесковское ожерелье» (1982, 1986), «Три еретика. Повести о Писемском, Мельникове-Печерском, Лескове» (1988), «Локти и крылья. Литература 80-х: надежды, реальность, парадоксы» (1989), «Крепости и плацдармы Георгия Владимова» (2001), «Какая Россия мне нужна» (2004), «Красный век (О поэтах двадцатого века)», 3 тома (2004-2013), «Век мой, зверь мой...» (2004), «Архипелаг гуляк» (2005), «Барды» (1999, 2005), «Родная нетовщина» (2008), «Меч мудрости» (2009), «Распад ядра» (2009) и другие.

Литературный процесс в России — суть жизни Льва Аннинского, его биография.

## ПОДХВАТ ЯРОСТИ — ЛОГИКА ПРЕВЫШЕНИЙ

**М**иллионное шествие парижан в ответ на расстрел редакции сатирического журнала. Реакция законная? Да, но с диким превышением. В России исламские террористы гробили не по полтора десятка жертв, а по полторы сотни. И никто в Европе не ожидал от нас миллионных шествий. Наоборот, мы законом запре-

тили карикатурное издевательство. Есть пределы вызова.

А во Франции такое законно? Да! Но почему французские журналисты так же демонстративно превышают пределы вызова? Они что, не понимают, что реакция будет превышена?! Что обиженные мусульмане станут стрелять?! Что обернутся

поясами шахидов и будут искать мученической смерти?

Понимают. И оскорбляют намеренно — с превышением. Провоцируя еще и доводами: мы, мол, французы, имеем право! Мы — люди свободного самовыражения! Наши одаренные художники так развлекаются и развлекают зрителей и читателей! Рисуйте и вы в ответ карикатуры, а вы — стрелять! Дикари! Живите по нашим законам, вы на нашей земле!

«Наша земля» — очередное провокационное превышение доводов. Кто звал вас, арабов, сюда, во Францию?

Да вы же и звали! Семьдесят лет назад, когда Европа после войны лежала в развалинах и некому было восстанавливать страну. Тогда вы работников и позвали. Откликнулись итальянцы. А потом и арабы.

Позвали — поработать! А те приперлись миллионной массой, оккупировали парижские пригороды и устроили здесь свой исламский хипеш! Превышение! Еще какое!

Ответ: а почему за полтысячелетия до этого европейцы приперлись в Африку со своими законами? И сделали в Алжире французскую колонию! Это было нормальное переселение? Да, но с диким превышением...

Вот это и лежит в основе и расстрела редакции, и миллионного шествия в ответ. Ненависть в основе. Копящаяся жажда реванша в мирных душах.

За плечами боевых исламистов — миллиард мирных мусульман. Мирных — пока их что-то не подожжет. Когда пятнадцать лет назад боевики захватили самолеты и врезались в нью-йоркские небоскребы — мирные исламские деревни по всему миру начали плясать от злорадной ярости! Тогда исламский вождь Ясир Арафат объявил себя больным — чтобы не отвечать за этот взрыв народных чувств.

Чувства дремлют в миллиардной массе мирных мусульман. Дело не в безумствах вождей, вожди, конечно, безумствуют, но они потому и безумствуют, что чувствуют в дремлющих мирных массах интуитивное ожидание мирового реванша: пол-

тысячи лет «белое» человечество диктует миру образ жизни, оставляя «Востоку» роль покорных слушателей. А ведь был же в седьмом веке звездный час Востока! И триумф халифатов, до Вены и Мадрида дошедших! До Крыма и Кавказа! России тогда пришлось выяснять отношения с Турцией — кровью чертили новые границы!

Теперь нависает реванш? Запад теряет силы: Америка и Европа тяготеют с Россией, и украинцы, ненавидя русских, подтверждают жуткие предчувствия Достоевского о славянским расколе, а Восток, чуя это, собирает силы. Пока это начало, но оно дает себя знать жутким превышением злобы в каждый момент, когда интересы пересекаются.

Французам хочется самовыражаться, арабы в ответ стреляют.

Ну, так жили бы в соседних государствах! Границы нужны! Как между албанцами и сербами...

Так ведь и французское самовыражение границ не знает! Шенгеном границы упразднили по всей Европе! Демократия! Езжай кто куда хочет! Турки в Германию, арабы во Францию...

Надеетесь ассимилировать их в западном духе? А дети этих приезжих, окончив французские университеты (и германские, и британские) — то есть имея «белое» воспитание и законное гражданство, — идут взрывать метро в Лондоне, Париже, Мадриде... и ищут себе наставников, чтобы девать куда-то дикую энергию, копящуюся в крови... И находят наставников, которые указывают на «неверных».

Пророк никогда не звал к крови! Зовет — природа, таящаяся в психологии миллионов, которые ищут и отстаивают свое место на этой земле. Найдут причину и возненавидят... с превышением. За карикатуру — автоматная очередь, за полтора десятка убитых — полуторамиллионное шествие молчаливой солидарности...

Что надвигается?

Очередная война цивилизаций...

Может, с нас хватит на этот раз?

Господи, сохрани Россию. Убереги наших внуков, если уж не уберег отцов и дедов...





Борис ЕВСЕЕВ

Продолжение. Начало в № 1 за 2015 год

## ОФИРСКИЙ СКВОРЕЦ

ПОВЕСТЬ

Рисунок Настасьи Поповой

### NUDA VERITAS. КОЛОБРОД И СКВОРЕЦ

**Ч**то есть русский повеса, русский колоброд — сегодня?

Узоры на ногтях и печаль в глазах? Ценные бумаги Газпрома и смутные связи в Лондон-сити? Не только. Нынешний колоброд — это невыводимая тоска по настоящему делу и безделье на всю катушку. Это мимолетные девушки и постоянные, сующие пачки кредиток в задние карманы брюк белозубые старухи. Это вяловатая речь и острые поступки, это протест против экономической политики тех, других и третьих, но в то же время и наплевательское отношение к любым действиям любых властей.

Нескончаемое, сладчайшее колобродство! В нем — тяга к утонченной разухабистости и пьяному философствованию, вспышки первобытного веселья при виде ползущего по Москве питона и презрение к российским горестям, мохнатая печаль, царапающая висок лапой белого медведя, и свинцовый ужас, связанный с возможной потерей золотовалютных домашних резервов!..

Человеков искал скворца и думал: не будь он повесой, искать было бы куда паскудней. Без выков и сметки, ежесекундно учась сыскному делу, обламывая полированные ногти и прижимая к вискам все новые и новые носовые платки, беспричинно смеясь и заламывая оглушительную радость, как ту конфедератку, на ухо, бродил он по

Москве, преодолевая неравномерно вытянутые в длину, подобно изумительным строкам лермонтовской прозы, переулки: от Брюсова до Калашного, от Петроверигского до Старопанского.

Дурашливость и лень хорошо освежали ум, делали его быстрым, радостным. Развязывая перелучную путаницу и кривизну, Володя не раз и не два повторял давнюю поговорку: «Повесничанье не промысел, а жить научит!»

\* \* \*

Дома у цыганки Стюхи ветвился тропический сад. Священный скворец попал к Стюхе случайно, и она, быстро уяснив никчемность птицы, отказавшейся клевать садовых гусениц и тарабарившей про будущее одну голую правду, сказала:

— Про будущее нужно сказки сладкие складывать! Дай русскому сказку — ему и жены не надо. А Офир — что за сказка? Деньги не каплют, дряг никаких, сиськи едва прощупываются. Кому такое царство на хрен нужно?

Скворец обиженно молчал.

— В том шатре давно потолок отцвел, — спела равнодушная к птицам цыганка, и скворец был продан в Институт искусствознания.

— Там тебя, дурадея, быстро голодом умолят, — крикнула птице вслед тропическая Стюха,

остро поцыкивая слюной на рубашки новеньких карт...

Институт искусствознания скворца напугал. Он теперь вообще пугался многого: озоновых дыр во тьме ночей, хищного разреза ноздрей и жадности двуногих, продажности женщин и, особенно, продажности мужчин.

— В Офир-ре — не то. В Офир-ре — не так!

Институт искусствознания недавно закрыли, тепло отключили.

Искусствоведы тупели и мерзли. Правда, свет в помещении еще горел. Это радовало, и научные сотрудники под слабенькие электровспышки продолжали разыгрывать друг перед другом истории из жизни падших теней.

На скворца ведуны искусства внимания особо не тратили: отчитывали министров, перевозносили, а потом «опускали» вильну Украину, пили осветленный чай, призывали назад ими же самими тысячу раз охаянную, советскую эпоху.

Из холодающего института скворец был продан в Союз креативщиков: за две тысячи рублей, плюс три пачки цейлонского чая и альбом художника новых реальностей Валентина Окорокова.

В СК было тепло, как в духовке! Тихими фонтанами звенело стоцветное электричество, сладко шевелились черви в цветочных вазонах. Вопреки гадкому имени «креативщик», сильно пятнавшему славу Союза, а по звуку напоминавшему удар молотка по черепу, тут плавал аромат натурального колумбийского кофе.

Первым приветствовал скворца Лазарь Подхомутников, секретарь по международным вопросам.

— Люди — те же птицы, только без крыльев, — режущим уши голосом высказался Лазарь, — поэтому никаких скворцов нам даром не надо. Мы сами госпросо клевать умеем, сами поем-щебечем. Расчухал, звяга?

— Сам-м зв-вяга! Сам-м-м!

— Ну, верещага. Вообще молчи, удод! — обиделся Подхомутников и внезапно поежился от страха.

С какого-то бодуна влетела в голову Лазарю история про метущего захарашенный двор писателя, которого ему напомнил говорящий скворец.

«Чем? Носом-клювом? Метлой? Наклоном головы? Укором глаз? Черт его знает! А только напоминает, стервец пернатый, этого дворника, и все!»

Тут память и подкинула: молодой Лазарь, еще студент, идет собственной персоной мимо памятника Герцену-перцену и вдруг видит, и вдруг

слышит! Безбашенный этот писака, тряся в углу сквера метлой и по временам задирая ее выше головы, грозит вымести из Москвы всю ненужную писанину, всю хроно- и хренофрению: как сор, как листоблошек и мертвоедов, как двухвосток и гессенских мух, как журчалок и красноклопов бескрылых, как древогрызок и короедов, насквозь прогрызающих тела осенних, пахучих, с приятной желтинкой листьев!

Этого, с метлой, Лазарь из своей памяти вмиг удалил. И тут же услышал заполосный перелив: как та юная велосипедистка, летящая под грузовик на дачном проселке, дикой трелью залился скворец!

Трелей Подхомутников не любил. И потому с легким сердцем продал скворца первому попавшемуся дуралею, отметив про себя шелковый шарф и невиданные фиолетовые штиблеты свалившегося, как снег на голову, покупателя.

\* \* \*

Скворец был куплен Человеевым втридорога и за пазухой унесен домой, в 2-й Неопалимовский переулок.

Жизнь со скворцом внезапно увлекла холостого Человеева больше, чем попеременная жизнь с Таней, Яной-Изольдой и Павлой Кузьминишной, а также с госпожой Мумджиян, заместителем директора одного из лучших магазинов развесного чая в Москве на Мясницкой улице!

Володя ходил со скворцом на плече по застекленному портику старинного дома, где владел нехилой квартиркой с двумя эркерами, и наслаждался глинистым птичьим запахом, а также легкой плотностью скворцовых крыльев, когда тот их неожиданно раскрывал.

Иногда Человеев со скворцом дружелюбно беседовал. Особенно после тихо-запойных чтений в Российской исторической библиотеке.

— Да, я повеса, — говорил Володя, — прожигая, бульвардье, шалыган и голошмыга к тому ж. Но вообще-то — я книжный пьяница.

Скворец неопределенно отводил взгляд в сторону, но потом, словно бы спохватившись, красноклювой с желтыми заушьями головой согласно кивал.

— А скажи-ка ты мне, Христа ради, правда это, что скворцы — и мужики, и бабы одновременно?

— Непр-р-рафф... Непр-р-рафф... — захлебывался от горечи скворец.

— Так ты у нас мужик?

— Муж-жик, муж-жик... Не вер-рещага, не звяга...

— Значит, пули льют про скворцов косые ряхи? А ты просто выбрал, что ты мужик, и ты стал мужиком?

— Стал-л, стал-л! Кос-сые р-ряхи, в конце концов...

— У меня характер странный, — жаловался Володя скворцу. — Русский-то он русский, но чего-то истинно русского ему вроде не хватает. И главное, чую, не воспитать мне в себе это недостающее! Вот бы кого рядом для восполнения качеств поставить. Понимаешь ли ты меня, душа моя?

Скворец соскакивал на пол, шаркал лапкой, гу-сто встряхивал крыльями.

— В общем, второй Володя мне нужен. Alter ego. Ну, ты в латыни слабак... Словом сказать, нужен мне близнец духовный. Похожий на меня, но не я!

По временам, говоря со скворцом, Человеев, неукротимо любивший женщин, останавливался и задумывался. Нет, он не переставал обожать прекрасные, недостающие до создания идеального тела половинки! Но когда в бокалах страсти оседала ночная муть, вдруг наплывало на него чувство восторга и осозание какой-то сверхлюбви: то ли к нереально возвышенным женщинам, то ли — вообще без них...

— Ух, — говорил, возобновляя ходьбу, растревоженный мыслями повеса, — ух, Святик! Как бы это так сделать, чтобы любовь была не по расчету — чего в Москве теперь хоть отбавляй — и не так чтоб беспорядочно свободная. А была бы, как это?.. Истинной, святой и в то же время кипучей. Дико плотской, но и безумно духовной. Вот любишь ты бабу, одновременно любишь космос и вечную жизнь, и в те же секунды стараешься доставить бабе неслыханное наслаждение. Словом, как говорили древние, — *nuda veritas!*

— Ой, да ну, да ну, да ну... — вдруг поволокло скворца в цыганщину.

— Нет, не так. Ты не понимаешь. И то и другое!

— Крутой лямур-р, гр-руповуха...

— Но тут я с тобой, Святик, не согласен! Едкую нежность цинизма — обожаю. Но, Святик, не настолько же!

— Я не Свят-тик, я майна. Майна, майна, кор-рм!

— Ты спой лучше. Или дразнилку скажи.

— Пут-тину слава. Пор-рох — дур-рак! Веч-чер. Засада. Дым и тр-рупак.

— Брось эти лозунги! Кто тебе только их в голову вбил? Креативщики, что ли? Лучше спой стихом. Как я тебя учил... Ну, не хочешь, я сам спою.

Человеев зашагал по галерее стремительней. Тело его наполнилось сотнями неболезненных

иглоков, и он, подобно скучающей без полетов птице, едва не взлетал над землей. То глядя на собственные, и дома не снимаемые штиблеты, то любуясь синью застекленного портика, замурлыкал он под нос любимое: «Каждая задрипанная лошадь головой кивает мне навстречу, для зверей приятель я хороший, каждый стих мой душу зверя ле...»

Звон разбитого стекла прервал песенку Человеева.

— Опять эти придурки! Ну, я им...

## ДЗЕТА

После обеда, кое-как залепив разбитое окно армированной пленкой, Володя стал собираться в банк. Затем он решил отправиться в ночной клуб «Распутин». Сперва Человеев хотел взять священную майну с собой и так и пройти через весь Зубовский бульвар со скворцом на плече. Но передумал, оставил птицу дома: до вечера было далеко, и просто так таскать скворца по Москве не хотелось.

А вечером, на Зубовском, у входа в ночной клуб, Володю ждала неожиданность, или, как писали в исторических сочинениях, — реприманд.

— Человеев Владимигг Виктоггович? У меня к вам пагочка вопггосов. Я стаггший дознаватель Осадчая. Действую по поггучению межггагонной пггокуггатугы.

— Как вас зовут, мисс Осадчая?

— Это неважно. Пггосто — госпожа Осадчая.

— А все-таки?

— Ну, если так интеггесно — Дзета Львовна.

— Пойдемте в клуб, Дзетуля... Там пощечбечем.

В ночном заведении народу было — не так чтобы. Если честно, до неприличия мало. Человеев уже с месяц клуб имени Григория Ефимовича не посещал, был малолюдством смущен, если не сказать, раздосадован.

«Эротику, что ли, все скопом разлюбили?»

Блюдоносы были прежние, старший вышибала Ахирамов — до дрожи тот же: и кулачищи, и заклеенная пластырем переносица, и щеки буграми. Только вот улыбка у тайца Ахирамова была другая: не гаденькая, не изничтожающая, — сладкая, молодая!

Двигалась обслуга тоже как-то странно: при-ставным шагом и часто кланяясь. При этом услужающие вели себя намного сдержанней: на сцену, высившуюся в правом углу заведения, ломая шеи, не зазирали, матерщиной не сорили.

Володя огляделся: девочек — тоже пока ни одной.



«Это хорошо. А то вдруг дознавателю девочки не понравятся?»

— Ну, хватит по стоггонам глазеть! Отвечайте на вопггос, когда вас стагший дознаватель спггашивает!

— А был вопрос?

— Ты чем слушаешь, Филя? Тебя спггосили: где птица?

Внезапно на высокий просцениум выдерся бородастый парень в холщовой свитке, в аптечных слепо-синих очочках.

— Наш Распутин — не love mashin! — крикнул козым голосом бородастый. — Он есть о-отшень, о-отшень святой. Скоро вы услышите рэп-оперу. Етто будет действо из жизни велики русски старца, а не велики русски распутник!

Володя едва заметно скривил губы. Клуб «Распутин» ему нравился, но не слишком. Потому и дорогу сюда он стал потихоньку забывать. А тут — слепенькие очочки, обещание «священного действия» и вполне вероятное переписывание биографии старца Григория, о чем любивший историю Володя сразу же догадался. Для ночного клуба переписывание истории было делом неподъемным и, если уж правду сказать, — ни в какие ворота не лезло!

Человеков про себя чертыхнулся, потом неожиданно на весь зал крикнул:

— Черного кобеля — не отмоют и дембеля!

— А мы будем пробовать его отмывать! Ви должны узнать исторический правда, через нашу рэп-оперу. Ви... эээ... не должны верить в исторический ложь! — заблеял в ответ бородастый юноша.

— Знаешь что, бундес? Подслащать историю — это беспредел!

— Сейчас ви будете все как на духу узнавать! — раскрыл перед собой руки немецкий сторонник выправления биографий, а потом вдруг, словно изгоняя надоедливых ос, кипуче затряс бородой.

— Так вы имеете отношение к похищению священной майны? — звякнула голосом, как стальным браслетом, дознаватель Осадчая. — Или меня навели на ложный след? — уже тише, наклоняясь к Володе, спросила она.

— К похищению — нет, не имею.

— Пггедуггегждаю вас о даче ложных показаний.

— Вы хотели сказать, об ответственности за нее?

— Ну, об ответственности. Какой щепетильный! Так я повтоггю вопггос: что вам известно о похищении из Зоопаггка птицы под научным названием, — дознаватель заглянула в бумажку, — «ггга-

кула ггелигиоза»? Есть у вас пггедположения, где тепегг может находиться эта птица?

— Вы будете смеяться, но я эту религиозную гракулу позавчера как раз купил. И теперь птица наверняка орет, что есть мочи, у меня дома.

— Вот как? — Не веря в такую скорую удачу, Дзета подозрительно отстранилась. — Вот как? Значит, купили птицу у похитителей и пгги этом...

— Не думаю, что это были похитители. Продам мне скворчагу секретарь одного тихоумного Союза. И слупил, жаброног, втридорога. Но, думаю, и к нему скворушка попал случайно.

— И вы утвеггждаете, что сквоггец тепегг у вас дома?

— Утверждаю, детка, утверждаю.

— Тогда немедленно к вам!

— Не мог и мечтать, Дзетуля! Вы такая сдобная, такая миниатюрная, вы... Словом, вы мечта одинокого вечера!

— Подлец уголовный, — вполголоса огрызнулась Дзета и, позванивая драгоценностями, упругим танцевальным шагом пошла в гардеробную.

Уже покидая клуб, Володя услышал новые рэп-откровения из жизни бесподобного старца:

— И явился ф туманни Петербурх сфятой старец. Дру-ту-ту-ту! Но не все етто сразу поняли. Друмс! Многие отшень опоздали етто понимать! И тогда старец, друмс-друмс, пошел на поклон к царю-батюшке и царице-матушке. Долго стоял он перед их покоями, согнувшись в поклоне. Начало уже светать, друмс-друмс, как внезапно мелкий отрок вышел к старцу.

— Идем со мной, — сказал отрок, — я проведу тебя, дру-ту-ту, в царски покои.

— В покои? В царски? — отшень-отшень, до слез испугался сфятой старец... — Не могу я, друм-ди-рум, в покои. Не чист еще сердцем и телом!

— Так очищайся сей же час, — повелел отрок, и старец, вынужденный бил снять рубаху, а затем и порты. И тогда, друмс-друмс, и тогда...

Рэп-сказочка про белого бычка взбурлила круче, сильнее.

Дознаватель и повеса стремглав выбежали вон. Призрачным лошадиным потом и вдогон бледно-эротической гуашью сбрызнула их удаляющиеся фигурки мартовская московская ночь.

\* \* \*

Володя умышленно водил госпожу Осадчую кругами.

По дороге он декламировал, пел, припадал на одно колено и подарил Дзете бережно вынутый из кармана складной фиолетовый цветок.

В Неопалимовском, в прихожей, заботливо раздевая дознавателя, Володя мурлыкал: «Я тебя обманывать не стану, залегла тревога в сердце мглистом...»

— Молчи, шагглатан, — прикладывала душистый пальчик к Володиным устам увлекаемая внезапным чувством Дзета, — и хватит мне тут блатной лиггики! Иначе я тебе статью за хулиганку пггипаяю...

— Ну и пусть...

— Где сквоггец? — выпутываясь из остатков одежды, ласково пыталась Володю старший дознаватель.

— Да здесь он, здесь... Сейчас позову. Майна, майна, корм, — усадив дознавателя на себя верхом, поманил пустоту Человеев.

Скворец не отозвался.

— Ладно... Потом... Еще подсматггивать будет...

Через двадцать минут, туго затягивая пояс на белой навыпуск блузке, Дзета хозяйственно осмотрелась.

— Да на кухне он. Любит, знаешь, туда наведываться.

— Он у тебя что — летать ггазучился?

— А почему это? Летает. Но больше ему пешедралом нравится. Походкам важных лиц — но это между нами — он подражает. Еще птичьим и звериным походкам. То воробыным шагом просеменит, то по-медвежьки прокосолапит, то вороной проковыляет. Но чаще — Путиным выступает. А один раз как Горбачев ноги в стороны здесь раскидывал. Сейчас увидишь!

Володя сходил на кухню. Ни там, ни в ванной скворца не было. Человеев влез под шкаф, сунул голову в стиральную машину. Пропал скворец с концами! Володя повернул голову, заметил в окне разодранную пленку...

— Надувала, хлюздун! — истерически крикнула Дзета. — Я тебя спггашиваю, где сквоггец! Паскудник, какой паскудник! Ты не знаешь, кого обманул, не знаешь, кого на дуггняк использовал...

Звончатая пощечина прозвучала едва ли не на весь Неопалимовский.

— Собигайся, живо! Я тебя задеггживаю на тггое суток, — продолжала нахлестывать Володю по щекам любвеобильная Дзета, — у меня дома будешь аггест отбивать.

Володя сел на тахту, смахнул со щеки слезу. (Не от боли, не от стыда, от неожиданной разлуки со скворцом слеза набежала!)

— Украли... Через форточку... Ты это дело расследуй поскорей!

— Хватит тут вггать мне!

— Да пойми ты, Дзетуль! Никому я скворца не отдал бы. Мне не Гришка свято-беспутный нужен, — выходя из квартиры, убеждал дознавателя Володя, — скворец священный необходим! Понимаешь? Только птица по-настоящему священна. А человек — что? Человек — дрянцо...

## ТЛИН

Священный скворец, в десятый раз украденный и перепроданный, угодил в театр случайно. И ведь не в какой-то театр погорелый, в театр Ионы Толстоухова, в «Театр Ласки и Насилия» угодил он!

Сами актеры называли детище Ионы по-другому: ТСТ. Полностью — «Театр смертной тени». И это при том, что во всех бумагах толстоуховский монстр значился как «Театр Клоунады и Перформанса».

А до попадания в театр со скворцом произошло вот что.

Братья Мазловы — Киша и Тиша — выследили-таки Володю с птицей! И после обеда, пользуясь безлюдьем 2-го Неопалимовского переулка, вытащили скворца через окно. Однако тут же, на месте, жутко разодрались, и скворец ушел гулять по Москве один.

Скворец шел на своих двоих и заливался велосипедной трелью.

Правда, вскоре трель оборвал: стал подражать игре тромбонов. Потом изобразил крики слонов.

Остерегаясь в людных местах кричать «Ура правителю!» и не желая в ответ на свое «Слава имперским вольностям!» услышать «Конец имперским мерзостям!», он дразнил народ соловьиным щекотом, переливал тихой иволгой, как из стакана в стакан, московский мартовский воздух.

На шее у скворца смешно болтался слюдяной новогодний пакетик с торчащим из него краешком розовой канцелярской бумаги. Пакетик прицепили птицелюбы-искусствоведы. Умеющему говорить, но, ясен пень, не умеющему читать скворцу этот пакетик добавлял отваги и стойкости.

В боковом скверике, у краснокирпичного, старой постройки здания, скворец остановился: перевести дух, счистить с перьев грязь. Он прошел долгий путь и сильнее грязи был облеплен равнодушием обывателей, которые на идущую пешком и рычащую тромбонами птицу поглядывали косвенно или не глядели вовсе.

— И не такое видали! — словно бы хотели сказать, но отчего-то не говорили уставшие от всякой порхающей ерунды жители Москвы. — У нас тут каждый день родное правительство кенарями вы-

щелкивает, биржа вороньим карком душу рвет, ЖКХ в печные трубы филином ухает...

Поразило скворца и почти полное отсутствие собак и вражески настроенных кошек. Хотя другие хвостатые близ складов и сосисочных отворотными красными глазками и мерцали. Но эти хвостатые скворца жутко боялись: стоило ему зашипеть змеюкой, как они замертво, с разорванными внутренностями, падали в канализацию и другие сточно-помойные места.

Отдохнув в скверике, вросшем в стену старинного купеческого здания, священный скворец уже хотел было перелететь ближе к окраинам — туда, где народ грубей, но и добрей, девушки бедней, но и сильно ласковей, где меньше суеты и больше простора для пения, неостановимо рвущегося наружу из нежной полости, именуемой нижней гортанью, в которой расположены птичьи голосовые связки, вместившие в себя тысячу беспокойств, тысячу ударов крови в минуту!

Тут Иона Толсто дух — смелый перформатор и постановщик игр смертной тени, добавлявший к своей фамилии окончание «ов» только на афишах и в научных статьях, — скворца и заприметил.

Он бережно подхватил оторопевшую птицу под брюшко, бегом кинулся в здание театра, собрал всех находившихся в тот час актеров-дольщиков в зрительном зале, выперся на сцену и, хлопотливо ощупав скворца, как ощупывает хозяйка домашнюю курицу, перед тем как хохлатка смет бледно-синюшное городское яйцо, произнес:

— К вам. С птицей! Непростая. Не какая-то — ptiza.ru. Птица-перформанс! «Жизнь и несвобода одинокой птицы в Москве, с шутовскими персонами, клоунадой и школьным гаерством», — так будет называться наш новый перформанс. Теперь-то наша комедийная храмина зазвучит на всю Москву! Стопудово! Хватайте и действуйте, челядинцы. — Иона выпустил скворца из рук, и тот, отряхнувшись, пошел в глубину пустой сцены.

— Мы не челядин-н-н-н... — загудели колоколами в темноватом зале, подсвеченном одним тощим рабочим фонарем, который горел высоко, под самой крышей и не высветлял ничего, кроме редкой и острой пыли, недовольные Ионой актеры.

— А как же перформанс по Сухово-Кобылину?

— Вместо Кобылина запускаем скворца, — отрезал Толсто дух, — я на секунду... — И удрал, хамло, за кулисы.

— Ком-медийная хр-р-рамина... Х-хватайте и д-действуйте, — повторила из глубин сцены ошеломленная птица.

— Ты глянь, говорящий!

— На Птичий бы рынок его сейчас.

— Думаешь, дадут цену?

— А то...

— У нас, прошу заметить, — ТЛИН, а не «Садовод» вьетнамский!

— Так-то оно так. Только театрик у нас какой-то зауженный, одни перформансы, а клоунад — раз-два и обчелся. И сцену зачем-то в фойе переместили. А фойе — на сцену. Неудобно же...

— Теперь полагается говорить не «фойе», а «променуар».

— Про что, про что?

— Ну, это прогулочный зал, Егорушка. Промеуар — по-французски.

— А я вот не понимаю: чем зрителю до спектакля на голой сцене развлекаться? В фойе — кукуруза и кола, а здесь — щели в полу и опилки!

— Сказано вам: репетиция — на сцене, представление — в фойе. В этом новизна, в этом резкая неожиданность.

— Так-то оно так, но все же неудобно, душечка!

— Душечка — чеховское старье.

— Верно! Она — подушечка! Для Иониной собачки. Это поновей будет!

— Не смей актрису так называть! Ей Ольга Леонардовна — мать родная... Чехов прабабку на коленях нянчил!

— Цыц, терпилы! Хватит лаяться. Толсто дух знает, что делает!

Чуть повременив, скворец выступил из глубин сцены, подойдя к рампе, остановился, выхватил клювом из пакетика, надетого на его собственную шею, розовый листок. Листок у скворца отобрали, изучили.

Травести Суходольская произнесла бумажку вслух.

На одной стороне кем-то сердобольным было начертано: «Скворец священный, говорящий. Несъедобен!»

На другой: «Продажа бегемотов. Пишите: lpushnia.ru»

Труппа замерла в размышлении.

С кошкой в руках возвратился Иона. Та, простуженно мяукая, пыталась вырваться. Но перформатор держал зверя цепко. Он победно обвел взглядом тех немногих, кто еще не переметнулся в «Сатирикон» имени Райкина.

— Говорил ведь, найду жемчужное зерно. Утверждал ведь! — Иона величественно швырнул кошку на пол.

Миглом вспорхнул скворец, долбанул кошку в череп. Кошка, заорав, кинулась наутек.

— А вот и пролог к перформансу! Он, фактически, готов. Победил сильнейший. Но это только пролог прологов, челядинцы!



— Мы не челядин-н-н-н...

— Цыц!

Иона цыкнул вовремя. Как раз в это время снова заговорил скворец.

— Пролог пролог-гов! Конец концов-в! Они рядом! Майна, корм!

Иона бережно подхватил скворца под грудку, прижал к сердцу, потом, как папуас, потерял носом о птичий клюв и с криками «я сейчас!» снова побежал со сцены вон.

Дольщики-актеры почти разом звучно выдохнули и уже потянулись было к своим уборным, когда Иона, весело маша маленькой черной сумкой, вернулся. Вслед за ним, конфузливо поглаживая плешку, брел 1-й сценарист Митя Жоделет.

— Образ оброс скворцом! Пером и пухом оброс образ! Таким будет первое действие нашего мирового перформанса, — загудел Иона густо-шмелиным баском, — позвать сюда плотника и костюмеров. И цветоустановщика. Живо! Всех, кто не притворяется актером, кого сама жизнь в нашем государстве им сделала, — сюда!

Импровизация началась с тяжелой паузы, продолжилась чьим-то неприятным «охо-хо» и Митиным детским сопеньем. После двухминутного молчания Жоделет крупно, навзрыд, сморкнулся.

— Плачь, иудей, плачь! — стал подталкивать Митю к перформальной импровизации Иона. — Плачь, Жоделет, на реках вавилонских, плачь на Яузе, плачь на Лихоборке и на Чечере-реке! Плачь, Жоделет, в трубе вонючей и на подземных берегах укакашенной Неглинки!

— Я не иудей, — вдруг насупился Митя.

— А сегодня им станешь. Гей, кто там! Цирульника на сцену! Лишнее отсекай! Кудри завивать! Мировую скорбь выколупывать!

— Так цирульница уволилась.

— Добре... Если нету цирульника — это меняет направление нашей импровизации, — перформатор слегка запнулся, — я тут покумекаю, а вы пока темку ищите, — добавил он и присел на корточки.

Грузноватому Ионе на корточках было неудобно. Но он, упорствуя, продолжал сидеть, одной рукой опираясь на дощатый пол, а другой почесывая острый пасторский нос, над которым нависла узкая прядь до синевы черных волос.

— Думай, не думай, а импровизнуть придется! — крикнул оживившийся после неудавшегося посвящения в иудеи Митя Жоделет. — Пьес-то стоящих нет как нет! Кто, кроме нас, режиссеров и актеров, сможет свежо, по-новому представить ласку и насилие современной Москвы?

— Свежоп-по! Свежоп-по!

— Да завяжите вы ему клюв веревкой! — Толсто дух резво поднялся. — Быстро, без раздумий! Чему я вас три года учил? Делайте не думая! Делайте — в диалоге! — завертел он, как пропеллером, маленькой сумкой.

Артист Чадов, давно мечтавший о звании народного, а пока суд да дело в бумагах пред фамилией ставивший простое и сильное — «артист из народа», — молча расстегнул ремень, стал, кряхтя, спускать узкие вельветовые штаны.

— Не та тема! Не так делать! — крикнул, сатанея, Толсто духов. — Федор Кузьмич, штаны позже! Штаны — в уборной!

— А вот я вот импровизировать отказываюсь. Лучше уж в Малый театр! Там отродясь никаких импровизаций дамам не предлагали.

— И с Богом, Валентина Васильевна, и с Богом!

— Иона! Голубь ты наш сизопузый...

— ...и сизожопый.

— Я ж говорю: голубь ты наш, Иона! Так ты всех актеров на хрен разгонишь.

— И разгоню. И ни капли не жалко! Один останусь. Вот с ним и с ним!

Иона поочередно ткнул пальцем в сторону скворца и сценариста.

— Дайте же нам тему, Иона Игоревич, — капризно выкривила губку травести Суходольская, в течение двадцати лет неостановимо переодевавшаяся на сцене и в других людных местах и теперь глазами и жестами сладко манившая к совместному переодеванию Митю Жоделета.

— Как же это так можно, чтобы самим выбирать темы? — заиграла баритоном гранд-кокет Пугина. — Я вне себя от восторга! Я тут, помимо карманов, должна еще душу задаром выворачивать? А фиг тебе, Иона! Заказ твой — импровиз мой!

— Даю тему: «Майдан в Москве».

— Мы не турки...

— Верно! Хватит нас тут словами турецкими стращать. У нас своего болота выше крыши!

— Добре, челядинцы. Даю другую тему: «Скворец в блокаду».

В зале что-то надломилось и мерзко хрустнуло. Повисла зловещая пауза.

— Мы на такую тему импровизировать не согласные. Ты, Иона, хлюст и мордоплюй!

— Ну просто — гусь лапчатый!

— Доставала.

— Жох...

— А пускай тебе канал «Слякоть» на такую тему импровизирует!

— Цыц, челядинцы! Фигурально выражаясь... Песни скворцов — подбадривали бойцов! Пони-

маете? Под-бад-ри-ва-ли! И вообще вернемся к исходнику: образ оброс скворцом! Это главная находка на сегодня. А блокада — она потом, позже....

— Хватит здесь темнить! Вы просто нацист, Иона Игоревич!

— Побойтесь Бога, Элиночка! Вы такая молоденькая... Это же просто невероятно, чтобы вы хоть что-то в нацизме волокли. И потом. В искусстве все позволено! И как раз потому, что в жизни нашей нельзя ничего! Добре. Забыли войну, забыли блокаду. Другая тема, Элиночка...

— Ага. Он тебе сейчас такую темку меж ног всунет, хоть стой, хоть падай, — глухо протрубил из-за спин актеров кто-то невидимый, — «Однополюй брак на передовой украинской армии» будет темка называться. Иона-то наш бжезикнутый!

— И однополюй!

— Кто крикнул: однополюй? Кто смел упомянуть про однополюй фашизм? Дать немедленно свет!

Свет не включился. Грузноватый, коротко стриженный сзади, длинноволосый спереди Иона ловко сбежал со сцены в зал, стал стучать откидными сиденьями, шарить ногой под креслами.

— Убежал, мерзавец. Запеканкин это! Измененным голосом, ёра, кричал. Но мы к нему еще вернемся на худсовете!

— Не маши звездой, Иона! Тебе про однополюй фашизм послышалось.

— 3-з-запекан! 3-з-запекан! Не маши звездой!

Иона не спеша возвратился на сцену.

— Добре. Вы, я вижу, мало чего можете. Тогда... — Толстоухов крутнул разок-другой сумочку на пальце, — тогда... Нашел! Расселина! Давно пора окунуться в нее! Звучач: шорох шин и трамвайный звон! И сразу же — потаенный ропот у стен Кремля. А потом — треск земли, вой раселины...

— Звучач — уехамши. За дисками, грят, уехал. Кончились у него, грят, совсем диски. А еще — батареек семнадцать штук ему, грят, надо...

— Тогда начинает Жоделет. Стиховой всплеск про выдуманную мещанами расселину. За Жоделетом — грасьосо. Потом — серветта. Спиной, спиной ко мне разворачивайтесь, кривляки! Задом — марш!

Повинуясь воле перформатора, актеры и 1-й сценарист пошли по кругу задом наперед. Не дожидаясь, пока вступит Жоделет, Иона сам загудел густым шмельком:

— Над расселиной слухи гадкие, мол, внизу там звери опасные. Мол, в расселине наши помыслы, наши замыслы и все прочее. Весь наш дрызг сер-

дец, весь наш сор мозгов, треск штанов, трусов и прозрачных блуз там зачем-то, блин, собирается...

— Большевизмом к нам устремляется!

— Путинизмом в причмок увлекается!

— С ельцинизмом раненько прощается!..

Середина сценического пола внезапно хрустнула, разломилась, частью встала ребром, частью ушла вниз. Из театральных глубин полыхнул белый, с лягушачьим отливом огонь. Некоторых актеров шатнуло назад, Тучкин и Белобокин рухнули вниз и там подозрительно затихли.

И почти сразу выставилось из разлома зеленое мурло с буйно колосющимися, словно бы обсыпанными мукóй, бакенбардами.

Многие ахнули, но Иона не растерялся:

— Тебе нас не развалить! Ты хэппенинг с перформансом до сих пор путаешь, Запеканкин! Слышали, как ты вчера орал: «Я покажу вам, кто тут главный перформист! Любую сцену провалю мигом...» Решил уесть нас машиной?

— Там мь... й... ертвые... — тихо екнул измазанный зеленой машинист.

— Где мертвые? Никаких мертвецов у нас на театре не было и нет. Везде свежак, все живо, все в меру солоно! Брось, Запеканка, свои иллтераты!

— Они как умерли... — зеленое мурло с бурдастыми щеками скривилось до слез, — или умрут сейчас. Вроде дышат, а вроде мертвые! Может, кончину чуют...

— Ты мне тут Генрика Наибсена из себя корчить брось. Изьиди, Запекан!

Бурдастое мурло исчезло.

Предварительная импровизация, необходимая для перехода к вечернему перформансу — то есть к преодолению барьеров между актером и зрителем, — продолжилась. Но как-то вяло. Артисты ТЛИНа перестали ходить задом наперед, часть из них подступила к разломившемуся театральному полу. Глотнув подпольной сырости и осмотрев двух сидящих внизу с закрытыми глазами товарищей по цеху, а также улегшегося на живот Запеканкина, актеры нехотя продолжили импровизацию:

— Говорят, в Москве овраг

Всех раззяв глотает, враг!

— И божей в щелях прессует,  
Растирая души в прах!

— Не жалеет даже птиц,

Их потомства, их яиц...

— А посетив один дворец,

А петухом запел скворец!

— Причем бурдастый тот петух  
Ионе был первейший друг!

- Запеканкин, Запеканкин,  
Глянуть бы на твой изнанкин!  
— Что за байки, что за бред?  
Вы актеры или нет?  
— Мы актеры, мы вахтеры,  
Костюмеры, гвоздодеры,  
Петушары, пердуны!  
— Дятлы, цапли, каплуны!..  
— Я придумал, все, ура!  
Всем в расселину пора!  
— Не в расселине, а здесь,  
Будем спать, глотая взвесь...  
— Спим, спим, спим.  
— Спам, спам, спам.  
— Бим. Бом.  
— Бам...

Убаюканные собственной импровизацией, актеры прямо на сцене, которая была им все-таки родней, чем грязноватый толстоуховский променуар, стали засыпать. Лица спящих заметно побелели, потом стали как белый с зеленцою гипс, веки схлопнулись, подбородки косо обвисли.

Захрапел тучный Чадов, засвистел носоглоткой, как будто туда вставили две крохотные дудочки, Митя Жоделет, ляснул себя по шее и звучно зевнул суфлер Булкин, даже инженеру Суходольская, распрямив под щечкой крохотную ладошку, сладко выдохнула: «Ах!»

Один скворец не поддался всеобщему засору мозгов. Скрыто негодуя, он сперва тихо, а потом все громче стал покрикивать, стал будить гипсового царство:

— Вставать пор-ра! Давно пор-ра! На траве дрова! На двор-ре — война!

Недовольные досрочным пробуждением, отряхивая мелкие частицы реквизита, резко сверкнувшие в пламени только сейчас зажженных ламп, морщась и припоминая сонную расселину, актеры начали подниматься.

— П... прогон состоялся! Свето-звучо-спектакль «Расселина сна» принят! — заикаясь от счастья, крикнул Иона. — Свято клянусь вам: завтра же мы этот звуковой клип двинем по максимальной таксе!..

## ПАРАД ИЛЛИТЕРАТОВ. ВЕЛОДРИММЕР И НЕЗНАКОМЦЫ

После предварительного перформанса, увенчанного кратким сном и досрочным пробуждением, скворца взял в оборот Митя Жоделет.

Толстоух к тому времени из театра отбыл, и мозгляковатый Митя, помогавший перформатору носить черную изящную сумочку и заведовавший

выходом актеров на сцену, а кроме того, обожавший давать всем встречным-поперечным нелепые имена и прозвища, за что бывал нещадно лупцован, мигом почувствовал ширь в ушах.

— Масленая неделя через три дня кончается. Чего тут рассусоливать? Нужно наскоро клепануть клоунаду, — сладко взбурлил Жоделет, — и соединить ее с перформансом! Даже сюжетец есть: снег, Масленица, горелые блины и тонна мороженой клюквы, которую вываливают прямо на Триумфальной площади, к подножию... ммм... Идиота Полифемовича. И тут же, у подножия памятника, — парад иллитератов! Пройдут мимо товарища Маяковского вздохи и свисты, хрюки и пуки! Все иллитераты в подходящих костюмах, кое-кто — в париках! Свист — в костюме Жирика. Пук и хрюк в костюмах Порошенко и Тимошенко. Не хуже, чем у Ионы, получится. И не заругают: неделя ведь просто чудо, каждый день праздник! Сегодня — какой?

Митю слушал лишь один человек. И был этот человек очаровашкой!

Нежно-золотая завлит Слуквина, которую Витя запросто звал то Кириешкой, то Кирюлькой и которая на самом деле носила сладко-влажное имя Кирилла, чуть покривила вспухшие от толстоуховских речовок губки:

— Широкий четверг, — нехотя подсказала она, — потом тещины вечерки, потом золовкины посиделки. А в конце — Прощеное воскресенье... Вот возьму и прощу через три дня Иону! Или, к примеру, тебя, Митя.

— Меня-то зачем? Я тебя в темных углах не мял. Ладно, не отвлекайся. Стало быть, четверг. И притом — широкий... Вот! Все дело в широте! Люди хотят разгула. Но одного разгула им мало. Все хотят к разгулу добавить что-нибудь еще, все чего-то ищут. Ну, положим, ищут они вечное счастье. Тут мы всем театром к зрителю и подступим, тут косное пространство меж ними и нами — разрушим! И скворец с нами. Его в клоунаду-перформанс обязательно вставить надо. А пока будет билеты перед спектаклем выдергивать. Из шапки. Золотой, платиновый скворец нам достался!

Не вполне разделявшая страсть Жоделета к новациям, сладкоголосая Кирюленция, а по временам — Кирюндук и Кирлюндия, откинулась в кресле:

— Он же с пухоедами. Или блохастый.

Митя осмотрел скворца на предмет блох.

— Ничего я такого не вижу. Птица как птица.

— А укусит кого? Кого стоящего пухоед, спрашиваю, укусит? — Золотоволосая и златокожая, с



округло-бархатистым личиком и тонким, чуть видимым голубоватым изломом чудесно вздернутого носа на том месте, где должна быть горбинка, Кирюленция от испуга даже зажмурилась. — Тогда пиши пропало! Тут уж не про пухоедов, про собственную задницу думать придется.

— Да не укусит, Кирюль. А пухоедов и блох — мы в коробочку и на выставку. Священные пухоеды под стеклом! Серебренникову — не снилось!

— Лучше штаны скворцу подобрать. Раз он на двух ногах и притом не летает, а ходит.

— Это, положим, верно. В полете штаны не нужны, а вот при ходьбе, — Митя поддернул серенькие свои брючки, — а вот при ходьбе... В общем, займись. Возьмешь из наших, кукольных. И давай мы этого скворца как-нибудь назовем... Ммм... Пусть будет — Рюрик!

— Смело как! Неожиданно! — Нежная Кирлюндия захлопала в ладоши.

— Или не так. Рюрик — старообразно. Пусть будет — Влад.

— Нет, не годится. Сразу Дракулой пахнуло.

— А как Дракула пахнет?

— Ну, не знаю. Наверное, сахарной кровью... Трупно и приторно пахнет, вот!

— Трупно и приторно? — удивился Митя. — Ладно, тогда сама придумай.

— А пускай будет — Велодриммер!

Удачно названного скворца решили сегодня же показать в променуаре, перед основным спектаклем. Вопросы скворцу по ходу показа должна была сквозь щелку задавать Кирилла. Суфлировать вызвался сам Жоделет...

Кончался широкий четверг.

Часа за полтора до спектакля всем вдруг стало тягостно. Гулкая пустота заполнила «Театр Ласки и Насилия» до краев! И хотя спектакль был еще далеко, за горами, в прогулочный зал по двое, по трое стали выбегать актеры. Балаганными жестами они старались приободрить друг друга.

Ждали первого зрителя. Скворца держали на задней половине, в костюмерной, чтобы не расходовал силы зря.

Наконец Митя не выдержал, скакнул на улицу. Сперва Жоделет хотел прихватить с собой священную майну, но передумал, оставил в костюмерной: «А то и простудить скворца недолго. И тогда не дожить майне до кончика Масленицы, до сладостного Прощеного воскресенья!» — завертелось в голове у Жоделета что-то похожее на слова из будущей пьесы.

Тут — удача! В переулке безлюдном, в переулке изогнутом, сквозь бусенец дождя и снега, —

внезапно три фигуры. Двое в камуфляже, один в плащ-палатке и бутафорской немецкой каске.

«Вот тебе, бабушка, и променуар с клоундой! Актеры Театра Российской армии к нам пожаловали. И этот... заслуженный Пяткин с ними. Как выступают, как идут! Находчивей нас они оказались. Тут тебе и деловая прогулка, и натурный перформанс. А может, скрытой камерой их снимают?»

Потирая руки от предвкушения плодотворного сотрудничества, Митя двинул братьям-актерам навстречу.

Первый удар в лицо оказался хрустким, страшным. Второго Митя ждать не стал, кинулся наутек, но был пойман за хвост парадного фрака, только что, по случаю представления скворца публике, напыленного.

— Где птица, р-разбойник? — спросил, рокоча, заслуженный Пяткин.

— Как-кая птица?

— Скворец ученый где, спрашиваю? Мы за ним пол-Москвы по цыганской наводке оттопали. Здесь где-то он...

Митя был высоко поднят и болезненно обрушен наземь.

— Точно не знаю... В костюмерной или в гримерке у Чадова!

— Што за гримерка такая?

— Да ладно вам, товарищ Пяткин... Гримуборная же!

— Так, стало быть, тут вертеп, позорище?

— У нас — никаких позорищ! У нас театр — будь-будь. Умереть и не встать театр! Это только Иона его «Театром Ласки и Насилия» называет. А по буагам — «Театр Клоунады и Перформанса»...

— Што за Иона такой? Ваньки Тревогина приятель? Отвечай, сквернавец!

— Никакого Тревогина у нас в труппе нет. Даже фамилии такой не слыхал, ей-бо...

— А птицу, птицу евонную кто сюда приманил?

— Скворца, я извиняюсь, Иона принес. Я ни при чем, непр-р-р...

— Ни при чем, говоришь? Как кличут?

— Митя Жоделет...

— Димитрий, плод земной... — Великан с клокастыми бровями, похожий на заслуженного Пяткина, сложил губы колечком, словно хотел выпустить изо рта дым или пламя, снова Митю поднял, подержал на весу сколько надо.

— Хы-а, — вдруг ни с того ни с сего осклабился другой артист, гололобый, похожий на турка, — а Поп, Грек, Чернавка и Гаер — они у вас тоже имеются?

— Веди в гримуборную, сквернавец...

Широкий четверг, вдруг страшно — до кровоподтека, до заплывших фиолетовой синевою глаз — вспух, а затем беззвучно лопнул.

## ЦАРСТВО ТРЕВОГИНА

Володя Человеев пронзительно затосковал. Он сидел у Дзеты на дому, ничего не читал, ничего не смотрел, даже о русском характере и о его усилении перестал задумываться.

Так прошел день. Вечером, шелестя вискозными крыльями, прилетела Дзета. Рассказала о возмутительной пропаже удостоверения, о потерянных, а потом вновь обнаруженных следах говорящей птицы.

Ласки старшего дознавателя Володя принимал равнодушно. Дзета сердилась и плакала, но потом, сцепив зубы, снова и снова подступала к помутневшему от скорбей Человееву.

Но только в те минуты Володя дознавателя не видел, даже на ощупь не чувствовал! Тогда Дзета, смахнув слезу, сказала:

— А я тебе, подлец, обещанные копии пггинесла.

— Чего ж ты молчала? Давай их сюда!

— Фигушки. Только утггом. Утггом, как на тагелочке, пггиподнесу тебе еще одного истоггического уголовника: Ивана Тггвеогина! А пока...

— Пока поесть бы.

— А ты пггиготовил? Ладно, пойдём, сожггешь ваггеники с вишнями. Я их в пггокугатуге, в буфете купила.

— В прокуратуре? Что-то есть перехотелось, — сглотнул слюну Володя и стал с омерзением раздеваться.

Утро настало нескоро. Дзета отбыла в свое грозно-пампушечное учреждение. Оставшись один, Человеев стал разбирать перепечатки, которые старший дознаватель приволокла из РФГАДА.

Ярость и ненависть вдруг разом упали Человееву на плечи: Тревога, Тревогин! Вот кто был теперь важен, вот кто был теперь необходим!..

Час спустя Володя решил встряхнуться. Он начал ходить по Дзетиной квартире на руках, бросил, встал на ноги, крепко задумался. Еще раз вспомнил то, что вычитал про Офирское царство у князя Щербатова. Теперь княжеская книга показалась ему близорукой и прихлебательской.

— Военные поселения на манер Аракчеева, то, другое... А вот скворец не про княжеский, про иной Офир кричит! Про тот, который Ванька Тревога описал!

Человеев снова стал тасовать перепечатку следственного дела за номером 2630, сделанную Дзетой в Российском архиве древних актов.

Что это было за наслаждение — царство Тревогина! Чем-то близкое к современности, но намного более радостное, несказанное! Все больше воодушевляясь, Володя снова и снова перечитывал заголовок дела: «О малороссиянине Иване Тревогине, распускаявшем о себе в Париже нелепые слухи и за то отданном в солдаты. При том бумаги его, из коих ясно, что он хотел основать Офирское царство на острове Борнео».

Воткнувшись в листки, Человеев стал выборочно, с короткими паузами, читать вслух: «...и переименовал тот Ванька прозвище свое Тревога на Тревогин. Переехав из Харькова в Воронеж, а оттуда Санкт-Петербург, стал подавать прожекты. Издавая журнал "Парнасские ведомости", влез в долги. Не желая платить по долгам, покинул пределы империи. За кордоном сказками своими и трактатами стал смущать народец голландский, потом французский. За это и за ограбление ювелира мосье Вальмонта был заключен в тюремный замок, именуемый Бастилия. Пребывал в башне Базоньер, в камере за номером 2...»

\* \* \*

Башня слыла необитаемой. В ней, если не считать единственного узника, и впрямь никого не было.

В камере было душно. Однако из каменной щели тянуло свежестью дубрав. За рвами цвел сад! По тому саду-вертограду заключенный мысленно путешествовал. Отрадно и весело было глядеть на стриженных парижских собак, на господ с дамами. Сил оторвать мысленный взор от сада — не было.

А пришлось! Единственный находившийся в камере стул тягуче скрипнул. Следственный судья поморщился, устроился поудобней. Переводчик, переступая с ноги на ногу, повторил заданный судьей вопрос:

— ...и продолжаете утверждать, что вы принц Иоаннийский?

— Утверждаю и награжу вас по-королевски, когда час подойдет.

Последние слова переводчик тлумачить не стал. Однако следственный судья по характерному жесту заключенного — пальцы, пересыпающие золотые луидоры, — их понял. Grimаса отвращения исказила тонкие, с чернилкой, губы судьи. Он получил королевский патент, он имеет достойное жалованье, обладает важными полномочиями! А этот русский самозванец, объявляющий себя то королем, то принцем, смеет ему здесь что-то обещать! Судья брезгливо приложил

к губам кружевной платок, подарок премилой Зизи.

Переводчик, спеша заглазить неприятную паузу, задал новый вопрос:

— Серебро в лавке мсье Вальмонта зачем же брали, коли средствами располагаете?

— Гонца снарядить в мое собственное королевство спешную надобность имел.

Следственный судья встал. Пустая болтовня томила его. Порожня башня — наполняла гневом. Припомнился гуляющий по праздникам близ ворот Сент-Антуанского предместья, грозящий кулаками башням Бертодьер, Базиньер и шести прочим парижский люд. Следовало немедля передать государственного преступника Российской империи! Пускай там возьмется.

— Merde, merde. — Мясистой ладонью судья отстранил от лица спертый воздух и королевской поступью прошествовал к выходу из камеры № 2.

Переводчик на ходу оглянулся. Этот русский, которого, конечно же, следовало немедленно повесить на Гревской площади, интересовал его все больше. Неужто и впрямь есть на земле место, где каждый подданный свободней французского короля?

Большоголовый узник с розоватым лицом и сахарными, обметанными мельчайшей белой сыпью татарскими, вывернутыми наружу губами отрешенно улыбался. Не успели судья и переводчик выйти, как он стал мерно произносить только что пришедшие в голову строки:

Пою гониму жизнь несчастного Тревоги,  
Который, проходя судьбы своей пороги,  
Неоднократно был бедами окружен,  
В темницу брошен и чуть жизни не лишен...

\* \* \*

Володя Человеев взбил кончиками пальцев льяные волосы и продолжил чтение.

«...через некоторый промежуток времени, в сопровождении тайного агента господина Обрескова и французского инспектора полиции мосье Ланпре, доставлен был самозванец в Санкт-Петербург...»

«...а всеми вольностями и свободами, предоставляемыми Российской империей, тот Ванька Тревога продолжал пользоваться сполна. Перевели его из Петропавловской крепости в смиренный дом, где содержали строго, но с подобающим к его учености уважением...»

«Из трактатов, писанных Тревогиным, не все разделы имеют одинаковый вес, и лишь некото-

рые — настоящее обоснование... Писал Тревогин, между прочим, следующее: "Царство Офир учреждается для собрания в одно место всех наук, художеств и ремесел, для приведения оных в совершенство и для просвещения народов. Признается сменяемость правителей всех рангов..."»

— Так у нас эту сменяемость и признали. По срок девять лет сидят на теплых насестах в Москве и в Питере, ни годом меньше!

«Офирский кавалер не что иное есть, как только ученая особа, вступившая в Офирское царство из одного только к человеческому роду усердия и любви... А вольности офирские должны быть такие...»

Здесь Володя насторожился: как сумел Ванька угадать его собственные, человековские, мысли? Но потом расслабился: «Эка невидаль. В определенные периоды истории всегда схожие мысли у людей возникают!..»

— Так, Володя, так, Ваня! — подбадривал Человеев себя и давно почившего летателя и фантазера Тревогина. — Из одной любви к роду человеческому нужно найти нам Офирское царство. Или лучше образовать его заново в пределах России. Именно царство! Только нового типа, что ли... Где не только по национальному признаку — в первую очередь по признаку личной обученности ремеслу и наукам соединялись бы! Где не было бы одного царя, а каждый — сам себе царь! Или даже Бог! Может ведь Бог по-серьезному, а не на словах, войти в каждого? И царь может. Каждый искусник — царь. Каждый творящий — маленький Бог. Федерация искусств! Республика царей! Не фотшопповцев, не выискывателей распродаж! Вот Новороссия не знает куда повернуть. Там бы для начала Офир и устроить!»

Здесь Володя понял: зарапортовался, наговорил лишнего.

«Эк куда хватил. Про Бога — сей же миг брось. И республикам не твое дело указывать. Вообще: конец утопиям! И антиутопиям тоже. Что-то новое в поворотах истории назревает! Неслыханное, небывалое... Эфиросфера, что ли, грядет?»

— Каждый сам себе царь! Искусство выше политики! Поэтический повеса сильнее царя! — повторял уже вслух Человеев. — Это что ж за общество такое будет? Как его создавать? Трудненько? Еще как! Заманчиво? Нет слов! Выполнимо? Здесь — сорока по воде хвостом писала! Эх, перестать бы Ваньку госпреступником называть, простить бы навсегда. Заодно и Льва Николаевича! Только не простят, обсмеют, исказят, обгадят.

«Хорошо бы вслушаться в скворцовы бредни внимательней. Нехилые он чи-то мысли повторя-

ет, — снова увел голос внутрь себя Человеев, — но только где ты этого скворца возьмешь, если скворца украли?»

Володя набрал старшего дознавателя.

— Дзета, пас-скуда, ищи скворца! — брызнул он злостью. — Иначе съеду от тебя!

— Так я тебя на замок запеггла. Он, между пг-гочим, изнутгги не откггывается.

— Я через форточку, вниз по канату съеду!

## ВЕРТЕП ИОНЫ

Воблистый Голев был не просто чучельник, а чучельник «с левой резьбой», с прибабахом. Изготавливая чучела, он потом обрызгивал их слезами, мечтал оживить вновь.

— Из чучел в дальнейшем безупречные звери получиться могут, — говорил не однажды Голев пузенистому Ханадею, — смиренные, ненадоедливые. А когда звери и птицы сразу живые — как-то норову в них многовато!

Ближе к вечеру, подвигав ушами-локаторами и подергав себя за красную, с вплетенными в нее жемчужными шариками бороду, Голев задумался о скелете и перьях скворца. Запах перьев с обеда витал близ его ноздрей: сладко-говняный, но и приятно-глинистый. Узнав от инженю Суходольской о том, что скворец попал в театр к Толстодухову, Голев разволновался.

— Ведь и косточек после Ионы не соберешь! Перышка малого, живоглот, не оставит! Сам живоглот, и театр его живоглотский! А я чучелку набыю. Для утехи старшекласникам. И назвать птицу можно будет как-то призывно: «чудесный рыловорот» или «священный страхоидол»...

Таксидермист позвонил в театр. Оттуда внаглу не ответили.

Мобилки Суходольской и Толстодухова тоже вдруг оказались вне зоны доступа. Тогда Голев самоллично двинул в «Театр Клоунады и Перформанса», называемый промеж своих «Театром Ласки и Насилия».

Он зашел в ТЛИН со служебного входа, поднялся на второй этаж, раскрыл дверь бухгалтерии... То, что Голев увидел, превзошло его — надо сказать, весьма изощренные, — заглочки.

На полу лежали полтора трупа. На высоких стульях, рядом с трупом Чадова и полутрупом симпатичной бухгалтерши Гали, у которой была, по первому впечатлению, отнята нога, сидели актеры и заунывно твердили роли.

— Мы московский, мы школьный феатр! — вывали актеры на старинный лад. — Мы вам представим сейчас, кто мы есть, а пулилить не бу-удем...

— Я — Бомелий.

— Я — есть Девка-Чернавка.

— Я — Гаер.

— Я — Грек.

— И все мы в вертепе Ионы Толстодуха больше играть не станем!..

Школьный театр и полутрупы сладкой своей отвратностью Голева к себе на миг притянули. Но тут же, пятась, он стал отступать к выходу.

— Куда, давленник? Отвечай: для какой надобности сюды прибыл?

Обритый наголо, похожий на турка, с вислыми усами актер, в камзоле и в камуфляжной куртке поверх него, больно ухватил Голева за плечо.

— Да я тут...

— Говори, зачем явился, ухляк!

— И верно, Савва. Соглядатай, ухляк он! Кем-то, видать, послан...

— Да как вы сме... Я такс... Таксидермер я! — негодуя, приделал к своей профессии дурацкое окончание Голев.

— Говори ясней: кто ты есть? Или кончу тебя здесь, межеумок!

— Ну, это... Чучельник я.

— А по зубам, чучельник, не хо-хо? Ты как с разыскателями Тайной экспедиции при Правительствующем Сенате разговариваешь?

— «Рогатку» б ему на шею, Савва. Жаль, в раселине осталась.

— Так, говоришь, чучельник?

— Ну.

— А вот мы тебя сейчас выпотрошим и чучелой на позорище выставим!

— Ага, ага. Ну, я просто уделался. Чмошник и чепушило серьезного человека пугать вздумали. Резать я и сам умею. Надо чего — спрашивайте. А пугалки свои — в гузно себе засуньте!..

Тем временем за сценой (ни один зритель на новый перформанс так и не явился, покрутились студенты соседнего ГИТИСа, но и они быстро сгинули) Игнатий допрашивал раненого Жоделета.

— В Сад Зверей — ты за птицей ловцов посылал?

— Не я-я...

— Что еще говорил скворец? Государыню Екатерину бесчестил? Обер-секретаря господина Шешковского поминал?

— Про этих ни слова. Все про Путина кричал. Хвалил его. Видно, сдуру.

— Ты не ответил: откуда в захудалом позорище дорогая птица? Кто приманил?

— Иона у кого-то выиграл, — неожиданно сморзил Митя.

— Брехня, сердцем вижу.

— Да правду я говорю! В нарды он его и выиграл.



— Што за нарды такие?.. А ну покаж.

Зажимая платком рану на бедре, Митя с трудом поднялся.

Занялись нардами. Игнатий учился быстро. Только брови волохатые взлетали и опускались! Жоделет проиграл собственную, не бог весть какую, одежонку. Потом кружевную, просторную, давно вышедшую из моды рубаху отыграл назад. Проиграл, а потом снова отыграл синий, бархатный, в звездах и лунах, занавес «Театра Клоунады».

Игнатий проиграл камзол. Отыгрывать его не стал. Послал вернувшихся из бухгалтерии Савву и Акимку в костюмерную, в сторону, указанную Митей.

— Одежонку мне подберите сегодняшнюю. Да птицу, птицу ищите!

В пустом позорище Савва с Акимкой морщили носы и плевались. Висевшие по стенам изображения ласк, сопряженных с насилием, мытарили душу. Негодованию разыскателей не было конца. Раздражало их теперь все: повадка и разговор московитов, быстрота людских поступков и медлительность мыслей. Непрестанные звонки и песни, летевшие со всех концов Москвы. Пыхающие голубым пламечком говорящие ящики. Бабы, покрашенные так, что кожи не видно. Сюсюкающие и вертящие задами мужики, которых было множество и на улицах, и здесь, в вертепе...

А радовало одно: пока удавалось выдавать себя то за ряженных, то за актеришек погорелого театра. Но был и некий испуг: вдруг незримая стража дознается? Вдруг за самовольное вторжение в призрачное царство забьют в колодки?

В костюмерной было — не продохнуть: хоть топор вешай! Запах людского пота густо мешался с духом каменноугольной смолы. За рядами висящего на распялках тряпья Савва обнаружил мужика в кожаной шкуре...

Вернувшись в ТЛИН десять минут назад и лишь чуть разминувшись на входе с чучельником Голевым, пустой человек и бжезикнутый чмошник Иона так и не успел скинуть кожаный плащ. Не до плаща было. Следовало довершить неотложные дела! Толстоухов, не мешкая, ущипнул за плотный бочок Кириллундию, затем наклонился и стукнул по клюву скворца, ужинавшего на полу мороженой клюквой.

— Ты понимаешь, что перформанс — это в первую очередь преодоление расстояния между телом и телом? — спросил он, чуть не падая на Кириллу.

— Здесь костюмерная, Иона Игоревич, а не общественный туалет!

— Вот и начнем с тобой костюмы мерить: я — Адамов, ты — Евин!

— Там, там! — Кирилла испуганно мотнула рукой в сторону променуара.

— Или лучше так: я в костюме, ты без костюма. Свежо, свежо будет!

— Да вы прислушайтесь, Иона Игоревич!

Иона нехотя прислушался. До костюмерной долетали одиночные вскрики.

— Опять жалкий хэппенинг вместо настоящего перформанса? Да я тебя за это... — Иона мигом расслабил ремень.

— Там бандиты старинные! Убивают, режут... — пролепетала Кирилла.

Иона вслушался внимательней. Гвалт из променуара долетел ясней. Вдруг, почти рядом с дверями костюмерной, зазвучали жесткие проволочные голоса. Кирилла, забыв про Иону и про скворца, влезла с ногами в продолговатый ящик, где были приготовлены костюмы для ломбарда, накрылась ими с головой. Иона спрятался в ряду занафталиненных, висевших до полу женских платьев.

Вошли двое. Толстоухов, одной рукой ухватившись за белый шелковый шарф, а другой пытаясь застегнуть ремень, отступил глубже.

Но его заметили сразу.

— Вот, шкурами с тобой желаю поменяться, — мечтательно сказал обритый наголо бандит, — шкуру свою давай сюда. Да прозвище скажи, небога...

— Толстоух, — впервые с гадливостью произнес собственную фамилию Иона, послушно скидывая кожаный роскошный, отнюдь не турецкой выделки, плащ.

— А я — Савва Матвеич. Надо бы и твою собственную шкуру с тебя содрать. Жалобы тут на тебя приносят. Сказывают: довел вертеп до ручки! Но уж больно долго шкуру с тебя снимать. Ишь, шерстью зарос, кабан!

Савва подступил ближе, пошевелил негнушмя пальцем густую волосню, торчавшую из толстоуховского расстегнутого ворота.

Как те волнующие ветром гибкие и молодые ветви осенних черных лесов, дрогнули волосы Ионы!

Толстоухов вжал голову в плечи. В кармане его трепыхнулся айфон.

Савва влез к Ионе в карман, покрутил блестящую игрушку в руках.

— Гляди, Акимка! Зеркальце для подглядывания, што ль? Так ты вертепщик или тоже согляда-тай? — негромко спросил Савва. — Носопырку свою в чужие дела совать вздумал? А она, носопырка твоя, мне, к слову сказать, неприятное на память приводит: у Шешковского такая ж!

И взмахнул висельник выхваченным из кармана ножом.

Широкое лезвие резануло глаза смертельной стыльностью. Иона похолодел. Неистраченные в суете жизни, немалые, а верней сказать, большие деньги, мертво лежащие в Сбербанке, враз сбили дыхание, вымотали нутро. Все, что он сделал как перформатор, — представилось мутным, жлобским. А вот мелкие дела — копание огорода в дачном поселке Хрипуново, прибавление скворечников к березам в глиняном, на куски растрескавшемся детстве, — наоборот, показались главнейшими.

Иона ткнулся головой в театральные платья. Они были солеными от актерских всхлипов и насморков, пахли дешевым мылом. Толстоухов даже попенял себе: «Загонял ты актрисок, Иона, как есть загонял...»

— Ассигнации давай, ежели есть. И подпояску кожаную выдергивай.

Иона вынул еврашки, вытащил из брюк ремень.

— А чтоб нюхальник свой в чужие дела не совал, мы его укоротим!

Нож сверкнул во второй раз, кончик Ионина носа, трепыхнув ноздрей, в невыносимой тишине смачно шлепнулся на линолеум. Савва вытер нож о полу куртки, спрятал в карман. Затем ухватил живой, шевелящийся кончик длинными узкогубыми щипцами, вынутыми из-за пазухи, придиричливо его осмотрел, зачем-то понюхал, откинул в сторону.

Кончик упал рядом, Иона, умываясь кровью, заурчал и сел на пол.

Савва и Акимка, сдернув с распялки мужской костюм громадного размера, брезгую обрубленным кончиком, ушли.

Кирилла тихо выбралась из ящика, вздрагивая всем телом, отряхнулась, подхватила скворца, который, распластавшись на полу, вовремя изобразил из себя тряпку, а потому замечен бандитами не был, на бегу набрала ОЗ и, увернув птицу в первый попавшийся под руку платок, стремглав кинулась вон...

Савва с Акимкой вернулись к Игнатию.

Жоделет был теперь полуголом, Игнатий — в какой-то рванине.

Доложили: скворца в костюмерной нет.

— Так на чердаке, так в подвалах ищите, ироды! — крикнул в сердцах Игнатий и неловко бросил кости.

Одна из костей вылетела за край доски.

— Повторить! — обрадовался неверному ходу, несмотря на рану, что-то сильно раздухарившийся Жоделет.

— Сказал — на горище лезьте! — Игнатий грозно привстал.

— На горе-горище лежит голенище, в том голенище деготь, леготь и смерть недалече, — вполголоса произнес Савва, но послушаться Игнатия не посмел.

Савва и Акимка ушли. Игра в нарды продолжилась.

\* \* \*

Златокожая Кирилла бежала со скворцом, укутанным в серый, изукрашенный рябиновыми бусинами павловопосадский платок, уже минут двадцать пять, если не все тридцать.

Справа осталась Консерватория с притаившимся на крыше громадным пулеметом (так представлял себе архитектурное обновление старинного здания живший в стороне от музыкальных новаций Жоделет).

Мелькнул желто-конюшенный Манеж. Оборвался, как сердце, до краев наполненное грустной лаской, Китайгородский проезд. Вдалеке, сквозь дымку, заструились места любимейшие: Замоскворечье, Нагатинская пойма, Коломенское... Правда, до родной Каширки было еще ох как далеко.

Да и не пускало туда что-то! Кирилла резко развернулась, сдала назад, нырнула в метро, решила ехать к деду, в Черниговский неближний Скит.

Настоящее пыточное, а не сладенькое театральное насилие толкало Кириллу на север и на север, в дальнее Подмосковье, на просторную равнину, изрезанную узкими реками, изрытую глубокими пещерами, где можно было укрыться от Ионы с его грузным пузом, от Саввы с Акимкой с их ножами и пыточными узкогубыми щипцами!

То, что произошло полчаса назад в «Театре Клоунады и Перформанса», было страшно вспоминать и невозможно забыть.

Никак не получалось выдернуть из сознания проволочные голоса людей, загримированных под актеров, долетавшие до костюмерной, где Кирилла кормила скворца, а Иона приставал и щипался. Донимало также чуть более раннее бормотание двух среднеприятных костюмерш, ворковавших за дверь, пока не явились Савва с Акимкой:

— Сизые, сизые кишки у сердешного были! И обмотали ведь, урки, вокруг языка! Как ухитрились — не пойму! Это я про Чадова...

— Да видела я! Жоделету ногу проткнули, нос помидоркой расквасили!

Голоса, бубнившие близ двери, вдруг смолкли. Раздались другие: резкие, заржавленные. Немеря от страха в ящике, набитом рваными камзолами и вытертыми до дыр фракками, Кирилла прильнула глазом к щели: искала забытого в спешке скворца, но того нигде видно не было.

Через минуту двое в камуфляже, которых все сперва приняли за актеров Театра Российской армии, вошли в костюмерную. И сразу подступили к Ионе.

— Ты глянь на него, Савва! — крикнул один из бандитов.

— Вижу, Акимка! Ну, мы этому штопальщику позорищ, мы этому херу моржовому...

Кирилла тут же заткнула уши пальчиками.

Как только уши были заткнуты — обострились запахи. Безбородый Акимка, пахнувший речной, илистой рыбой, противно скалился, делал Савве знаки, и пакостный этот Савва, от которого густо несло дегтярным мылом, ни секунды не думая, обрубил Ионе, так не вовремя вернувшемуся в театр, кончик носа. Кончик шлепнулся на линолеум, и тонкий запах вовсе не сахарной, как у Дракулы, а живой, соленой крови невидимыми струйками разбрызнулся по костюмерной. Савва, нагнувшись, подхватил кончик за дрогнувшую ноздрю узкогубыми щипцами, понюхал его.

Запах Савве не понравился, и ноздря снова шлепнулась на пол.

Кончик носа и на полу продолжал противно трепыхаться, запах его становился солоней, горше, кровь на крылышке ноздри — темней и темней!

Иону, еще пять минут назад глубоко презираемого, стало жаль...

Уже в метро Кирилла внезапно остановилась: ей показалось, скворец тихо пискнул. Подойдя к подземной скульптуре и обернувшись к вестибюлю спиной, Кирилла развязала узел на сером павловопосадском платке:

— Ц-ц-ц.. Не отдавай р-р-реям!

— Каким реям, — растерялась Кирилла... — Может, евреям?

— Не евр-реям, не евр-реям! — забеспокоился, даже забился в легких судорогах скворец. — Канцеляреям на перья! Канцеляр секретар-реям!

— Господи, что за муть! Какие канцелярэй? Даже птица от нашей жизни ума рехнулась. — Кирилла, охнув, бережно затянула платок узлом.

## ИМПЕРСКИЕ ВОЛЬНОСТИ

Имперские вольности представлялись теперь Человеку по-иному.

То виделись они ему сахарной горой, которую обтекает молочная река, а в реке — кораблик, и на парусе задиристый профиль императора Павла. То, мнилось, хранятся вольности в подземелье, в огромном сейфе, под семью замками. Иногда вольности, без всяких причин, представлялись

сброшенным сарафаном и женской пробежкой нагишом по краю теплого моря...

Совсем по-иному представлялись имперские вольности условно-виртуальному человекеевскому приятелю Ивану Тревогину.

Тревога наблюдал вольности только в земле Офир! Иногда — в Голкондском царстве. Гористые эти земли были расположены частью в Российской империи, частью на острове Борнео, а частью незнамо где.

Виделась Тревоге возня павлинов и пав, слышались радостные крики скворцов-хитрецов. Рисовались цари, бьющие поклоны перед подданными, и подданные, одетые на лейденский университетский манер, да к тому ж выученные алгебре и философским наукам.

Подданные двигались угловато, руками-ногами сучили дергано, как те набитые древесным опилом, умышленно состаренные и оттого приязненные еще не умершему тревогинскому сердцу «чердачные» куклы.

— А цари ничего себе, справные. Особенно этот, в бараньей шапке. Ну, который «государь над казаками», — добавлял за Ваньку чутко вслушивавшийся в чужие мысли повеса с льянными волосомами.

Чем больше Володя читал документов, тем сильнее хотелось ему поговорить с Тревогой, мнучая трактаты и следственные дела, просто так, по-приятельски. Общение затруднялось тем, что условный человекеевский собеседник был лишен объема и веса. И хотя Дзета приволокла из РГАДА еще и перекопированный тревогинский автопортрет, Володе страшно хотелось скульптурного вида и телесного наполнения!

«Не верю я этому автопортрету. Ванька был выдумщик и себя, без сомнения, приукрасил. Хотя полностью переменить облик на листе, разумеется, не мог. Вот и вышел автопортрет с чудинкой: несоразмерно большая голова, взбитый помоцартовски парик. От неумения рисовать — слишком маленький левый глаз, руки коротковаты, плечи по-детски узкие. Иноги Ванька упрятал. А вот пуговицы — те прямо в глаза лезут!»

Пуговицы, это Володя знал точно, говорят о человеке куда больше, чем глаза!

— Большие пуговицы — большие амбиции. Мелкие пуговицы — и потребности души мелкие, — распределял носителей пуговиц Человек.

Пуговицы тревогинские были огромны!..

Сонными вечерами Володя высказывал на лестничную клетку и, таясь от жителей Дзетиного подъезда, рисовал цветными мелками на стене профиль уроженца Изюмской провинции, а позже



питерского издателя и прожектера Ивана Тревоги. Только вот профиль тревогинский всегда выходил похожим на профиль Зиновия Богдана Хмельницкого: нос острился, кончик его чуть загибался, отрастали усы, губы делались уже, строже!

Исправлять этого Володя не хотел.

После мелков переходил он к созданию словесно-пластического образа. Найдя в запасниках у Дзеты четыре коробки пластилина и вынув из визитницы с десятков карточек, Володя вылеплял части тела и клал рядом с ними — как в музее — таблички с надписями. Завершив изготовление тела, таблички располагал в ряд, чтобы связался текст.

Образ «Тревоги в таблицах» выходил вполне историческим, но сам пластилиновый индивид ни правдивого облика, ни людского запаха не имел.

Это беспокоило.

Была и другая незадача: Володя на Ваньку не годовал, гнал его от себя, называл то прощельгой, то несурзным малороссом. Но и любил Тревогу с каждым часом сильнее, и высвобождал ему рядом с собой все больше места!

— Мысли тревогинские — есть отблеск тайной действительности. Той, которую я себе и вообразить боюсь, — жаловался вслух Володя, — но теперь я с этой тягой к увлечению тайных отблесков

не расстанусь. Хватит того, что предки мои влечение к ним утратили!

Володя резко сминал куски пластилина в один ком, потом руки-ноги бережно разъединял и продолжал удивляться собственным мыслям.

— Жалко, скворца нет! Он бы своими повторками куда надо направил. Потому как сбился я. А сбился — возник вопрос: что ж это, русский без малоросса теперь и шагу ступить не может?

— Получается, что так, — отвечал за Володю пластилиновый Тревогин.

— Но ведь малороссияне, теперешние украинцы, они разные бывают?

— Еще какие разные. — Пластилиновый Тревогин резко, как в обморок, случившийся от помрачения ума, падал в коробочку.

Однако, вмиг Володей подхваченный, снова вставал на ноги, вел свое:

— Ты, Человеев, всем этим украм, всем этим лемкам и бойкам, которые когда-то породнились с оттесненными в Карпаты германцами, не верь!

— Я и не верю, — смущался Володя, — правда, выхвалял дней пять назад в корчме «Тарас Бульба» один усач вольности украинские...

Но вот про то, как, дивясь самому себе, соглашался он с обходительным жителем Коломыи, ко-



торый говорил со швабским акцентом и превозносил новые украинские вольности до небес, Володя не сказал ни слова.

— Ты не германским верховинцам, ты слобожанам и запорожцам, а также тем, кто южнее их, верь! И не смей думать: раз Тревога на скорую руку тобой вылеплен, так он никуда не годен, — возмущался Ванька, — я тебе и пластилиновый сгожусь. Уж точно помехой не стану, лучше, ярче тебя сделаю. А ты как образ мой из пластилина до последнего ноготка вылепишь — повтори его из сахара! Крупную сахарную голову найди и фигурку мою выточи. А потом фигурку схрумкай! И не запивай ничем. Сразу в инобытие впадешь, воздушным и прозрачным станешь. Бедней станешь, а свободней!

— Какое там инобытие! Сахарную голову схрумкаю — гипергликемия случится... И про бедность со свободой ты чушь городишь! — серчал Человеев. — Смотри, какая Россия богатая. И сам я тоже не бедный.

— Кто ж спорит, Россия богатая, Россия широкая. Но что-то ею словно бы утеряно! Ширь есть, сила есть, даже ум наблюдается. Только вот усредниловки много. И грубиянства. Великая и страшная теперь Россия!

— Великая — да. А страх украин — проще говоря, окраин, — он скоро кончится. Страх ведь всегда сменяется надеждой. Правда, некоторые одним только страхом и живут, его одного и жаждут... Но ты мне подозрителен становишься. Как человек наших дней говоришь. Я не дознаватель, но ты ведь помер давно, Тревогин!

— Тело умерло, дух жив. Ты вот что пойми: дух тревогинский, он сильно дополняет дух человеевский! Дух мой в тебя влетел, с твоим духом сроднился, и растет, и крепнет. И хорошо этому духу в тебе! Только два бугорка неприятных у тебя внутри наблюдаются: гроболепия и раболубие.

— Врешь! Именно дух нераболубия уже три столетия во мне бушует!

— Ты не расслышал: я про гроболепия и раболубие говорил. Но все одно: если б не укукошил русский человек немилосердием и покорностью всему чужеземному часть собственной души, подобно тому, как укукошил императора Павла его сын, — стал бы крепче, радостней!

— Выдумщик ты, Тревогин.

— А ничуть. И потому возьмусь-ка я тебя в Офирскую землю доставить. — Ванька внезапно, как та изнервленная или утратившая тонус шейных мышц ночная птица, закинул голову вверх.

— Уничтожить меня в этой земле собрался?

— Думай как знаешь.

— Как же ты меня в Офир доставишь, когда весу в тебе тридцать грамм?

— Сила незримого — мощней силы зримого. Власть сокрытого — могущественней власти явленного! Я тебя в походе в призрачном состоянии сопровождать буду, надо — в спину подтолкну, надо — под зад коленом наподдам.

— Ага. Загонишь меня за Можай, а сам сахарком малоросским истаешь.

— Чем препираться, лучше найди скворца. Слишком долго он в расселине обретался. И только на день-другой в Офирское царство слетал. Я истаю — скворец останется. Триста раз что надо повторит. Птица священная, врать не станет. Шешковский Степан Иванович за скворца этого теперь всю свою Тайную экспедицию отдал бы!

— Шешковского, поди, давно и косточки истлели...

— Так-то оно так, а только сыскной дух, дух Шешковского, у вас и поныне обретается. Ты листки из моего дела внимательно читал?

— Листки серьезные.

— Серьезные, да не во всем. Я и приврать, и пошутковать был мастер. Карикатуры на сановников малевал, пасквили сочинял, бывало. Я шутник, но не остолоп! Ты думаешь, я по-настоящему выложил, где земля Офир простирается? Сказал первое попавшееся — про остров Борнео, про Голкондское, да про Иоаннийское царство, все и поверили. И матушка-государыня, и докучные французы, что в башне Базиньер держали... Один Степан Иванович не поверил. Шешковский — не куль с мякиной! Понял: Офирское царство не там, где я его в записках обозначил. А там, где оно и возникло: во мне самом! Шешковский — катюга, палач, но голова у него хорошо ворочала. Других истязал — сам умнел. И дело вершил нужное...

— Это ты про что?

— А это я про пытки. Не каждый человек сам себя с пристрастием пытать станет. Вот Шешковский и помогал многим спросить с себя как следует. Без нешуточного спросу — пути настоящего нет!

— Изуверство, средневековье.

— Согласен. А только развежился в комфортах человек. И тогда был развежен, а сейчас — подавно. Себе потакает. С себя не спрашивает. Скоро весь мир изведет под корень. И при этом будет приговаривать: «Все хорошо, все путем! Какой я есть — такой хорош, не смей меня улучшать!»

— Как же нам с тобой теперь существовать, Тревога? Без тебя скучно, с тобой страшновато...

— А как я и сказал: рядом, по принципу дополнительности характеров. Они, наши характеры,

русский и малоросский, и порознь — не обсевки в поле! А сложить вместе — горы перевернут.

— Ты, Тревога, из неустойчивости моих выскочил. Птица любимая пропала. Дзета — до бескрайности утомила. Вот ты и явился их заменить. Как теперь говорят: восполнить и компенсировать. Я чего-то не догоняю — вот ты мозгом моим мне и послан. Чтоб не повесничал, не колобродил!

— А колобродь ты себе на здоровье! Колоброды нас, прожекторов, ох как понимают. Не то что кинодралы всякие. Не будь русского колобродства, я б из Европ в Россию ни за какие коврижки не вернулся.

— Тебя насильно в Питер вывезли! В Петропавловке и в смирительном доме держали, потом в Тобольск запроторили!

— Не пожелай я того сам — не привезли б. Я, может, хотел мученья претерпеть, чтоб дух укрепить, и укрепленным духом к тебе как к человеку, а не как к собаке, явиться. Мне в юности на псарне, зарывшись в солому, спать доводилось. Собак человеческих — нюхом чую. И тебя нюхом вынюхал: ты не собака, Человеев!

— Что-то ты подозрительно в пользу России заговорил.

— Так ведь Россия любого, кто в ней достаточно пожил, на свою сторону перетянет. Так было и так всегда будет.

— Найду-ка я лучше скворца, с ним поговорю. Скворец — он живой, сегодняшней. Не то что ты: пердеж и плесень! Да еще, наверное, провокатор, на современных укров втихаря работаешь...

— Зря себя заводишь. А скворец — он и впрямь живой, теперешний. Но ведь скворец мною выучен. Может, и не этот самый, а другой, который научил третьего, третий — четвертого, четвертый — пятого. Так линия говорящих скворцов до вас без всяких проводов и дотянулась. Ты другое смекни: скворец обучен как надо. Ни историческое прошлое, ни историческое будущее, как это у них и у вас повсеместно принято, не перевирает!

— История — Бог с ней. Характеры меня волнуют! В первую голову твой и мой. Из чисто русского и чисто украинского сделались они разноперыми, пестрят вкраплениями. Я не против чужого, когда оно усваивается как родное. А тут... Англосаксонские камни в печени. Геморрой швабский сам знаешь где. Польская шелуха все губы порвала. С чужим-то как?

— Чужое — оно и правда лишнее. Так ты — прочисти характер. Только бережно. Все чужое подряд не выкидывай. От него, попутно замечу, полные кладовые прибытка.

— Ты сам, Тревога, в конечном счете чего хочешь?

— Новых вольностей имперских!

— Ну, учудил...

— Сам час назад про них думал, сам теперь отказываешься.

— Я думал про вольности царские. Про то, что всяк сам себе царь. Думал, кстати, про себя, не вслух. Ну а помыслы, сам знаешь, к делу не пришьешь.

— На безмене вечности внутренние помыслы — весомей высказанного будут. А новые имперские вольности, они Россию еще ждут впереди!

— А Украину?

— Этого не знаю. При мне там все по-другому было.

— Зато я знаю! Там думают: империя и вольность — несовместимы! А я думаю — империя и царство противоположны!

— Все это тонкости. Лишние они сегодня...

— Ну, ты же сам если не умом, то на слух должен чувствовать: одно дело царь между царями! Другое — император, то есть — повелевающий всеми.

— Я и сам одно время так думал. Но по дороге из Франции мнение свое изменил. И царь между царями, и император — подданные Великого Простора! Вся суть в громадных пространствах. Простор — есть воля! Воля — есть простор! Вольность России — в просторе великом. И свобода там же. Простор уничтожает любую несвободу... А еще новая вольность имперская в том, чтобы, свободно перемещаясь в пределах великого пространства, забывать про время. Помнишь про время — и ты раб, ты не ощущаешь пространства. Ощущаешь пространство — и время тебе ни к чему! Да они и сами по себе скоро не нужны будут — времена. Есть пространство — оно перемелет время, сделает хронологию маловажной! Вот я время забыл и чувствую: я теперь не Роланд Инфортьоне, не Роланд Несчастливый, каким когда-то назвался, — чувствую себя уединенным и вечным мечтателем Сибири!

— Ишь, куда тебя занесло. Песни о пространстве поешь, а где в этом пространстве Офир спрятан — тут молчок.

— Тебе скажи — так ты не поверишь.

— Говори, шпек, говори, засланец, где царство Офир? Сомну в комок!

— Тут, недалече. По границе расположено...

— Это где же? В Крыму? Может, в Святых Горах?

— Может, и близ Святых Гор Офир когда-нибудь вспыхнет. Может, от Слобжанщины до самого Азова протянется. Но я хотел другое ска-

зять: по границе разума царство Офир расположено! Однако, — спохватился Тревога, — кто прежде срока много узнает, раньше помрет, чем состарится. Ты сахарную голову крупную купи и болвана сахарного успей выточить, пока Дзета тебя не упекла куда подальше!

Ванька Тревога истаял.

Вместе с ним исчез и тревогинский автопортрет. Но пластилиновый человек тот остался. Еще остался сладко-пекучий вкус колотого сахара во рту... Сахарный Тревога сильно менял дело!

Вдруг увиделось: стоит Ванька в музее Московского Кремля, на подставочке — сахарная голова отсвечивает, губы томно сверкают. И подходит к нему воробыным шагом — до смешного мелким, предательским — средневысокий чин в синеньком блейзере и как бы про себя гундосит:

— Голову — вижу. Большая голова, мозговитая. Ясен пень, из сахара ведь! Таким образом, и мозг услажден, и душа, как говорят, искрится. А вот ручки и ножки... Что ж это вы, господин Человеев, ручки такие крохотные вырезали? Сахару, что ль, пожалели? И ножки — совсем не в дугу. Вы законы искусства вообще-то осознаете? А табличка? Что за табличка под болваном сахарным, я вас спрашиваю? «Искал правду, нашел Тобольск». Ну, написали хотя б: «Искал иное царство, попал в Тобольское наместничество!»

Глянул Володя и ахнул.

Стоит Ванька Тревога на возвышенном и почетном месте. Только ножки у него и впрямь малокрошечные. А ручки — одни кисти: ни локтя, ни предплечья. И в голове что-то мягко бурлит, будто сироп варится.

— Искажённым у вас образ Тревогина вышел. И учение тревогинское про Офир зря вы здесь пропагандируете. Не творческое воображение — чинопочитание и сословность все вокруг выправят. Так вы или немедля преобразите болвана сахарного, или тащите его отсюда вон!

Тут Володя сахарного Тревогу подхватил, кинулся вниз, в точильные мастерские. Но по дороге уронил Ваньку! Сахарная голова откололась, запрыгала, грохоча, по музейным ступеням вниз, вниз...

И сразу — смех. Смеялся Тревогин: не сахарный, тонкотелесный!

— Теперь понял? Я ведь с умыслом тебя заставил кумира из сахара вырезать. Знал: кумир сахарный расколется — ты прозреешь. И соображать начнешь, в чем причина нынешнего интереса к летателю Тревогину!..

Человеев встряхнулся, вскочил со стула, кинулся на Дзетин балкон.

Прикидывая возможности, глянул с четвертого вниз. Спуститься, не переломав ног, в общем, было можно. Вернувшись в комнаты, проверил ключи, кредитку и, обув свои знаменитые сиреневые штиблеты, теперь уже медленно и осторожно ступил на балкон.

Окончание следует.


**Михаил СИНЕЛЬНИКОВ**

Михаил Синельников родился в 1946 году в Ленинграде, в семье, пережившей блокаду. Отец — военный журналист, литератор, впоследствии мемуарист, известный филологам воспоминаниями о литературной жизни Ленинграда двадцатых годов («Молодой Заболоцкий», «Вечер Мандельштама» и другие очерки, вошедшие в книгу воспоминаний «Это было, было, было...», 2014). Мать — учительница русского языка и литературы, в годы войны — директор детского дома для сирот блокады.

Уже в начале пути стихи Михаила Синельникова были замечены и одобрены рядом видных писателей — Леонидом Мартыновым, Вениамином Кавериным, Михаилом Зенкевичем, Арсением Тарковским, Сергеем Марковым, Борисом Слуцким, Александром Межировым... Синельников рано профессионализировался как литератор. Первый стихотворный сборник «Облака и птицы» издал в 1975 году. В советское время был членом пяти Советов по национальным литературам при Союзе писателей СССР: грузинского, армянского, азербайджанского, таджикского, киргизского. Много занимался переводами, был на протяжении ряда лет основным действующим переводчиком грузинской поэзии, переводил также поэтов Европы, Дальнего Востока, Северного Кавказа, тюркских стран (Киргизии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении, Татарстана, Балкарии, Карачая), Армении, Таджикистана, персидскую классику (стихи Рудаки, Дакики, Шарифа Муджаллади Гургани, Муиззи, Адиба Сабира Термези, Омара Хайяма, Санаи, Низами Арузи Самарканди, Анвари, Аттара, Джелаладдина Руми, Саади, Хаджу Кермани, Камола Худжанди, Хафиза, Джами, Бинаи, Мухаммада Икбала, Лахути). Наиболее значительная переводная работа — переложение дивана (собрания сочинений) великого поэта XII столетия Хакани. Синельников — исследователь литературы, автор многих статей о поэзии (в том числе посвященных влиянию мировых религий на русскую литературу), а также воспоминаний о поэтах и деятелях искусства. Михаил Синельников — лауреат премии имени Ивана Бунина (2010), премии имени Арсения и Андрея Тарковских (2012) и других.

## НЕСКОЛЬКО СЛОВ О СЕБЕ И СВОЕМ РЕМЕСЛЕ

**В** отрочестве и ранней юности я писал очень скверные и странные стихотворения, которые посылал нескольким нравившимся мне поэтам-современникам. Одно из них — о расширяющейся вселенной — очень понравилось Леониду Мартынову, по удивительной случайности написавшему нечто свое на ту же тему в тот самый день, когда пухлый конверт с моими стихами упал в его почтовый ящик. Завязалась наша пере-

писка. Между тем мои стихи, в которых, видимо, все же иногда возникали удачные строки, не становились лучше. Я все более осознавал то обстоятельство, что дело не в причудливых афоризмах, не в отдельных строчках, которые, разумеется, не помешают и послужат украшению и усилению текста, но в конце концов ничего не значат, если нет цельности вещи, нет гармонии. С этой точки зрения плагиат («Ты украл пятнадцатую строч-



ку, Низкий вор, из моего "Дивана"...») — занятие по большому счету бессмысленное. И вот я остро чувствовал, что цельность и гармония мне не даются, и все же писал и посылал написанное Леониду Николаевичу. И так продолжалось лет семь — огромный срок в раннюю пору жизни. Но Мартынов верил в меня. Может быть, он был заморожен моей первой, мистической по стечению обстоятельств и соответствующей его представлениям о мировых закономерностях удачей. Должен сказать, что свои произведения начальной поры, в том числе и то стихотворение, сыгравшее, так сказать, судьбинную роль, я своевременно уничтожил. И включаю в сборники «Избранного» лишь тексты, созданные мною в двадцать один год или в двадцать два. В это время жизни некоторые мои стихотворения наконец-то стали мне самому нравиться. Но, разумеется, сама моя мучительная борьба за становление стиха, начавшаяся в те еще беспросветные годы, не прошла бесследно.

Я родился в интеллигентной семье, где ценили поэзию и хранили многие поэтические сборники, среди них и редкие, малодоступные. Отец в молодые годы был приятелем Заболоцкого, знал или хотя бы видел и слышал, кажется, всех заметных поэтов двадцатых-тридцатых годов. Влияние отца, да и матери, родившейся в рязанской деревне, выучившейся и ставшей учительницей русского языка, было важно. И все же мои ранние годы прошли в основном в среднеазиатской глуши, и приходится признать, что первоначальная учеба была преимущественно у книг, что по существу я был самоучкой. Подобно герою одного рассказа Гарина-Михайловского, незнакомого с трудами Ньютона, я по неведению заново открывал дифференциальное исчисление. То есть некоторые приемы стихосложения. Например, я весьма рано пришел к выводу, что сколь ни желательна богатая рифма, возможна и самая бедная (но точная), если созвучиями насыщена вся строка. Это, должно быть, далеко не новый, но, можно сказать, лично выстраданный вывод я солидно и научно называл «законом рифмоидной компенсации». Не так давно одаренный русский поэт из Бурятии Амарсана Улзытуев показал мне свои стихи, в которых одновременно проведены два вида рифмовки: в каждой строфе сосуществуют и привычная для нас конечная рифма европейского образца, и начальная, обычно возникавшая в стихах монгольских и тюркских сказителей и акынов. И я вспомнил эксперименты своей юности. У меня была целая поэма, написанная в этом роде. Но я не притязая на первородство, отдавая его милому Амарсане. И потому, что время по-

добных экспериментов для меня давно кончилось и, главное, потому, что та поэма была, увы, неудачной.

Должен сообщить, что глубоко презираю палиндромоны, фигурные стихи и другие искусные, забавные, но утомительные и в общем ненужные душе ухищрения. Видите ли, «О, если б в бунте против правил Ты рифмам совести прибавил!».

Я был самоучкой. Между тем в пору становления крайне желателен постоянный контакт с живым заинтересованным собеседником, с действующим старшим мастером. Это в моей жизни случилось, но позже. Когда-то Вячеслав Иванов писал, обращаясь к тени Случевского: «В те дни, скиталец одинокий, Я за тобой следил издалика... Как дорог был бы мне твой выбор быстроокий И похвала твоя сладка!» Я счастлив, что успел встретиться со старым акмеистом Михаилом Зенкевичем в последние годы его жизни, что прикоснулся к его руке и получил его благословение. Этого русского Леконта де Лиля, умевшего вносить в жесткий, свирепый и сильный классический стих небывалое дотоле и глубоко жизненное содержание, я считаю своим учителем, оказавшим на мою поэзию формообразующее влияние. Воздействие других встреченных поэтов, с которыми я сдружился не из корыстных видов, а по душевной привязанности, я называл бы обтачивающим, шлифующим. Это в первую очередь относится к Арсению Тарковскому и Александру Межирову. Я бесконечно, несказанно благодарен названным. Наставники, мудрые, не подавляющие, не подминающие, а помогающие найти себя, нужны, и их выбор многое определяет. Особенно в самом начале пути.

Вместе с тем всегда дороги драгоценные «зачочные» уроки Державина и Лермонтова, Некрасова и Фета, Кузмина и Хлебникова, Пастернака и Мандельштама, Ахматовой и Заболоцкого. Я никогда их не видел, не слышал их голосов. Но разве я не говорю с ними каждый день уже много лет? «Но из безмолвного общенья Жильца земли с жильцом могил Не раз шли первые движенья Неудержимо мощных сил» (Константин Случевский).

Розанов сказал, что о других говорим со вкусом, а о себе — с аппетитом. Сейчас краткость жанра принуждает меня чуть умерить аппетит и сказать то, что считаю в конце концов главным...

К сожалению, частый случай в судьбе даровитых поэтов — первоначальный успех, а затем полная исчерпанность и опустошение или долгое дробление, самоповторение и наконец губительное подражание себе самому молодому. Поэту,

художнику нужно меняться. И желательно — всю жизнь. Нужно не бояться прожить совсем иную жизнь и уметь начинать новое стихотворение с ощущением, что оно и первое, и последнее. Межиров, ознакомившись с моими юношескими стихами и найдя их удавшимися, произнес нечто устрашающее: «А теперь вы должны разрушить все, чего достигли, и из обломков построить нечто новое!» С годами я понял, что он был жесток, но прав. И верно говорил и о редкости, и о важности «второй удачи», окончательно закрепляющей результат первой. Нас пьянят и радуют воспоминания об удачах юных дней, и все же большое счастье — дожить до того, что вдруг покажется поздней удачей...

Муза не прощает неполной самоотдачи, ослабления, отвлечения от себя, пренебрежения к ней. И мстит отлучением, годами бесплодия, долгим молчанием поэта. Но если он ее не совсем забыл и еще ждет ее прихода, то и в этом безрадостном положении незримый труд про-

должается, идет сосредоточение, накопление сил. Не забудем миг трусости, однажды пережитый великим Боратынским: «Люблю я вас, богини пенья! Но ваш чарующий наход, Сей сладкий трепет вдохновенья, — Предтечей жизненных невзгод. Любовь камен с враждой Фортуны — Одно. Молчу. Боюсь я, Чтоб персты, падшие на струны, Не пробудили вновь перуны, В которых спит судьба моя. И отрываюсь, полный муки, От музы ласковой ко мне, И говорю: до завтра, звуки, Пусть день угаснет в тишине». Нет, может статься, никакого завтра не будет. Конечно, поэт-провидец верно угадал прямую и роковую связь вдохновения с житейскими неприятностями и бедами. Но в этих бедах именно поэзия становится опорой, иногда единственной. В жизни, которая все же не может состоять из сплошных невзгод — иначе творчество немислимо и невозможно, — случается и так, что бывает совсем плохо, темно и не видно утешения ниоткуда. Как вдруг спохватываешься: «Да, но у меня еще есть это!..»

Михаил Синельников

### ДЕРЕВНЯ

Выплывают из памяти утлой  
Эти запахи и голоса,  
Деревенская скудная утварь,  
Деревянная ложка, коса.

Дятла вдумчивый стук, лесосека,  
Глухота захолустья, куда  
Возвращаешься через полвека,  
Оставляя свои города.

Все с годами становится проще,  
И, прощаясь, осталось тебе  
Вновь пройти по березовой роще  
К материнской осевшей избе.

Постоять у замшелого сруба,  
Ненадолго в душе оживив  
Терпкость яблок, щемящую грубо,  
И раздумье склонившихся нив.

## НОВЕЛЛА

М. Л. Ч.

Пришли, спалили Тинторетто.  
В тот год в отчаянном дыму  
Библиотеки жгли все лето,  
Им книги были ни к чему.

Рояль рубили топорами,  
Все той же злобою горя;  
В пустом, открытом настежь храме  
Носились листья октября.

Губили птичий двор у пруда,  
Была вода красна, тепла,  
И эта девочка оттуда  
В крови по щиколотку шла...

Как барский говор офранцужен!  
Но проступают сквозь туман  
То с Буниным прощальный ужин,  
То с нежным Зайцевым роман.

И снова — родина и — проза  
Необоримого песка,  
Голодностепского совхоза,  
Верблюды, дети, облака...

И вот прошли и хмель кровавый,  
И эмигрантская печаль,  
И жизнь с утратами, с державой...  
Но бедных уток вечно жаль.

## ПАМЯТИ МАРТЫНОВА

Так много лет для этой магистрали  
От сопки к сопке, от моста к мосту  
Все корчевали, гатили, взрывали  
И жгли костры, вгрызаясь в мерзлоту.

Чтобы по рельсам, сизым от натуги,  
Прошли теплушки и товарняки,  
Чтобы тифозный в застигийской вьюге  
Летел на штурм, рассудку вопреки.

То эшелона долгий отголосок,  
То стонущий столыпин в свой черед,  
Где арестанты слизывали с досок,  
Томясь от жажды, очерствелый лед.

Что не увидишь в предрассветной сони!..  
 Давным-давно на Вострякове спит  
 Весенним днем родившийся в вагоне  
 Путьца сын, суровый Леонид.

Мне без него сегодня одиноко,  
 Он далеко — попробуй, нагони  
 Электровоза мчащееся око,  
 В немую тьму бегущие огни!

### СЕРЕБРЯКОВОЙ

Перед картиной знаменитой  
 Слова становятся древней.  
 Прекрасны перси и ланиты  
 Старинной прелести твоей.

Густые пряди стиснув туго,  
 Заколки спешно теребя,  
 Всю теплоту и зелень луга  
 Ты возлюбила, как себя.

И на краю российской нивы  
 Не зря, французенка, возник  
 Твой целомудренно-смешливый  
 И на прощанье свежий лик.

И стойки в памяти непрочной  
 Босые ноги смуглых баб,  
 И жгут витой струи молочной  
 В паденье вечном не ослаб.

### СУКОННЫЕ ШЛЕМЫ

В алых звездах суконные шлемы,  
 Сшили вас при последнем царе...  
 Вы явились и вышли из темы  
 На такой же багряной заре.

Но царям вы уже не приснитесь,  
 Ибо принял былинный багрец  
 Не славянский изысканный витязь —  
 Мирового пожара боец.

И дорога к морям и Карпатам.  
 К солнцу правды, к утратам друзей,  
 К иисусам сурово-распятым  
 Не в цейхгауз вела, а в музей.



Эти шапки в прожогах, в прострелах,  
В темных пятнах кровавой струи...  
Столько скошено пулями белых!  
Остальных дострелили свои.

Оператор, заданием гордый,  
Снял, как рвутся и жаждут реки  
Разъяренные конские морды,  
Воспаленные веком полки,

Как сквозь армии, замки, обозы,  
Растекаясь по нищей стране,  
К смутным призракам Карла и Розы  
Мчитесь вы в орудийном огне.

### СТАРЫЕ ВЕЩИ

Запах ношенной шубы, облезлых пальто,  
Потемневшая ширма, трюмо.  
Отраженное зеркалом это и то  
За себя говорило само.

Обветшалые книги. И Диккенс, и Свифт,  
Где сухие забылись цветы.  
Строки Шиллера, Гейне. Готический шрифт  
И кочующий привкус тоски.

Шуберт, Корсаков — скопище листанных нот,  
Зонтик, виды выдавший, — в пыли.  
Знал я все ее вещи и дряхлый комод,  
Где казенные справки легли.

Все, должно быть, давно отпылало в огне  
И разодрано на лоскуты.  
Чай мы пили, бывало... Завещаны мне  
Подстаканники из Воркуты.

### СЕКРЕТАРШИ

Женщин, скорбно и зло курящих,  
Пожилых, далеко не дур,  
Устремленные на входящих  
Тайнознание и прищур.

Секретарши и машинистки...  
Охватив в глубине эпох  
Быт удушливо-большевистский,  
Жизнь прошла, как единый вздох.

Вот и вывелась их порода,  
 Да и тех учреждений нет,  
 Где часами толклись у входа  
 В утверждающий кабинет.

Но и в офисных, скороспелых  
 Прародительницы в раю.  
 В тесных стиснутое пределах  
 Вновь томление узнаю.

Эта женственность у преддверий,  
 Сокровенная тайна в ней  
 Долговечней земных империй  
 И мужской суеты сильней.

### СОМНАМБУЛЫ

Когда в ночных заливах и затонах  
 Плывет и тонет полная луна,  
 Мне чудятся сомнамбул хоры сонных,  
 Душа небесным холодом полна.

Жизнь в них стоит, как влага во флаконах...  
 Вот по карнизу шествует одна  
 И знать не хочет о земных законах,  
 И — в сон идет, не прерывая сна.

И сладостно под легким блеском лунным  
 К неведомым селеновым лагунам  
 Брести за наважденьем в поводу,

И пробужденье — горькая утрата...  
 Не так ли я во сне ходил когда-то?  
 И, может быть, еще сейчас иду.

### ПЕЧАЛЬ

Моя печаль смеялась то и дело,  
 То среди женщин, то в большом кругу,  
 И отдохнуть, стать радостью хотела...  
 Но разве с ней расстаться я могу?

И в миг восторга, как на летнем зное,  
 Лишь ненадолго забывался я.  
 Касаясь вдруг, смывала все земное  
 Небытия студеной струя.

Не обойтись, не выжить без печали.  
Еще, быть может, колыбель мою  
Ее валы незримые качали,  
Ее напев и в старости пою.

\* \* \*

Любовью легкой и нетленной  
Ты в беге лет осенена,  
Ни увяданьем, ни изменой  
Не отягчается она.

Совместной жизни злая ноша  
Нас не пригнула до земли,  
И ветер, волосы ероша,  
Колышет в море корабли.

Они плывут к тебе с востока,  
И путеводная звезда  
Мерцает в небе так далеко  
И потому со мной всегда.

### Ярославль

Белые кораблики,  
Осетры, голавли,  
Наливные яблоки  
В славном Ярославле.

Где еще, бывалоча,  
В золотые годы  
Алексей Михалыча  
Были огороды.

Погуляет девица  
Во лугах зеленых,  
Синий шелк расстелется  
В голубых затоках...

Эй, сарынь кабацкая  
С порванной жилой,  
Что за жизнь бурлацкая  
Над рекою милой!

Смотрит чернь-орясина,  
Как в закатном круге  
Атамана Разина  
Розовеют струги.

Чай, уйдут сокровища  
 С возом прибауток  
 От Ерша Ершовича  
 В санный первопуток.

### Архоти

Пьющие в мертвой дремоте  
 Ночи густой темноту,  
 Древние сакли Архоти,  
 Вещие травы в цвету.

Отпировали хевсуры  
 И погасили огни...  
 Грубых утесов фигуры  
 Бражникам грузным сродни.

Горные духи с похмелья  
 Бродят, не ведая сна,  
 И половину ущелья  
 Заполонила луна.

Здравствуй, нагая Диана!  
 Выхвачен властно из туч,  
 Словно стрела из колчана,  
 Тонкий, стремительный луч.

Золотом бледным и томным  
 Тускло горят светляки,  
 Плеском прохладно-бездомным  
 Веет от горной реки.

Этот языческий гомон  
 Годы не может истечь,  
 Все подступает кругом он,  
 Переливается в речь.

### Юрта

Видел я, как юрту ставят,  
 Как развьюченный верблюд  
 Степь родную воплем славит,  
 Как является уют.

В сиротливом и суровом  
 Бытии степного сна  
 Люди собраны под кровом,  
 Вот и утварь внесена.



И зимою здесь не зябко  
И прохладно в летний зной,  
Повертелась и прабабка  
В этой зыбке подвесной.

И уже вызывают струны  
Старой дедовской домбры,  
Как барханы и буруны,  
Смены стужи и жары.

Человечий век недолог,  
Долговечней войлок твой...  
Я вдыхал, держась за полог,  
Воздух воли кочевой.

Солнце падало далеко  
В полыхавший окоем,  
И, куда ни глянет око, —  
Степи залиты огнем...

И возник в душе зальделой  
На волнах разрыв-травы  
Легкий образ юрты белой  
Средь прощальной синевы.

### ДИРИЖЕР

Калмыцкий чай и водка, и Вивальди...  
С горячей вьюгой мчащихся времен,  
И в скрипаче изверившись, и в альте,  
На улицу он вышел, опьянен.

Еще дыша оркестра перекличкой  
И партитуру мысленно деля,  
Он по пятам за молодой калмычкой  
Пошел от астраханского кремля.

Жара спадала, появились тени...  
Но тут красотка, вынырнув из рук,  
Взошла на воздух с лестничной ступени  
И старой ведьмой оказалась вдруг.

Движением одним неуследимым,  
Еще зрачком улыбочиво кося,  
Она взвилась внезапно черным дымом  
И в зыбкий сумрак превратилась вся.

Чтоб жизнь спустя в капелле Ватикана  
Под гул органной медленной игры,  
Закрыв глаза, он вспомнил бездыханно  
Калмыцкой степи маки и шатры.

### Орда

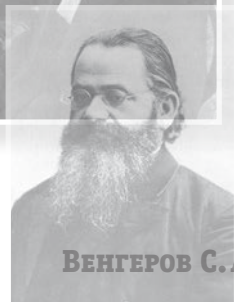
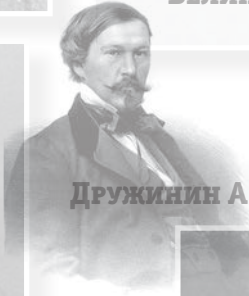
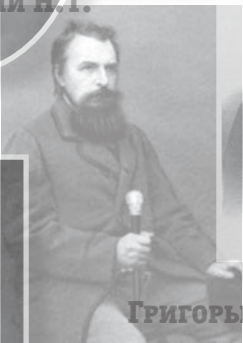
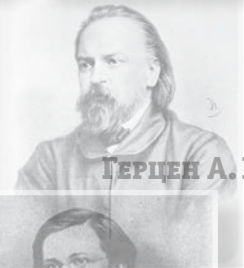
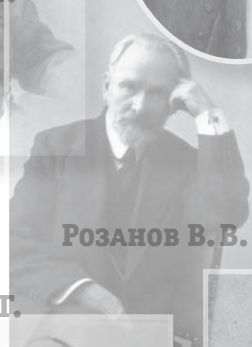
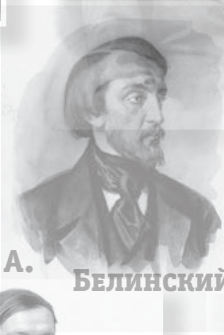
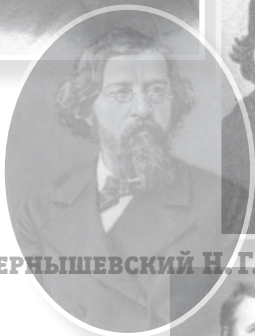
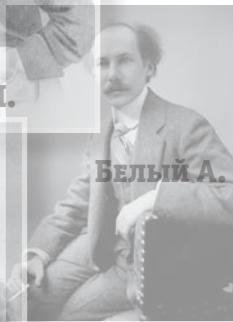
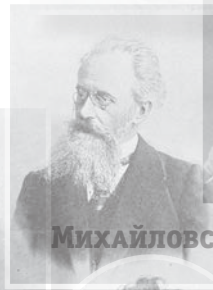
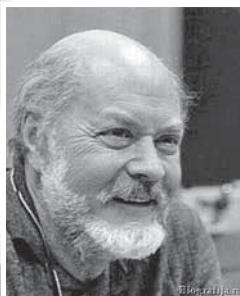
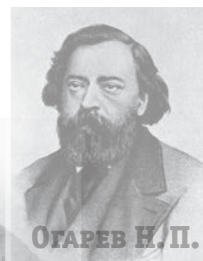
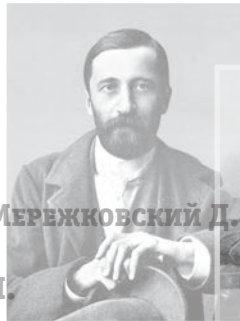
На Большой и на Малой Ордынке,  
На Полянке, но больше нигде,  
Под асфальтом, в глубоком суглинке  
Скрыта повесть о старой Орде.

Обозначен деньгой и подковой,  
Захоронен в глубинах молвы  
Этот путь роковой, трехвековой  
За серебряной данью Москвы.

Где ордынских послов малахаи  
И ногайских коней чепраки?  
Но встают купола, полыхая  
Над теченьем московской реки.

И тверда, как монгольское слово,  
Ты, моя Золотая Орда,  
Ты себя истребляешь сурово  
И не веришь слезам никогда!

# Страницы Льва Аннинского





Продолжение. Начало в № 1–12 за 2013 год,  
в № 1–12 за 2014 год, в № 1 за 2015 год

## БРОДСКИЙ ПРИБОЙ. «МИМО БОЛЬШИХ БАЗАРОВ...»

**В**се, что я думаю о поэте Бродском, я изложил в статьях о нем; статьи опубликованы в периодике и в моих книгах.

То, что я готов договорить о Бродском, — человеческие нюансы, детали литературного быта.

Литературный быт начала 60-х годов был такой, что всё поражавшее переписывалось вручную и шло по рукам при полной немыслимости скорой публикации.

Меня поразили «Пилигримы». Сначала как песня, исполненная Визбором, потом как текст. Фамилия автора проникла в сознание вместе с текстом, который я немедленно переписал. И с этого момента начал искать и переписывать всё, что ходило тогда по рукам за подписью «Иосиф Бродский». «Холмы», «Шествие», «Ночной полет», «Скрип телег», «Прощальные стансы страны и погоста»...

Но «Пилигримы», «Пилигримы»! Надежда светилась сквозь ристалища и капища прекрасной эпохи, истина двигалась мимо храмов и баров, ускользая от лжи больших базаров... Рассветы

рождались из мглы закатов. Солдаты и поэты готовились к своей судьбе...

Вскоре Бродский, приехав в Москву, появился в редакции журнала «Знамя» (где я работал). Меня поразил его облик. Никакой поэтической растрепанности — крепкий рыжий парень, такой хорошо смотрится в компании сверстников на уличном перекрестке...

Нас познакомили. Я не удержался и сказал, что у меня переписаны его стихи.

Расстались добрыми знакомыми.

И тут в Ленинграде разразился чудовищный по фартовости процесс над Бродским как над... ту-неядцем!

Замаячил срок?

«Какую биографию делают нашему рыжему!» — пошелестело ахматовское по литературным углам. Но не утешило: это ж с какой заоблачной высоты надо созерцать наши мерзости... А он-то как выйдет из этой переделки?

Мы ждали развязки.

Продолжение следует.





## ШУКШИНСКИЙ ОКЛИК

**О**громные подсолнухи на полотне из глубины пространства окликают героев, удостоверяя, что дело происходит не где-нибудь, а в Сростках — на Алтае. Окликает их и Катунь-река, изумительно панорамированная там же, в глубине сцены. И выразительные фотопортреты жителей, односельчан Шукшина, в неременном соседстве с его портретом.

Почему надо окликать?

Потому что действие в спектакле «Рассказы Шукшина» исторгнуто из алтайской глубинки и вынесено на просцениум, по которому тянется длинная скамья, и на ней, как на цирковом помосте, актеры разыгрывают сюжеты десятка шукшинских рассказов, давно вошедших в народную память. Разыгрывают — виртуозно, с понтом. Состав настолько ровен, что не хочу никого выделять... Впрочем, напомним, что Чулпан Хаматова и Евгений Миронов отмечены за свои роли премией «Хрустальная Турандот». Но суть для меня в том, откуда взялся такой просвет между алтайской глубинкой и сюжетами, выпрыгнувшими к нам на доску.

Так ведь парадокс засветился уже тогда, когда неимоверно русского Шукшина взялся ставить Театр Наций. И режиссер не поддался на патентованную русскость, а вытащил героев из зипунов и валенок, поближе к нам: пусть пляшут и бузят! Пусть сцепляют лубок с понтом! Не знаю, сколько в этом режиссерском решении Алвиса Херманиса литовской театральной специфики, но нашей родимой дури — через край. Всеобщей дури! Всечеловеческой, бескрайней! Святой! В самый патетический момент человек выворачивает свою боль в шутовство, а посреди шутоломной эскапды вдруг замирает от боли бытия. И спасаясь от боли, самозабвенно куролесит чудик в современном прикиде на выносной доске... а Шукшин все окликает и окликает его из золота подсолнухов, чтобы родной не потерял себя:

— Все не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания...

И мы смеемся, не расставаясь с нашим прошлым. Весело и горько. В теперешнем прикольном переплясе-передуре-переамуре с нами — неподкупный, неувядающий Шукшин.



Елена САЗАНОВИЧ

Елена Сазанович — писатель, драматург, сценарист, член Союза писателей России, член Высшего творческого совета Московской городской организации Союза писателей России, главный редактор международного аналитического журнала «Геополитика».

Лауреат литературных премий: журнала «Юность» имени Бориса Полевого; имени Михаила Ломоносова; имени Н. В. Гоголя в конкурсе Московской городской организации Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков «Лучшая книга 2008—2010 годов»; Союза писателей России «Светить всегда» имени В. В. Маяковского; международного литературного журнала TRAFIKA (Прага — Нью-Йорк).

Наряду с другими известными писателями и деятелями культуры в 2006 и 2007 годах была представлена в альбоме-ежегоднике «Женщины Москвы».



«Юность» продолжает развивать новую рубрику — «100 книг, которые потрясли мир». Не только потому, что продолжаются споры вокруг предложения Владимира Путина о списке 100 книг, которые должен прочитать каждый выпускник школы. Не только потому, чтобы выявить свои вкусы или чье-то безвкусие. И не потому, что в мире существует всего 100 книг, которые почитать еще как стоит. Конечно, их гораздо, гораздо больше. Но на эту сотню книг обратить внимание стоит — чтобы отблагодарить и время, и планету, которые породили великих писателей.

Уважаемые читатели! Редакция предлагает всем вместе составить список 100 книг, которые потрясли мир и которые необходимо прочитать каждому выпускнику. Ждем ваших писем! Всем спасибо за первые отклики!

## АНТУАН ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» И БОЛЬШАЯ ПЛАНЕТА

«У каждого человека свои звезды. Одним — тем, кто странствует, — они указывают путь. Для других это просто маленькие огоньки. Для ученых — они как задача, которую надо решить. Для моего дельца — они золото. Но для всех этих людей звезды немые. А у тебя будут совсем особенные звезды...» Он был прав, Маленький принц. У гениального Сент-Экзюпери была особенная звезда. Особенная жизнь. И особенная смерть.

В этом году исполняется 115 лет со дня начала его жизни. Которой он не боялся. Потому что сумел разгадать. В прошлом году исполнилось 70 лет со дня его смерти. Которой он не боялся. Потому что сумел решить все ее загадки. Нам только остается их разгадать. Стоит только по-другому посмотреть на звезды...

Антуан де Сент-Экзюпери. Мечтатель и философ. Летчик и политик. Впрочем, еще в детстве он писал прекрасные стихи, замечательно рисовал и играл на скрипке. С тем же успехом он мог стать инженером, изобретателем, архитектором. Но в 12 лет ему посчастливилось впервые полететь. С собою в полет его взял известный французский авиатор Жюль Ведрин<sup>1</sup>. Возможно, именно тогда он по-иному посмотрел на небо. И позднее между небом и землей он выбрал небо. И птиц. И самолеты, которые все же похожи на птиц. Но чем больше он любил небо, тем больше страдал за Землю. На которой поселилось столько боли, что ни одна планета, пожа-

<sup>1</sup> Согласно другим источникам, машиной управлял знаменитый летчик Габриэль Вроблевски.

луй, эту боль не сумела бы вынести. Его называли Человеком Земли. «Мы все люди одной планеты, пассажиры одного корабля...» Сент-Экзюпери прекрасно понимал, если наш общий корабль пойдет ко дну — все пассажиры утонут. И у нашей планеты есть выбор: либо всем вместе погибнуть, либо — спастись. Он всегда думал о будущем. Он верил, что мы все вместе можем спастись.

Сент-Экзюпери стал одним из первых летчиков-пионеров. Он жил в эпоху молодости авиации. Еще на несовершенных самолетах он сумел овладеть техникой ночного полета, прокладывал трассы, водил гидросамолет. Его жизнь — приключение, опасность и героизм. Он не раз видел смерть. Не раз спасал жизни своим товарищам. Раз пятнадцать разбивался. Его не однажды коммиссовали. Но он несмотря ни на что вновь летал. Туда, далеко-далеко. Ввысь и ввысь... Потому что обожал небо. Пожалуй, если бы самолеты не были изобретены до него, то он изобрел бы их сам. Возможно, еще и потому, что был неприкаян на нашей планете. И был слишком умен, порядочен, чист для нашей планеты.

В том числе и поэтому он стал писателем. Человек двух профессий. Летчик и писатель... Первая профессия его убила. Вторая сделала вечным.

Летчик. Самолет Сент-Экзюпери упал в Средиземное море. А в воде всегда отражается небо. Возможно, именно так он и хотел умереть. Быть похороненным там, где отражается небо... Писатель. Для вечности. Хотя этого, возможно, он и не хотел. Он был слишком скромнен для вечности. Но вечность сама знает, кого выбирать. Даже если творческая биография коротка. Как и жизнь. Как «Ночной полет», который совершает «Южный почтовый». Непременно туда, где «Планета людей». А в ночном небе светит ярче других звезда, на которой живет «Маленький принц»...

Впрочем, иногда кажется, что «Маленький принц» — это произведение, написанное на другой планете. Которая может быть открыта, увы, только после смерти. И все же писатель всем нам (хотя многим это и безразлично) ее открыл при жизни. И всю жизнь нам приходится ее отыскивать... Потому что это — вечная тайна. И даже шарада. Так как написал Сент-Экзюпери, еще никто не написал. Можно написать многотомные произведения, но на главный вопрос человечества так и не ответить. Сент-Экзюпери написал небольшое произведение, где этот ответ был дан.

Что это? Сказка? Притча? Философия? Политика? Философская сказка или политическая притча? Или мираж Сент-Экзюпери? Который он увидел, когда его самолет потерпел крушение в Ливийской



пустыне. Впрочем, что такое мираж? Оптическое явление? Сон? Бред человека, который мечтает о глотке воды, самой чистой и прозрачной воды со дна колодца? Когда мир так нечист и непрозрачен. Когда все, чего ты ищешь, можно найти «в одной-единственной розе, в глотке воды...». Или все же это реальность? И почему-то верится, что писатель видел этого маленького мальчика. И его шарф, обмотанный вокруг шеи и развевающийся, как крылья. Как шарф, который любил носить сам писатель. Как крылья, благодаря которым он летал. Этот «капитан птиц»...

А Маленький принц задавал все больше вопросов. Не отвечая на них. На них ответил Сент-Экзюпери в своей книге. В том числе и на вопрос, зачем мы пришли на эту Землю. И зачем неизбежно ее покидаем? И образ Маленького принца — это образ ангела или чистой души, которая должна быть. В идеале. В идеале нам этого не постичь, но к этому нужно хотя бы стремиться... Планета Маленького принца тоже самая чистая. Но он знает, как ее привести в порядок. С самого утра. И что будет, если вовремя не вырвать с корнем сорняки. Если вовремя не бороться с баобабам. И не тушить вулканы. Он знает, как сберечь любовь от гусениц и сквозняков. Его планета идеальна. Хотя есть и другие планеты. Одни похуже, другие посмешнее. Там живут и честолюбие, и пьянство, и корысть, и глупость. Но глобальных недостатков там все же нет. Эти планеты вызывают даже сочувствие.

Возможно, таким, по Сент-Экзюпери, и должен быть наш мир? Ведь каждый человек — это отдельная планета. И недостатки вполне могут быть и допустимыми, и исправимыми. Главное — вовремя вырывать их с корнем. Не проспять. Как мы «спали сегодняшнее поколение». И главное, чтобы не было главного зла. Увы, на планете Земля оно было и есть. И это понимал писатель. Может быть, поэтому так рано погиб? Он очень надеялся, что когда-нибудь так не будет. Что мы не проспим... Что бы он сказал сегодня? Антифашист, гуманист и далеко не пацифист? Человек, всю жизнь вырывающий корень зла. «Капитан птиц», всю жизнь борющийся с охотниками. За идеальную планету... За настоящего товарища Лиса. Это его друг, писатель-социалист Леон Верт, которому он и посвятил своего «Принца»... За капризную любовь-Розу. Свою любимую жену, неугомонную фантазерку и музу Консуэло, которую он называл своей Родиной. И которую он так хотел уберечь от ветра и сквозняков, посадив под колпак. И все колпаки она бы непременно разбила вдребезги!.. Еще он боролся за глоток воды из колодца. За смеющиеся звезды. За справедливость. И совесть. И просто за жизнь на планете Земля.

Это произведение по сути должно быть последним. Оно и было одним из последних. Написано за два года до смерти автора. Как откровение. Если бы был такой жанр — откровение... Откровение, написанное в разгар Второй мировой войны. Когда еще неизвестно, когда и чем она закончится...

С самого начала войны писатель, уже немолодой, больной, добивается права сражаться с фашизмом. Дважды добивается. В «Маленьком принце» нет слова «фашизм». Но ведь «зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». И мы на рисунках писателя зачастую видим лишь ящик, а не барашка в нем. И шляпу, а не удава, проглотившего слона. Масштаба всего происходящего многие не хотят видеть и сегодня, как и мыслить масштабно. Видеть опасность, о которой предупреждал Сент-Экзюпери. Если вовремя не приводить планету в порядок, останется лишь шляпа на ящике. Неужели это кому-нибудь нужно? Наверное... Сент-Экзюпери не мог это понять и принять. Как и мы, кто понял и принял Сент-Экзюпери...

Каждый человек — это отдельная планета. И каждый человек, по сути, одинок. Родается в одиночку. И умирает в одиночку. И все же для одного планета — это огромные квадратные метры. Для другого, живущего даже в маленькой избушке, — это целый мир, за который он в ответе. Можно иметь дворец, много золота и много

подданных, много яхт и островов. Можно даже владеть всей Землей. И все равно это не имеет значения. Куда бы ни пошел, в ту точку и вернешься. Сент-Экзюпери как никто понимал, что нужно быть причастным на Земле ко всему. Может быть, тогда не станешь бояться даже смерти.

Смерть в «Маленьком принце» он показал в образе змеи. Она убивает, но она мудра как никто. Мы не знаем, что было до нашего рождения, почему мы должны бояться того, что будет после нашей смерти? Человек вышел ниоткуда и вернется в никуда. Мы все заключаем сделку с Землей. Сент-Экзюпери объяснил, как нужно относиться к смерти. Выполнить свой долг при жизни — и умереть. Это была смелость летчика Сент-Экзюпери. Впрочем, это более всего была смелость писателя Сент-Экзюпери.

Как-то он сказал, что ему грустно за свое поколение. Что в нем мало человеческого. Про поколение, пережившее две мировые войны, голод, безработицу, нищету. «Ведь короли не владеют, а только правят...» Что бы он сказал сегодня? Сегодня он, пожалуй, выразился бы в более жесткой форме. Он ответил бы — кто владеет миром, а кто просто правит. Впрочем, более всего он разочаровался именно в нас. В тех, кто когда-то истинно владел и правил. Когда-то. Возможно, он бы даже не поверил нашей планете. Ведь в 1935 году он посетил Советский Союз. Буквально на второй день после подписания договора между Францией и Россией он улетел в Москву в качестве корреспондента. Он увидел Москву. И увидел планету СССР. И с большой теплотой отозвался о ней в своих очерках. Он вдруг увидел, что в нашей стране каждый живет огромным миром. Что никто не замыкается на своей планетке. Потому что просто существует Вселенная. За которую, кстати, мы тоже в ответе. Ведь писатель всегда говорил: «Я борюсь за высшие идеалы... За Человека с большой буквы».

Если бы сегодня Сент-Экзюпери увидел нашу планету, он бы разочаровался как никогда. И неизбежно бы поднял свой самолет в небо, где все понятнее и справедливее. И его бы самолет неизбежно разбился. И упал в море, в котором отражается небо. И звезды. Где можно отыскать свою звезду. Неповторимую. Где, возможно, и живет Маленький принц. Хотя «никогда ни один взрослый не поймет, как это важно!». Или — уже поймет? Ведь звезды, оказывается, умеют смеяться, как колокольчики. Главное — на них посмотреть по-иному. И услышать их... Так, как видел и слышал звезды неповторимый Сент-Экзюпери. Так, как видели и слышали их еще 99 неповторимых писателей, которые потрясли мир.



Станислав АСЕЕВ

Продолжение. Начало в № 1 за 2015 год

## МЕЛЬХИОРОВЫЙ СЛОН, ИЛИ ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДУМАЛ

РОМАН-АВТОБИОГРАФИЯ

Рисунок Юлии Спасовской

### ГЛАВА 3. НОТТИНГЕМСКИЕ БРОДЯГИ

**М**ои отношения с Богом всегда складывались неоднозначно. Наша семья никогда не была особенно религиозной, но каким-то невероятным образом в вопросе религии я довел себя почти до абсолютного схимничества и едва не вступил в монастырь.

Первый близкий религиозный опыт я получил еще в раннем детстве в связи с событием, после которого я буквально стал говорить с Богом и — вы будете удивлены — даже слышал ответ.

Случилось это в один из летних дней, когда мы с моим приятелем отправились на местное поле, которое раскинулось невдалеке от наших домов. Если вы жили в наших краях — что, скорее всего, не так, — то вам, должно быть, наверняка известно, что в конце XX века в восточных частях Украины дети проводили свое свободное время, шатаясь по местным помойкам, где искали остатки сожженных цветных металлов и пивные бутылки, а затем обменивали все это на несколько гривен, которые лично я ни на что не тратил и складывал в старый зашитый носок. Впрочем, вполне возможно, что этот способ приятного времяпрепровождения вовсе и не исключителен, и чумадые малыши лондонских окраин или афинских трущоб

занимались тем же самым, — судить я не берусь, уж простите меня за такую тактичность. Лично я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы человек как следует покопался в какой-нибудь свалке, пускай и без особых на то причин. Иногда мне даже представляется, что нечто подобное записано и в нашей Конституции. Но дело не в этом. А в том, что поле было единственным уголком живой природы среди серых панельных домов и заброшенных фабрик с разбитыми бетонными плитами, а потому буквально манило какой-то необъяснимой чистотой и жизненной силой, отчего мы и любили проводить свое время на его просторах.

Однако если сущность вещей определять их назначением, то «поле» — слишком громкое название для того, что находилось за дорогой. Это не была залитая солнцем рожь в человеческий рост, мирно колосющаяся под полуденным небом. На уже давно заброшенной земле кое-где рос бурьян, уступая остальное место старой сухой траве. Несколько протоптанных дорожек вели к высаженной опустевшей посадке, по левую сторону от которой были проложены железнодорожные пути к местной шахте, где в будущем я буду частенько упражняться в беге ради своей воздушной



мечты. В общем, вполне привычный ландшафт для здешней земли, сочетавшей в себе душный летний день с расплавленным воздухом, вибрирующим от раскаленных путей.

Впрочем, в подобных местах все же была одна особенность, которую я до сих пор с удивлением нахожу для себя, гуляя родными просторами в вечернее время, — тишина. Но это вовсе не ночное безмолвие земли, которое можно обнаружить в действительно живописных местах нашей страны. Нет, совсем наоборот: еще с детства мне помнится странное затишье тех мест, где прямо посреди жаркого дня должна была бы литься сама жизнь. Дневное молчание в тридцатиградусную жару среди камней и щебня создавало совершенно особое ощущение, которое я бы сравнил с кислотным привкусом металла во рту, одновременно странным и неприятным. Но в тот день мне предстояло почувствовать куда более печальные эмоции, затмившие собой эту мертвую дневную тишь.

Вы, мой смелый читатель, наверняка уже привыкли ко всякого рода метафорам и эпитетам, и вашу бывалую душу уже не встряхнуть пестротой образов неба и цветущей земли, а потому я скажу просто — поле мы подожгли. Зачем? Как? Мы были детьми. И как каждому ребенку, огонь представлялся нам чем-то священным, необъяснимо манящим к себе блеском познания и гулом пылающих в ветре цветов. Да и потом, разве вам никогда не приходилось любоваться дрожащим пламенем костра, в котором медленно потрескивают сосновые ветви, испуская клубы молочного дыма? Если так, то уж потрудитесь представить себе спокойный огонь, словно тихий вечер, поедающий на своем пути одну за одной каждую соломинку, каждую ветку на жаркой земле и превращающий через мгновение все это в груды серого пепла, рассеиваемого малейшим ветерком. Уже одно лицезрение этой картины приводило меня в состояние гипноза и какого-то мирного сна, и я мог часами смотреть на тление старой травы.

На поле травы было не так уж и много, так что забавляться мы рассчитывали не более чем четверть часа, после чего собирались благополучно отправиться домой.

Но все случилось иначе. Дойдя до середины поля, мой приятель заметил своего отца, который ходил одной из тропинок на местную шахту. Мы залегли в еще не сожженной траве в надежде остаться незамеченными. О! Почему мы не попались ему на глаза, ведь тогда бы нас ждала лишь легкая трепка вместо получасового кошмара! Но отец моего друга благополучно прошел мимо, и мы, слегка отряхнувшись, решили про-

должить свой путь, как вдруг по правую сторону на железнодорожных путях заметили бегущих к нам оборванцев. Это были трое плохо одетых, замызганных беспризорников, которые выжили из небольшого леска с толстыми палками в руках. В мгновение окружив нас, самый высокий из них, походивший на Малыша Джона с дубиной из Ноттингема, приказал нам вывернуть карманы, пытаясь отыскать спичечный коробок, который я благополучно заранее бросил в костер. Когда же я попытался узнать, чего же, собственно, хотят эти господа, то получил невнятный ответ, что будто бы в местном детском доме, который действительно располагался неподалеку, всем троим постоянно влетает за то, что пожары перебрасываются на соседние дачные участки. Должен вас уверить, что это невозможно. Пожухлая трава была столь редкой и низкой, а рельсы, за которыми располагались дачи, вздымались на пять футов выше самого поля, будучи посыпанными густым слоем щебня и камней, — так что для хорошего пожара потребовалось бы облить всю местность целой цистерной бензина, но и тогда не было бы никакой гарантии на успех.

Но все это не имело значения. Помню, как в тот момент я подумал о том, что, видимо, сама судьба заставила нас с приятелем прильнуть тогда к холодной земле и не попасться на глаза его отцу. «Какое же совпадение, должно быть, — подумал я, — что он пошел именно этой дорогой, именно в этот день, тогда как случайность могла завести его в любое из возможных мест на этой земле». Сам Фатум открывал перед нами свои тайны — и я уже готов был в это поверить, как тут меня со всего размаха огрели деревянной дубиной по плечу, после чего судьба уже не казалась столь незыблемой, уступая место бессмысленной жестокости случая. Происходившее далее я помню как кошмарный сон — яркими вспышками сознания, сменяющимися туманными провалами. Нас быстро повалили наземь и стали со всей силы избивать ногами и палками, нанося удары практически по всем частям тела. Страх был такой, что я не сделал ни единой попытки защититься от обрушивающихся на меня кулаков, словно так до конца и не веря в то, что меня в принципе кто-то способен колотить ногой. Я помню это сдавливающее чувство ужаса: я впервые столкнулся с настоящей жестокостью и первобытной силой, гулявшей, словно ураган, в зрачках этих бродяг, готовых растерзать любого, кто не входит в их стаю.

Завалившись на землю, я лишь пытался прикрывать руками голову и глаза, несмотря на то, что боль и детская обида становились все нестер-

пимее. Нас остановили на середине поля, но уже через некоторое время, словно футбольный мяч, докатили до его окраины, и тут вдруг моему другу удалось вырваться из этой мясорубки, и, ловко махнув через проезжую часть, он оказался на территории нашего района, куда погнавшиеся за ним бродяги не решились зайти. Но меня по-прежнему прижимали палкой к земле. Угрозами и проклятьями беспризорники заставили моего приятеля вернуться обратно, сказав, что просто закопают меня здесь, если он этого не сделает. И он вернулся, после чего основная часть внимания перешла на него. Нам вlepили еще несколько ударов по различным частям тела и наконец отпустили домой.

Несмотря на весь ужас испытанного, помню, что обратная дорога изобиловала шутками и остротами, которые мы отпускали в адрес друг друга, смеясь над моей опухшей губой и синяками на ребрах. Дома же я сказал матери, будто упал на железный люк, причем прямо глазом, после этого полностью заплывшим от гематомы, на что — к моему глубокому удивлению — мать даже слегка улыбнулась и молча обработала кремом мое лицо, что было совсем не свойственно ее истеричной натуре. Конечно, она все поняла, но масштаб произошедшего все же был ей не до конца ясен, ибо лиловые синяки, окутывавшие мою грудь, икры и ребра, я тщательно скрывал от нее, переодеваясь лишь за закрытой дверью.

Трудно теперь сказать, как долго нас били: сейчас я склонен думать, что все это продолжалось около получаса. Впрочем, время в такие моменты из маленькой плотной точки разворачивается в целый горизонт, заставляющий нас смотреть на жизнь в ее замедленном очарованном темпе. Да, именно так: несмотря на то, что каждую секунду на мое тело обрушивались удары неровных дубин, а глаз почти заплыл от крови и слез, я все же чувствовал в глубине души, что заслуживаю каждого удара, и теперь все еще переживаю те ужасные ощущения с некой долей услады на языке. Понимая, что в любой момент каждого из нас могут превратить в безжизненный кусок мяса, не имея ровным счетом никакого оправдания этому и не страшась ничего — ни высшего суда, ни преходящих земных оснований, — я ощущаю сладкую дрожь, и поныне пронизывающую раскатами абсурда все мое существо.

Не скажу, что после этого случая я начисто перестал чувствовать страх, но что-то внутри меня, несомненно, сломалось: я полностью прекратил дорожить своей жизнью, и если бы мне предложили опуститься на дно Марианской впадины с одним лишь аквалангом или впервые полететь на

Марс, я бы и раздумывать не стал о целесообразности подобных предложений, не видя более никакой разницы между ними и поездкой на шопинг в Милан.

Впрочем, из страхов, которые я бы мог выделить у себя совершенно однозначно, была лишь клаустрофобия, причем проявившаяся относительно недавно: я вдруг стал замечать за собой учащенное сердцебиение и пока еще умеренную панику в закрытых комнатах или чересчур узких помещениях — и это при том, что всю свою жизнь я сплю с наглухо закрытой дверью, — а также боязнь белых облаков, движущихся на фоне яркого голубого неба, — явление, вызывавшее во мне с самого детства не столько страх, сколько крайне неприятные и тревожные ощущения, тогда как грозное небо и ветряная погода, в особенности буря, всегда приводили меня в восторг и какое-то особое умиротворение. Вот, пожалуй, и все. Да и эти отклонения пока что полностью лежат в моей власти и не завладели мною настолько, чтобы я выходил из дома лишь в град, держась широких проспектов и просторных площадей.

Но вернемся к кровавому дню. Кое-как отойдя от первого шока, к ночи я ощутил невероятный прилив обиды и слез, подступивших огромным комком к горлу. Лежа в своей мягкой постели, даже летом заботливо укутанный матерью в теплое одеяло, я не понимал, как может безграничная любовь и опека моих родных сосуществовать с тем фактом, что мое лицо еще пару часов назад безжалостно вбивали ботинком в сухую траву. Разве я не был «любимой унучечкой», чьи белоснежные кудри расчесывала целая очередь из желающих полюбоваться чудом во плоти? И тут такая жестокость, такая нелепая бойня, от которой у меня просто раскалывалась на части голова! Как, Господи, ты мог допустить такое? За что, за что ты позволил этим голодранцам выплясывать на моих костях, даже не удосужившись поразить их дыханием огня?! Неужели так ты отплатил мне за мои жаркие молитвы, в которых я ни разу ничего не просил для себя?

В общем, всю ночь напролет я упражнялся в различного рода метафорах, обращенных к Создателю нашей вселенной и подкрепленных всхлипыванием из-под толстого одеяла. Но из всего этого вы могли бы заключить для себя две вещи. Во-первых, я был вовсе не лишен поэтичности в делах взывания из глубин собственной души, ибо еще в раннем детстве по какой-то необъяснимой для себя причине добровольно прочел всю Библию, от первой до последней строчки, намеренно не пропуская даже тех частей, где на целых

страницах нельзя было обнаружить ничего, кроме монотонного перечисления имен народа израильского, под звуки труб и кимвалов бредущего по синайским пескам. Именно отсюда в моей голове рождались столь красноречивые образы, которые я отпускал к лику Творца. А во-вторых, это и была моя первая искренняя молитва к Богу, хотя молился я уже давно, но абсолютно наивно, по-детски, перечисляя в уме всех своих родственников, которых только мог вспомнить перед влекущими меня в царство снов протяжными звуками арфа. В заключение этого длинного списка я обычно вставлял нечто вроде «дай им всем здоровья и счастья и сделай так, чтобы никто не болел», после чего со спокойной душой отходил ко сну.

Конечно, не будь я ребенком и не впитай я в свой ум нежность и хрупкость женской души, произошедшее в тот день стало бы для меня банальной дракой, от которой я бы оправился уже на следующие сутки. Но атмосфера сострадания и добровольного вздымания себя на кресте волей-неволей привила мне мысль о том, что протянутая с неба рука — единственное, что может ожидать человека в его трудной жизни, — мысль, которая навсегда растаяла для меня в тот день под жарким сводом небес.

Но драка не прошла для меня бесследно. Начиная с этого момента и по мере того, как возрастал мой литературный талант, я все больше и больше окунался в шумящие волны религии, чувствуя невероятную тщетность и испорченность своего бытия. Сам я смотрю на это так: ощутив полнейшую хрупкость своего существа, я стал поклоняться скале, чья несокрушимость наделяла меня всем тем, что было растеряно мною на жаркой июльской траве. Но для дымящихся лампад недостаточно одного лишь масла, и снежные дымы покаяния целиком клубятся из мысли о черном нутре. А потому не проходило и дня, чтобы я не думал о том, что понапрасну трачу свое время, вне зависимости от того, чем я занимаюсь в своей жизни. В конце концов я все больше стал склоняться к мысли, что должен уйти в монастырь, временно возведя его в стенах собственных комнат. О чем я говорю? Что ж, порой я раздевался догола, зажигал толстую парафиновую свечу и буквально измывался над собой в потоке слез перед вымышленным распятием, сочиняя весьма поэтичные и глубокие для ребенка молитвы:

— Господи, вот я, пред тобой. Прости меня, судия небесный, ибо грешен я, грешен, чего бы ни пожелал. Грешен помыслами и телом. Всецело отдаю себя в руки твои, ибо ты есть суд истинный, а я ничто, песчинка, ветром носимая. Куда дуют

ветры благословения твоего, Господи, оттуда удаляется душа моя. Не заслуживаю даже вздоха твоего, Господи, но призри на раба твоего, истинно простертого пред тобою в наготе своей, ибо ничего не утаю от очей твоих! Ты, несущий птиц на длани своей, тебе ли не знать о грехах моих? Да поразит меня гнев твой, и да сотрешь взглядом своим всякую скверну из души моей, языком истины выжжешь грех из сердца великого грешника, что питает его лицемерием и страхом перед правдою. Я, Господи, каюсь пред лицом твоим, и да будет воля твоя на мне. Аминь.

После подобных молитв, совершаемых, как правило, в абсолютной темноте и в обнаженном виде, а также запомненных мною до запятых, ибо слова в такие минуты буквально рождались сами собой, в одно мгновение составляя целые абзацы, — я еще долго лежал на полу, уткнувшись лбом в ковер и вытянув руки вперед, пока слезы, наконец, не переставали течь естественным образом. Похожие экстатические состояния я испытывал регулярно, тогда как привычка плакать не просто отсутствовала в моем характере в обычных условиях: она всячески презиралась мною как проявление скрытого желания жалости к себе самому, а не просто рефлекса на известные обстоятельства. Слезы всегда были для меня больше социальным, нежели природным явлением, и мое слезливое окружение из непомерно озабоченных идеей сострадания пожилых дам всякий раз доказывало мне это.

Удивительное дело: принципиально не веря в прощение, считая его в корне эгоистичным, а потому лицемерным, помня каждое зло, причиняемое мне людьми, и презирая саму идею сопереживания чужому горю и проблемам, — перед зажженной свечой или в кромешной тьме я становился собственной противоположностью, избивая себя длинными деревянными четками до маленьких лиловых синяков на спине и буквально раздирающего меня изнутри раскаяния. Наверное, сам Господь Бог в такие минуты искренне хохотал надо мной, прибавляя к своему вечному существованию еще несколько часов жизни. Но искренность подобных моментов целиком оправдывала мое двуличие там, за чертой мысленно надетого рубища перед блестящими богатствами этого яркого мира.

Что ж, теперь вам известны самые интимные части моей беглой души, всю свою жизнь мечущейся между адом и раем, намеренно отвергающей любую середину, способную даровать лазурный покой. Но стоит ли об этом сожалеть? Ведь дело художника — открывать неизведанное,

не тая в себе жажду и темных цветов, и если написанная им гроза сияет ярче блестящего солнца — разве она, завораживающая своей темнотой, не достойна похвалы?

#### ГЛАВА 4. ВЕНОК ИЗ ПЛЮЩА

**С**вои первые литературные опыты я должен признать катастрофой. Мне было тринадцать лет — или около того. Помню, в тот осенний день я долго стоял у окна и смотрел на собиравшийся дождь, как вдруг, неожиданно для себя самого, взял листок бумаги и впервые в своей жизни набросал несколько строк, торжественно обозвав их «Стихом из дождя». Но как и всякая пагубная привычка, литература — лишь тонкая грань из белых пятен на карте нашей жизни и мучительной жажды приключений, вызывающей к нам из тайны далеких земель. Одним же словом — начать писать куда легче, чем лишиться чернил, и пусть моя собственная жизнь послужит горьким примером для всех, кто лишь собирается посвятить себя этому неблагоприятному делу: одумайтесь, храбрые души!

Едва я впервые прикоснулся к перу, как провалился в глубокую кроличью нору, где ничто уже не имело значения: я сочинял абсурднейшие стихи, будучи целиком уверенным в том, что я гений, ибо поэтический опыт был для меня столь необычен, что уже одно занятие литературой и поэзией открывало для меня дверь в иную реальность, независимо от ее содержания и причудливых форм. Это всегда было моей чертой: если уж и верить во что-то — то верить до галлюцинаций, а иначе — не верить ни во что. Двери были открыты, но шаг был слишком широк. Позже я попросту сжег свои детские стихи, перестав понимать, о чем же шла речь в этих бездонных лабиринтах бесформенных снов и видений, которые посещали меня по ночам. В целом мое детское творчество было чем-то вроде смеси Шекспира, Есенина и навязчивых галлюцинаций, чьи воздушные волнения я перекладывал на листки бумаги, обрамляя все это пятистопным ямбом. Несмотря на абсолютную бессмыслицу написанного и полное отсутствие какой бы то ни было эстетической значимости, теперь я нередко жалею, что в приступе гнева сжег те старые рукописи, вмещавшие в себя богатейший материал моей нестройной психической жизни. Впрочем, некоторые из стихов я помню до сих пор, и все же это лишь редкие эпизоды из моей первой дилогии, начатой в тринадцать лет и задумывавшейся как грандиозная эпопея, призванная прославлять Юлия Цезаря и его великие сверше-

ния, — тогда как основной ширпотреб навсегда ушел в небытие.

Я ненавидел книги. С самого детства чтение представлялось мне до невозможности нудным и тупым занятием, из-за чего в свои школьные годы я не прочел ни одного тома, избирательно заучивая лишь необходимые для аттестата отрывки и стихотворения. Нелюбовь к пожелтевшим страницам не прошла и в зрелом возрасте, но недостаток элементарных знаний стал давать о себе знать непониманием некоторых фраз и сарказмов, в которых частенько шла речь о героях тех или иных литературных шедевров. Решив заполнить эту мертвую брешь, я нашел для себя, как мне показалось, крайне остроумный выход: каждую книгу я стал читать под определенную музыку, которая, во-первых, доставляла мне привычное эстетическое наслаждение, затмевая скуку от чтения, а во-вторых, наилучшим образом для самого меня характеризовала читаемый шедевр, так что едва я слышал знакомые ноты вне стен дома, как в голове тут же всплывали целые абзацы и образы с прочитанных страниц.

Так, к примеру, «Портрет Дориана Грея» я читал в непременном сопровождении одной и той же мелодии, приглушенно звучащей из колонок, — это была *Je te rends ton amour* Милен Фармер, благодаря которой я буквально чувствовал «пьянящий запах сирени» на кончике своего носа, а «Жизнь идиота» предстала передо мной в причудливых переплетениях вагнеровского «Сна в летнюю ночь».

Так я приобрелся к высокому. Книга стала для меня чем-то вроде кровавой стопы, подтверждавшей право на принадлежность к особому миру — тому самому, что и сейчас позволяет многим из нас гордо задирать подбородок с укоризненным выпадом «это же классика!». Однако в деле создания собственных литературных шедевров я оказался несостоятелен: будучи абсолютно бездарным, я был убежден в своей гениальности, в результате чего с гордостью поместил все свои творения в один сборник, поспешив явить его миру.

Но я не хочу, чтобы вы поняли меня превратно. Уверяю вас, критика, которую я обрушиваю на собственные произведения, — это вовсе не ужимки скорбящего писателя, втайне желающего аплодисментов за свои слезы. Нет. То, что было создано мной в той книге, было абсолютнейшей чепухой, за которую я и теперь иногда плачу неважным сном. При одном воспоминании об этой книге я испытывал ужасные моральные мучения, и если ад и существует, то он наверняка заполнен

подобного рода «шедеврами» и читающими их творцами.

К сожалению, в тот момент рядом со мной не оказалось человека, который бы смог указать мне на поспешность моего решения, тогда как сам я не только не сомневался в качестве написанного, но и мог часами ходить по комнате из стороны в сторону до тех пор, пока нужный монолог не складывался в одну единую картину. Из своего личного опыта могу с уверенностью утверждать, что в такие минуты вы не видите своего собственного творения и лишены всякой возможности оценить написанное, сливаясь с ним в единое целое. Именно это обстоятельство служит объяснением того, что ныне большую часть созданного в такие ночи я с ненавистью уничтожаю по утрам, поражаясь тому, как бездарно я трачу время.

Приловчившись клепать на скорую руку бессмысленные рифмы и высокопарные фразы, я безудержно несся ввысь к своей заоблачной цели — как можно скорее ощутить твердый переплет в своих руках. Тогдашнюю степень моей озабоченности изданием книги вы можете оценить по тому факту, что однажды, в очередной раз произнося молитву «Отче наш», я вдруг с ужасом осознал, что дерзновенно прошу у Бога прихода его царствия, что, в общем-то, означало бы Страшный суд и конец всего сущего. И тут я с еще большим ужасом осознаю, что в этом случае я так и не успеваю окончить свою книгу и явить мое творение миру, ибо все это не будет уже иметь ровным счетом никакого значения и никто так и не узнает о моей гениальности. Доведя молитву до конца, я все же решил для себя в следующий раз произносить слова «да придет Царствие Твое» чуть потише, давая своеобразный намек Господу на то, что это грандиозное событие стоит для меня сразу же после издания книги. Впрочем, как будущий профессионал я знал, что насчет этого отрывка есть разные мнения, и это лишний раз придавало мне уверенности в осуществлении моей мечты.

Но едва меня посетило прозрение относительно собственного литературного таланта, как с горя я едва не забросил это дело — писательство. Среди гигантов слова я вдруг почувствовал себя невзрачной мышью, чье мелкое повизгивание было заметно лишь мне самому. Но семейная театральность и здесь подставила мне костлявую подножку, и свой маленький рост я обратил в высоты собственного эго. С трудом выкарабкавшись из первой литературной ямы, я с успехом нырнул во вторую, обзаведясь уже собственным стилем и перестав подражать русской народной строфе. Едва произведя на свет второй шедевр, я решил

проверить его прочность на заурядном провинциальном конкурсе, на который я отослал свой лучший рассказ, пьесу и огромную поэму в стихах, рассчитывая на скорую победу во всех номинациях. Еще не дождавшись результатов, я уже начал умерщвлять собственную гордыню относительно того, что не стоит, мол, особо обольщаться, ведь это всего лишь рядовое состязание, победа в котором уж точно не вознесет меня до небес.

Шансы были шесть к одному, что для гения было несомненным мошенничеством, напрочь лишавшим других участников даже самой надежды на победу. Мое преимущество было неоспоримым, и сам я ощущал себя Джузеппе Пеано, сделавшим ставку в Национальной лотерее. Но после полнейшего провала в двух номинациях и неполучения ни одного из призовых мест я стал задумываться о том, а должна ли гениальность вообще проявлять себя? Я не решал сложнейших математических задач, не писал картин, не умел виртуозно играть на скрипке, — но ведь я был «любимой унучечкой», которой и не полагалось всего этого: достаточно было лишь одного моего присутствия. Мой провал на рядовом провинциальном конкурсе должен был поставить меня в некое недоумение. Но все оказалось иначе: неценность моего таланта стала перчаткой, которую я грозно швырнул в лицо своим обидчикам. Теперь меня ценили еще больше, и пускай лишь в моих грезах — это было не важно, истинный успех ждал меня впереди.

Но, по правде сказать, и труды я выдавал в этот свет весьма специфические: положив в основу своих пьес идею «пограничных ситуаций», я писал о богаче, потерявшем свою жену и переложившем после ее смерти весь любовный порыв на дерево, под которым они впервые когда-то встретились; героями моих рассказов были аутисты, оторванные от жизни мечтатели, неспособные обрести подлинных оснований для действия в этом мире, а потому метавшиеся от абсолютного равнодушия к одержимости и обратно, мальчик-безумец, всю свою жизнь писавший письма несуществующей маске, фантому, который лишь однажды случайно попался ему на глаза, в конечном итоге в глубокой старости сжегший всю пачку безумных листков, тем самым освободившись от своих иллюзий, — и прочее, прочее, прочее. Я жонглировал буквами, словно Будда тысячей миров: меняя их местами, я собирал их в целые слова, а затем в предложения, в конце концов составляя целые абзацы и книги. Меня поражало, сколь невообразимая бесконечность открывается передо мной, ведь я мог написать что угодно, выразить любую мысль, любую эмоцию через простые малень-



кие буквы, собирая одну вселенскую мозаику из невероятного числа кусочков, разбросанных в холодных подвалах моей хмурой души. Литература никогда не была для меня данностью, серой обыденностью, о которой уже давным-давно все известно. Напротив, открывая романы Достоевского или Дюма, я был поражен, сколь иначе все это могло быть создано, сколь по-другому могла быть написана каждая строка, сложившаяся, однако, именно так, объёмная в себе именно эти буквы, именно эту мысль на целые тысячелетия вперед и напоминая целую жизнь. По сути, все эти строки были для меня музыкой, такой же бесконечной и глубокой, неисчерпаемой в своем стремлении к красоте: создавая все новые и новые пьесы, я словно играл на фортепиано, ударяя по клавишам с каждой вновь созданной буквой, переплетая причудливую мелодию своей собственной души.

Но призвание писать я не выбирал. От того дождливого дня, когда я впервые набросал свои первые строки, до сегодняшнего момента, казалось, прошла целая вечность, и в этом бурном потоке времен я сменил не меньше дюжины одежд — от гробовщика до работника банка, — но по-прежнему продолжал писать. Что это, как не проклятие? Что это, как не судьба? Продолжая скрести пером по бумаге, неужели я не знал, что такое Книга? Что в мире, где с человеческих лиц исчезли улыбки и слезы, сменившись круглыми скобками на модных экранах, где мысль не поспевает за самой жизнью, летящей вперед безумным галопом бессонных ночей, залитых бордовым мерцанием шампанского и звоном бокалов, где прежде усталый и грустный взгляд доживших до старости стал чем-то порочным, достоянием слабости, целиком стершейся в безжизненных просторах борьбы за успех, — что во всем этом книга была выцветшим анахронизмом, засохшим пятном, которое подчищали пунцовой наждачкой лишь единожды в год, когда речь заходила о вновь прибывшем в этот беглый мир чудаке, явившем самое себя в цветах стокгольмского фрака? О, мне было об этом прекрасно известно, и все же я продолжал писать. Скручивая мир, словно полотно, я разворачивал его уже на ярких горячих буквах, переносил пейзажи, теплые реки, мимику лиц, слезы, глубокую ночь на белые листки бумаги, которые становились последним приютом этих ржавых часов под названием «жизнь».

Свою же собственную судьбу я разбрасывал по кусочкам в пьесы и рассказы, в каждый из которых помещал какой-нибудь незначительный эпизод из своей биографии. Так было и с расска-

зом «Гроб», когда вдруг однажды меня посетила мысль купить погребальный саркофаг, разделив расходы на покупку с моим другом с тем, чтобы первому из нас, кто отойдет в мир иной, пришлось «тратить» на собственное погребение сумму, ровно в два раза меньшую от необходимой. Высмеивая такой предельный прагматизм на листках бумаги, я вдруг неожиданно для себя обнаружил, что запечатлел на них целый вектор мышления, свойственный в той или иной мере современному обществу, подводящему человеческую жизнь под единый знаменатель бюджетных расчетов и блеклой финансовой прибыли. К слову сказать, гроб мы так и не купили, основанием для чего послужила шуточная мысль моего приятеля о том, что существует вероятность нашей смерти в один и тот же день.

В другой раз, едва перейдя в старшие классы, я написал пьесу «Зеркало», в которой актеры на сцене должны были играть зрителей в зале: с десяток человек рассаживались на заранее приготовленные кресла в самом центре театральных подмостков и время от времени лишь причудливо улыбались или корчились от отвращения, будто бы реагируя на происходящее на сцене, как это обыкновенно бывает у обычных зрителей. Но затем меня стала мучить мысль о том, что сюжет этот вовсе и не мой и что я позаимствовал его из какой-нибудь театральной статьи и теперь занимаюсь неосознанным плагиатом. Как я ни старался, подтверждений этому я так и не нашел, но все же включить пьесу в сборник не решился, тем самым отчасти реализовав ее сюжет на собственной шкуре.

Мои книги должен был кто-то читать, но найти такого человека не получалось. Потому, в очередной раз возведя абсурд в степень долга, я сам читал свои собственные творения, нисколько не смущаясь мании величия, пугливо выглядывающей из-под каждой буквы.

И однако же я всегда понимал людей — и поверьте, в их числе я стоял в первых рядах, — видевших в чтении ужасную пытку, соглашавшихся на которую можно лишь под действием силы непреодолимых обстоятельств, как то экзамен или чтение на ночь, используемое в качестве повсеместно разрешенного снотворного. Ведь писатели — наибольшие болтуны, чей рот не замолкает ни на секунду. Только задумайтесь — что такое книга? И пока вы ломаете голову над этим непростым вопросом, позвольте мне ответить за вас: книга — это непрекращающийся монолог души, в котором у вас нет ни малейшей возможности участвовать. В каком бы восторге вы ни были от прочитанного, как бы ни желали возмутиться ка-

ждому слову, какую бы любовь — или, напротив, ненависть — ни питали к автору, все это останется без ответа, словно вы вступили в безумную игру, чьи правила исключают саму возможность играть. Нет, вы, конечно, всегда вольны вышвырнуть книгу в окно или, и того лучше, вообще не брать ее в руки, но не уподобитесь ли вы в этом случае обидчивому малышу, решившему отомстить своему обидчику молчанием, перед тем громко сказав — «я с тобой не говорю»?

Но писатели! Уверю вас, встретив на улице одного из нас, будьте уверены в том, что перед вами — проходимец, заслуживающий самого сурового осуждения, ибо нам доподлинно известно, что добрая книга представляет собой страниц двести, не меньше, а это — часы, целые часы рассказов, охов и выкручивания рук от виражей судьбы, любовных интриг и слез по утраченной молодости, одним же словом — всякого вздора и чепухи, лишь волей случая принимающейся большинством за совершенный шедевр. Ну в самом деле, стали бы вы слушать своего родственника, усадившего вас на стул и заткнувшего вам рот, чей слезливый рассказ две пары часов шел бы о совершенно неизвестных вам людях? И если вы, мой дорогой читатель, с весомой долей негодования уже готовы ответить резкое «нет!», — прошу вас не обольщаться, раз уж вы дошли до этого места в моей книге, написанной человеком, едва ли подозревающим о вашем существовании. Но позвольте мне продолжить.

Кроме меня самого, единственным почитателем моего таланта был мой университетский приятель, который обладал весьма специфическим взглядом на мир, суровой строгостью моральных суждений, заключавшейся в почти полнейшем их отсутствии, и который к тому же читал мои труды не более как по абзацу в месяц, всякий раз после такой непосильной для себя пытки приговаривая примерно следующее:

— Надеюсь, в скором времени ты издашь свою гениальную книгу и наконец-то станешь знаменитым, иначе я не смогу оправдать для себя бессмысленного чтения такого количества заумностей.

Человек этот всегда был для меня чем-то вроде балласта из цинизма и иронии, не дававшего мне окончательно сгореть в моем бесконечном стремлении взлететь в небеса, а потому его собственная жизнь представляла для меня ценность не только в виде крепкой дружеской руки, которую я сжимаю и поныне, но и в качестве тонкой трости канатоходца, с которой я ходил над пропастью собственных грез.

Сам же мой друг, занимаясь продажей кормов и частенько выручая меня работой — я трудился у него грузчиком, — смотрел на жизнь достаточно прагматично и просто, всякий раз сравнивая людей с собаками, которых в какой-то момент спустили с поводков, чтобы поглядеть, кто в какую сторону побежит и с какой скоростью, при этом делая акцент на правильном выборе стороны, будто бы бег не есть точно такой же выбор, как и сама сторона, в которую следует бежать. Но в чем-то он был прав — возможно, был прав даже глубже, чем мог бы себе представить. Ведь сама необходимость действия в этом мире давалась нам как бы еще до самого действия: семья, карьера, образование, каторжный труд или, напротив, миллионы за единый росчерк пера — все это было лишь фантомом, иллюзией, отсылающей нас к более глубоким, неизменным слоям человеческой бытности и существования. Непрекращающийся поток того, что человек обязан выполнить за всю свою жизнь в качестве шахтера, отца, профессора, продавца мяса и пр. вкуче со страхом лишиться и этого, и банальной усталости порождали один-единственный вопрос: «А что, если нет?» Что, если я не обязан делать все это, что если связь, которая кажется мне столь незыблемой и очевидной, всего лишь продукт моего собственного выбора, не подкрепленного никакими гарантиями извне? Ведь тогда тот самый русский солдат, который, по словам Ницше, со всемирной верой в судьбу просто ложится в снег, едва ему становится в тягость военный поход, стал бы примером того, кто наконец переступил черту и отказался от этого изнурительного, всеобязывающего бега по кругу. Но счастлив ли он в этом снегу? Как долго смог бы он любоваться суровыми зимними небесами, пока сквозь него продолжали бы маршировать тысячи, десятки тысяч израненных ног?

Но, как вы могли заметить, приятеля моего интересовал вовсе не метафизический блеск смолянских снегов, а вполне привычное шуршание бумажных купюр, единожды в месяц улаждавшее его собственный слух. По его мысли, вещи обладали таким же финансовым притяжением, как и физическим, и с каждой потраченной гривной он все ближе приближался к земному ядру, тогда как абсолютная свобода находилась за туманными пределами экзосферы зеленых бумажек, на которых почти изумрудным сиянием северных ночей блистали лица Уиллиса Гранта и Бенджамина Франклина. Он просто не понимал, как способен человек, чьими деньгами можно доверху заполнить четыре пятикомнатные квартиры, общаться с теми, чей ежемесячный доход в несколько

тысяч раз ничтожнее его собственного. «Ведь это все равно, что говорить с жителем Китая на суахили!» — сказал он мне однажды, выразив искреннюю уверенность в том, что у таких людей-миллиардеров, возможно, и сама нейронная связь выстраивается по-иному. «Они почти что боги, — продолжал он, — с виду похожие на нас, и все-таки боги, чей ум целиком погружен в иную реальность. Я даже уверен, что мы не слышим их мыслей: они говорят "стол", а нам слышится "яблоко". Капитал, несметные богатства — наибольшая культурная трансценденталия, определяющая взгляд на мир как на бесконечное море возможностей, будто эта жизнь — лишь приготовление, лишь странный, но необходимый ритуал перед основным торжеством. Ты думаешь, — обратился он ко мне, — где бы заработать денег на свой роман и что одного миллиона хватило бы тебе на всю оставшуюся жизнь, а они не понимают, почему вместо двадцати трех миллиардов долларов у них к сорока годам все еще только двадцать два, хотя очевидно, что даже половину этой суммы вменяемому человеку было бы сложно потратить. Нет, Стас, мы никогда не поймем этих людей, никогда не увидим их квадратный мир сквозь наш узкий треугольник».

Что ж, звучало весьма претенциозно, но нельзя сказать, чтобы и меня самого не волновали похожие мысли. Однажды я в невероятный мороз загружал вагоны, накануне посмотрев передачу о каком-то старике-миллионере, живущем в Буэнос-Айресе и все еще снимающем эротические короткометражки, которые, собственно, и принесли ему целое состояние и известность. Этот старик стоял на белоснежном кафельном полу собственного особняка и рассуждал о Кьеркегоре, облокотившись о мраморную колонну и загадочно глядя вдаль в сторону Атлантики. «Неужели я хуже этого старика? — думал я в ту холодную ночь, отдирая примерзшие перчатки от застывшей кожи ладоней. — Ведь у меня такие же ноги и руки, я дышу тем же воздухом, что и он, без каких-либо проблем влезу в тот же самый дорогой костюм, да и взгляд у меня выйдет куда более загадочный, чем у этого пресыщенного жизнью магната. Но все, что меня отделяет от этого райского покоя и достатка, — это миллионы зеленых бумажек, способных поместиться в один небольшой чемодан и вмиг перенести меня из холодных зимних ночей в теплую гавань аргентинского солнца».

Но в душе я знал, что едва я ступлю на этот сверкающий пол, едва облокочусь плечом о прекрасную мраморную колонну и устремлю свой взор в сторону бескрайних просторов океанской

глади, как тут же мои глаза заполнит бесконечная тоска, с которой едва ли сравнятся глубины зеленого океана. Сколь долго я смогу наслаждаться этим богатством, этим мерцающим покоем южного дня, прежде чем отправлюсь на самое дно уныния и меланхолии и пушу себе пулю в лоб от столь поспешно достигнутых целей? Что, если разница вовсе не в руках и ногах и даже не в миллионах долларов, а в способности наслаждаться неисчерпаемой силой жизни, которая даже в глазах семидесятилетнего старика блестит ярче, чем в моей собственной душе, не переступившей и четверти столетия? Выходит, здесь, в этих холодных железных гробах, я на своем месте, а там, в аргентинском эдеме из жаркого солнца и вечернего бриза, занял бы чей-то райский шезлонг, не сумев распознать банальную истину: каждый из нас заслуживает рая не больше, чем его обитатели, но и ад горяч лишь настолько, сколь ярко сияют для нас небеса.

И однако я слишком поспешно налил вам горячего чая, не предложив перед тем холодный десерт. Если вы все же решите и дальше листать эту книгу, а не подпирать ею просевшую печь, как это делает мой приятель, то о нем вы еще непременно услышите, — а пока позвольте рассказать вам о том, что, возможно, определило всю мою жизнь, в конечном итоге загнав меня на весенний парижский газон.

## ГЛАВА 5. ARS LONGA

**С**вою родную alma mater я обрел совершенно случайно. Помню, как на одном из школьных уроков по истории к нам в класс вошла странная полная женщина, представившаяся руководителем одного из научных кружков, и пригласила всех желающих заглянуть в школьную библиотеку, где и осуществлялся набор в различного рода секции — от математики до географии. Сам не знаю, для чего мне это было нужно, но мы с приятелем записались на секцию по истории, после чего я создал свою первую научную работу с завораживающей темой «Иудаизм и христианство как одна религия». Время от времени я посещал заседания наших юных ученых, корпевших над толстыми пыльными книгами по зоологии и медицине, но меня наконец объяла такая тоска, что я решил пустить это дело на самотек, постепенно перестав ездить на все сборы. Мой куратор оказался воплощением энтузиазма и не отставал от меня ни на шаг, то и дело позванивая моей маме с заявлениями о моем таланте и предлагая участие во всевозможных конференциях и олимпиа-

дах. В результате меня все-таки затащили на одну из них, которую и проводил мой будущий родной университет.

Нехотя приехав на этот конкурс высокомерия, я весьма быстро расставил в необходимых местах синие кресты, ответив на пару сотен вопросов, написал небольшое эссе по истории, приводя в качестве эпиграфа слова генерала де Голля, после чего тут же отправился домой, пребывая в размышлениях о напрасно потраченных деньгах на проезд. Каково же было мое удивление, когда через пару недель в своем почтовом ящике я обнаружил письмо от администрации университета, в котором сообщалось, что среди всех участников конкурса я занял первое место и могу быть зачислен на бюджетную форму обучения философского факультета без вступительных экзаменов. Получив в результате этого события в канун школьного выпускного диплом с надписью «гений истории» и уверив мать в том, что не стоит беспокоиться о моем будущем рабочем месте, ибо, как я сам объяснил ей, именно так и должно быть, я преспокойно провел следующее лето в полном блаженстве от мысли, что мне больше не нужно ломать голову над тем, куда же пристроить свои бестолковые знания по Древнему миру и Столетней войне.

В то время о философии я знал лишь то, что она существует, тогда как через пару лет я буду без труда цитировать толстые тома кантовских бдений, переключившись с бессмысленного запоминания исторических дат на более возвышенную степень прожигания жизни. Еще в школе мне приписывали уникальную способность отвечать на гуманитарных предметах без конспектов и тетрадей, тогда как сам я не понимал, в чем же состоит гениальность человека, попросту воспроизводящего то, что он увидел на белых страничках учебников пару минут назад. Да, у меня была отличная память, но это не было моей заслугой, в то время как сам я искренне восхищался людьми, обладавшими даром творить чудеса с нелинейными уравнениями и логарифмической линейкой. Не хочу обидеть никого из доблестных историков, положивших свою жизнь на алтарь прошлого, но разве не завораживающе выглядит доска с неизвестными символами, вместе с тем хранящими в себе, быть может, всю вселенную, и управляющими каждой судьбой, каждой пылинкой в ее неисчислимом будущем? О нет! Я не хотел бы ненавидеть цифры так же, как сейчас ненавижу философов, а потому математика до сих пор поражает мой ум сквозь непроницаемую тьму невежества, с глубин которого я гляжу на ее высоту.

Что касается моей родни, то вступление на извилистый путь философии было встречено большинством недоуменным пожатием плечами, и я не мог их в этом винить. Философия для них не существовала, точно так же, как для меня не существовал мир классической музыки. То есть я, конечно, знал, что где-то на небосклоне человеческой культуры ярко сияют звезды Шуберта, Моцарта, Баха и их бессмертных творений, но упиваться каждой нотой этих трудов я был просто не в состоянии хотя бы потому, что попросту не знал этих самых нот. Да, мне было доступно чувственное наслаждение от некоторых отдельных композиций, уже давно перенесенных на электронный носитель и закованных в омерзительные бесформенные кандалы под общим названием «трек». Я прекрасно понимал, что есть люди, для которых двухчасовой концерт классической музыки — это вовсе не пытка, а верх блаженства и вкуса, выражение духа времени, переливание красок души и прочих эпитетов, никак не уместившихся в душе такого черствого чурбана, как я. Так было и с философией. Для большинства она была всего лишь абстракцией, фактом сознания: да, когда-то они слышали это слово, целиком осознали его непрактичность и тщетность, а потому не преминули поспешить отказаться от напрасных попыток ломания голов о вопросы, одним своим звучанием создающие непреодолимое желание отдать все имущество мыслителя в пользу измученного шахтера, каждый день рискующего своей жизнью на километровой глубине.

Когда-то от своего преподавателя я услышал замечательную вещь: «Философия — это все, а все остальное — компромисс». Эта фраза была произнесена им в удивительном монологе, объяснявшем только что прибывшим школьникам, куда, собственно, они попали. Привожу его вам с небольшими художественными отступлениями, целиком передающими весь смысл услышанного мною в тот день.

— Миллионы раз я слышал от людей, — взволнованно начал он, — что худшей траты денег и времени, чем изучение философии, трудно себе и представить. Бесплезная, ненужная, едва ли понятная большинству простых смертных, она заключает в себе абсолютное социальное зло, паразитирующее на теле нашего общества. Но вот что я вам скажу: прежде чем посылать миллионы людей на верную смерть, нужно убедить их в том, что немцы — высшая, особая нация, что демократия и капитализм прогнили насквозь, что взорвать себя на площади среди тысяч «неверных» — это честь, и Аллах уже ждет их храбрые души в раю,

что смерть за святое отечество и православную веру — высшая цель, за которую человек, не колеблясь, должен отдать свою жизнь, в конце концов — что адронный коллайдер за десять миллиардов долларов — важнее, чем умирающие от жажды кенийцы, чьи засохшие рты можно было бы напоить целым океаном воды на эти деньги. Именно здесь, в таких стенах, происходит главная битва — битва умов, идей, — он взял в руки потертую книгу, — на этих самых страницах, которые вам лишь предстоит открыть для себя в бездонном море бессонных ночей, когда кровь в голове застывает, словно мармелад, доставляя вам бесплодные муки творчества. Именно искусству мыслить мы собираемся вас научить. И всякий раз, когда вы будете говорить себе: «Зачем мне это нужно?», вспомните, что философия — это все, а все остальное — компромисс.

Признаться, сейчас, по прошествии многих лет, влияй я хоть сколько-нибудь на образовательный процесс, философия навсегда бы исчезла из университетских программ и учебников, тем самым сохранив здоровье нашей нации в целостности и порядке. Но тогда эта речь произвела на меня невообразимый эффект. Зная о философии лишь понаслышке, я открыл для себя невероятный мир туманных идей, которые волшебным пером рисовала для нас эта наука.

Но не успел я отойти от лицезрения философского трона, торжественно вознесившегося над остальной, теперь уже банальной стороной нашей жизни, как меня тут же перевернули с ног на голову, как бы между прочим сообщив о том, что никакого мира, в общем-то, и не существует и что все, на что мы можем рассчитывать, — так это в лучшем случае на собственный набор ощущений, целиком закованный в пределах нашего личного мозга.

Конечно, я говорю о Канте. Не желая окутать вас в бездушную лекцию, я лишь скажу, что для меня это стало настоящим откровением. Как же я раньше не замечал, что весь мир — это всего лишь маленький стеклянный глобус, который столь же прозрачен, сколь и неуловим для людей! Стол, стены, цветы, ваза, даже я сам — все это лишь образы моего сознания, помещенные внутрь вовсе не в виде реальных вещей, а лишь ярких идей, которые, быть может, еще и стоит поискать в действительности. Но позвольте! Как же все остальные? Как же все эти люди? Ведь большинству об этом ничего не известно! Они спокойно ездят в трамваях, покупают билеты, в магазинах — еду к ужину и даже не подозревают, что все это — лишь грандиозный набор ощущений, ни

на миллиметр не вылезавший за пределы их собственного мозга!

Я был в прострации. В тот день в моей голове что-то сломалось, после чего я уже никогда не смотрел на мир так же, как до той лекции: я будто прожил предыдущую часть жизни в ином измерении — мире, где жизнь хоть сколько-нибудь отличалась от меня самого.

Так я с упоением окунулся в водоворот пыльных книг, с каждой новой страницей все больше погружавший меня в какую-то невероятную бездну, скрытую от глаз простых смертных и в то же самое время доступную всем, кто имел абонемент в областную библиотеку. В этот священный храм мысли мы спускались всякий раз после пар, где встречали десятки своих однокурсников, пылевых над священными рукописями Спинозы и Гегеля. Там, в полутьме сырых коридоров, казалось, было что-то особенное: будто сам дух этих книг застыл прямо посреди парадной лестницы, будто обворожительная магия мозговой эквилибристики, которой подверглись желторотые птенцы, едва вылетевшие из гнезд средних школ, казавшихся нам теперь просто приютом для умственно отсталых, поселилась прямо здесь, среди тихого шуршания пожелтевших страниц, с которых слетали чудные мысли пифагорейских псалмов.

В первую очередь меня волновали немцы. Немецкая мысль всегда звучала для меня как сваи, забиваемые в асфальт железным молотком: четко, громко и бескомпромиссно. Так мыслили немцы. За всю историю западной мысли не было ни одного менее демократичного по своей сути народа, чем немецкая нация, даже и сейчас сохраняющая в бетонных стенах демократии маленькие огоньки исключительности и презрения к толпе. Близость их мысли объяснялась для меня прежде всего особым родством с землей, которое чувствовал я сам вне рамочных стен патриотизма и любви к родине: казалось, немецкий дух был почти вымешан с туманными лесами Нижней Саксонии и холодными фьордами Норвегии, чье ледяное тело образовывало нечто поистине уникальное, сохранившееся теперь лишь в редких уголках северной Европы.

Но если для студентов остальных факультетов сидение в библиотеке было пыткой, вынужденной мерой, то мы не спешили покидать этот храм даже после проделанной работы: забравшись на последний этаж, где почти никто не ходил, мы с моим приятелем устраивались на старом бордовом диване и принимались страстно спорить о только что полученных знаниях, вроде того, как возможно, чтобы мир предстал в нашем разу-



ме одновременно безграничным и в то же самое время имел четкий предел, или как это может быть, чтобы Ахилл никогда не догнал черепаху. Разговоры эти могли длиться часами и доходили до совершенной нелепости, когда я вдруг утверждал, будто прямо сейчас способен вывести некую формулу счастья, и то ли изрекал ее вербально, то ли силился записать в виде действительной математической формулы. Впрочем, сам я этого не помню и целиком основываю свои мемуары на показаниях приятеля, не раз подшучивавшего надо мной, едва мне стоило рассказать ему об очередном рабочем месте, с которого я благополучно уволился. Боже мой! Даже сейчас, когда я пишу эти строки, я не могу вспоминать без смеха те разговоры на продавленном диване, которые отнимали целые часы нашей жизни. Как наивны, как глупы мы были, заковывая весь свой дух в пыльные тома Аристотеля и Платона и проводя бессонные ночи в размышлениях и изучении того, что всего через несколько лет будем стирать из своей памяти специально, цепляясь за любой из возможных вариантов!

И все же теперь это время ушло навсегда. О чем я говорю? Помню, как однажды на одной из пар мы обсуждали доклад студентки, написавшей статью о том, сколь прекрасен нынешний прогресс в свете того, что теперь нет необходимости ходить в библиотеку, или что-то в этом духе. Профессор спрашивал наше мнение на этот счет и, по обыкновению услышав молчание, сказал, что «Войну и мир» невозможно было бы создать на компьютере или печатной машинке и что здесь потребовалась бы даже не ручка, а гусиное перо. В тот момент мне хотелось стоя аплодировать этой мысли — настолько кратко и безоговорочно она выражала всю духовную ситуацию нашего времени, зажатую в безжалостные тиски все еще столь мало продуманного прогресса. Кто знает, быть может, тот старый диван действительно был частью какой-то эпохи, чей голос навеки затих в бессмысленном шуме машин.

Но как бы я ни старался зевать от наук, должен признать — я был на своем месте. Каким-то дьявольским образом моя жизнь сложилась так, что я попал туда, куда мне стоило бы заглянуть лишь перед самой смертью, приняв серьезный задумчивый вид. Одержимость и великолепная память — вот все, что нужно для успешной дороги к чертям, куда вы непременно скатываетесь с вершин восхищения, через пару лет сменяющегося цепким презрением ко всему, что только могло напоминать эти проклятые девять букв. Философия была черной дырой, в которой пропал остальной,

нормальный мир вашего существования, едва вы останавливались и начинали мыслить: такая же редкая и невидимая, как и небесные гости, она вмещала в себя абсолютно все, что попадалось ей на пути, одиноко продолжая свой путь среди бескрайних просторов умов.

Пока же я негласно считался лучшим студентом группы, а некоторые, особенно наделенные незамысловатой фантазией люди даже одаряли меня титулом лучшего на всем факультете, но, как и в случае с моим литературным талантом, я прекрасно знал, чего стоят все эти восторженные отзывы, ибо трон, на котором я торжественно восседал, был тронем вовсе не императора, а, скорее, невзрачного вельможи, затерявшегося в потоке лести простых крестьян. Моя alma mater не была тем таинственным местом, где из пучины морской воды, увенчанной каймой белоснежной пены, вдруг рождались глубины человеческого духа и мысли и где, несмотря на весь строгий академизм воззрений, возникали новые движущие силы человеческой судьбы и истории. Нет. Мы были обречены на вечные муки движений по кругу, когда вновь прибывшим грешникам сообщалось уже давно всем известное, сообщалось теми, кто сам некогда занимал их места, а теперь горделиво восседал на троне из собственных иллюзий и пороков. Истинные аплодисменты раздавались где-то в тысячах километров отсюда, в старом мире, где все еще сохранялось почтительное уважение к амбициям и тщеславию, двигавшим колесо разума в направлении его верного, но такого яркого заката.

Теперь я говорю о некотором уважении, шедшем ко мне со стороны «коллег», но в действительности большинство из них меня просто недолюбливали, считая гордым и высокомерным из-за того самого мифического статуса «вселенского разума», которым сами же меня и наделили. Я же, со своей стороны, находил основания для такого поведения как раз в обратном, то есть в абсолютном понимании того, что никаких причин для гордости нет вовсе, что даже те разрозненные знания, которыми я обладал, не стоили равным счетом ничего, а потому лишь ярче доказывали мою интеллектуальную импотенцию. Но остальные не знали и этого. А потому в их память я вошел в качестве странного человека, излагавшего материал исключительно по памяти и за пять с половиной лет ни разу не использовавшего ни единого конспекта. Что ж, память у меня и впрямь была неплохая, что делало процесс бессмысленного запоминания никому не нужной информации еще более приятным.

Но презрение к философии не всегда тлело в моей душе. На первых порах я был настолько поражен интеллектуальным волшебством — цветными платками, которые от лекции к лекции доставали из рукавов наши профессора, — что и сам мечтал о собственном театре, где бы удивлял публику распиленной надвое красоткой. Помню, как, окончательно погрузившись в глубины познания, я мог, совершенно не шевелясь, глядя в одну точку и абсолютно не замечая происходящего вокруг, просидеть в автобусе час без четверти — столько занимала поездка из института обратно домой. Черт, я не заметил бы даже тени собственного отца, изъятая из уз загробного мира и посаженного напротив меня силами небес для развлечения всех усопших. О чем же я думал? Конечно, о соотношении бытия и ничто, о непроходимой пропасти между вещами и словами, о рациональных возможностях этики в контексте теории игр и прочей белиберде, которой теперь обязан искренним презрением не только к ней самой, но и ко всему миру в целом, столь робко молчавшему во времена моей духовной деградации.

Впрочем, философия никогда не была для меня абстрактной теорией, отвлеченной от жизни иллюзией, чье бездушное тело беспомощно волочилось за цветущей колесницей блаженств и эмоций. Мы никогда не входили в ее порты лишь на время, чтобы недельку-другую посушить весла о бревна и послушать удивительные истории, после чего забыться в очередной житейской реке. Даже подвергаясь ежедневным завтракам из «Диалогов» Платона и холодной закуски в виде «Сентенций» и «Сумм», мы намеренно отыскивали с моим приятелем все новые приправы, коль скоро уж гастрономические сравнения пришлось вам по вкусу.

Так, однажды мы отправились на вечернюю службу в один из протестантских домов, представившись вымышленными именами — Панаевым и Скабичевским, — и выдав себя за историка и журналиста, ибо какой бы тягой познания мы ни обладали, как бы ни желали изведать таинственные грани великих умов, стыд от собственного будущего ремесла затмевал весь блеск пурпуровых мантий, а потому мы укромно уселись в заднем ряду, стараясь особо не выделяться из то и дело подскакивающей в припевах толпы. И все же одна дама настойчиво пыталась познакомить нас с одним из певчих — небольшого роста азиатом, игравшим на старом рояле. Дама пыталась уверить нас в том, что этот невзрачный китаец был, по ее словам, звездой мировой астрофизики и что уже одна лишь беседа с ним была бы невероятной че-

стью для каждого, кто трепетно смотрит ввысь на храм науки с низов собственного несовершенства. Что ж, после получасового распевания псалмов на английском идея поговорить с современным Эйнштейном показалась мне не такой уж плохой, на что моя вновь испеченная сестра по вере ответила искренним энтузиазмом. После окончания службы нас с моим другом представили господину Ли, который оказался весьма добродушным стариком, рассчитывавшим, по-видимому, на разговор о Библии и крестных муках Христа, в то время как мой друг-журналист спрашивал его об истине, а сам я как историк завел разговор о соотношении теории относительности с последними открытиями Стивена Хокинга, чем, надо сказать, вызвал некоторую настороженность и недоверие со стороны наших новых знакомых. В целом беседа получилась бессодержательной, ибо ответ об истине свелся к фразе «Я есть путь и истина и жизнь», а перевод с английского мыслей господина Ли касательно бесконечности Вселенной и природы черных дыр был столь приблизителен, что вышло, будто Бог создал мир, считаясь с мыслями профессора Хокинга.

Был холодный мокрый вечер, когда мы покинули этот приют веры и отправились домой, и после этого я уже не посещал подобные заведения, лишь единожды побывав на службе монаха одного из буддийских орденов, четверть часа распевавшего одну-единственную фразу на японском языке и постукивавшего шаром по глиняной чаше.

Но был и еще один эпизод, утвердивший меня в окончательной ненависти к тому пути, который я сам же для себя и избрал. Речь идет о небольшой лекции, которая была посвящена Витгенштейну и проблеме достоверности знания, что звучало куда серьезнее, чем то, что было услышано мной в первые минуты той грандиозной речи.

— Единственное, чем мы обладаем, — это знание, — начал молодой мужчина, одетый в элегантный строгий пиджак и расхаживающий по комнате с тонкой потертой книжицей. Он создавал впечатление человека, которому решительно все равно, читать ли лекцию или лететь на Луну.

— Деньги, власть, двухдверный лазурный кадиллак 31-го года, даже ваш собственный остров в далекой Полинезии, который вы купили на все те же заработанные гроши, — все это ничто без полной уверенности в том, что, проснувшись завтра, мятые, засунутые под матрац бумажки вы сможете обменять на кусок земли в Тихом океане, что власть открывает перед вами куда больше дверей, чем ее отсутствие, в конце концов, — тут он снова взял маленькую старую книжицу и посту-

кал ею себе по руке, — что вот это — моя рука, а не сапог сирийского солдата.

Признаюсь вам, что после этих слов я почувствовал себя полным идиотом, которому вместо обещанного «Преступления и наказания» продали «Книгу рецептов алтайской кухни». В то время я еще не имел достаточного скептицизма в своей душе, чтобы во время подобных речей мысленно закрывать уши руками, оставаясь при этом в прежнем положении внимательно внемлющего зрителя, но дальнейший ход рассуждений профессора вызвал в моем теле легкую дрожь, которая целиком затмила собой сравнение частей тела с сирийскими сапогами.

— Итак, что же дает нам такую уверенность, что Земля — круглая и не стоит на трех слонах?

Помню, как после этой фразы я повернулся к своему приятелю и шепнул ему на ухо:

— Черт, хорошо хоть мы за это не платим.

И в самом деле: не успели мы окончить среднюю школу с непоколебимой истиной четвертого класса, что наша старушка-Земля имеет форму шара, как в высшей школе нас совершенно серьезно заставляют в этом усомниться, да еще и за деньги налогоплательщиков! Но профессор продолжил:

— Зрение, и только оно, дает нам представление о форме нашей планеты: стоя на земле, вы можете поклясться, что она — диск, плоская, как ваши юные девственные умы, не потревоженные еще волнениями хмурой науки. Но стоит вам подняться на пару сотен километров ввысь, как вы тут же увидите маленький круглый шарик, одиноко танцующий на черном брюхе Вселенной. Так почему же мы так безоговорочно верим в одно и столь безапелляционно отвергаем другое? Что дает нам право утверждать, что увиденное в космосе — истина, тогда как то же самое, увиденное с балкона, — чистая ложь, оптический обман, не имеющий равным счетом никакой физической ценности?

Профессор сделал несколько шагов к кафедре и, уставившись в окно, произнес:

— Кто-нибудь слышал об Обществе плоской Земли? Нет? Эти ребята до сих пор уверены в том, что сферическая форма нашей планеты — ложь, всемирный заговор, подделка, которой нас кормят из поколения в поколение. Но что мы в силах им возразить? Что дает возможность до сих пор существовать таким людям и не быть запертыми в пределах мягких белых стен, подальше ото всех здравомыслящих соплеменников? И наконец, во что же мы должны сначала поверить, чтобы затем до хрипоты души кричать о недостаточной кри-

визне земного шара на высоте двух с половиной метров?

Пусть каждый из вас, друзья мои, решит для себя сам, сколь сильно он безумен для здравомыслия, или — напротив — нормален для безрассудства, — дело вовсе не в этом, ибо тот, кто подходит к философии со всей строгостью, должен в конечном итоге признать, что эта строгость — вынужденная мера, не означающая равным счетом ничего, кроме стартовой черты, за которой начинается калейдоскоп волнений и бурь. Прошу вас также не судить о философии и по паре неумелых описаний вашего слуги, ибо ее комичная маска порой оборачивается ледяным лицом жизни — когда уже ничто не в силах вернуть вас к улыбке лица.

Но в конце концов, как и любое волнение человеческой души, моя тяга к знаниям стала ослабевать с невероятной силой, так что я стал все чаще возвращаться к тому образу жизни, который вел до открытия бытийных основ, — кабакам. В самом деле, можно ли вообразить себе более достойный способ борьбы со скукой, чем хорошая кружка подкисшего пива в веселой компании, да еще и после томов святого Фомы? Но мои блуждания среди темных зловонных улиц и отравленных дешевым табачным дымом кабаков были сплошным притворством, настолько глубоко въевшимся в мою душу, что я стал получать истинное наслаждение от пребывания на самом дне отведенного мне места в обществе. Все дело в том, что отец передал мне один-единственный дар, на который был только способен: закончив свою жизнь под обшарпанной лавкой в канун Международного дня женщин, он навсегда привил мне неприязнь к малейшим проявлениям алкоголя, страшившего меня вовсе не разбухшими частями тела и прилагавшейся к ним грязной одеждой, а особым видом смерти, которая, в общем-то, незримо блуждала между мужчинами нашего рода, то и дело задиристо задевая их плечом.

Смерть, о которой я говорю, была совершенно особенной, существуя лишь в немом отражении глаз других людей, предосудительно качающих головами при виде едва плетущегося по улицам опьяненного куска мяса. Наступая еще при жизни, в редкие мгновения просветления рассудка от недельного запоя она всякий раз напоминала о себе нестерпимым пониманием того, что все уже потеряно, нет ни малейшей возможности возврата к прежней жизни, ибо твоя воля, разум, уважение к себе самому, даже одежда — все это смято в один туманный комок, но ты все еще жив. Ощущение существования никогда еще не проявляло себя столь сильно, как в момент разрыва с соб-



ственной индивидуальностью, чей жаркий огонь, надо думать, в последние дни своей жизни отец и остужал холодными каплями просроченной водки. Социальная смерть настигла его в самом расцвете физических сил и навсегда оставила в моей душе страх перед невнятными взглядами плачущих вдов, жалеющих своего «такого непутевого мужа».

Именно поэтому мое поведение в местных кабаках всегда вызывало некоторое недоумение остальных участников процесса, частенько перераставшее в откровенную неприязнь и агрессию. Картина и впрямь была вызывающей: в маленькой задымленной комнатке с разлитыми лужами пива набивалось с десяток людей, через четверть часа становившихся похожими на только что родившихся младенцев, отчего-то одетых в тела двадцатилетних мужчин: слюни, храп, хохот, растрепанная одежда вперемешку с невыносимым запахом прокисшего пива и несвежих креветок создавали совершенно особую атмосферу, в которой вдруг находился человек, спокойно и — что самое ужасное — трезво сидящий в углу за столом, время от времени попивая апельсиновый сок из пластикового стаканчика. Такое положение возмущало. Но

искренность моего пребывания здесь располагала даже самых рьяных критиков трезвого образа жизни, ибо в действительности я уже обладал устойчивым ядом презрения к напыщенности академического круга интеллектуалов, в который по необходимости возвращался после ночных приключений. Последние же всегда заканчивались одним и тем же: рюмкой водки на столе, на котором в действительности оставалась еще половина яйца и несколько кусочков обветренной сосиски, блекло пестревших на фоне недопитого зля.

Мною правила гордыня с кротостью самих святых: я прекрасно понимал, что, несмотря на свое нынешнее положение, могу прямо сейчас, прямо за этим столом объяснить онтологию Хайдеггера или прочесть на память монолог Шекспира, и это вздымало меня до небес, не отрывая от липкого стула. Но я не делал одолжения своим присутствием. Нет. Подобная мысль никогда не закрадывалась мне в сердце, и я действительно находил большую отраду в обществе пьяных сверстников, чем в среде выверенного до миллиметра языка богословов: искренность их поведения окунала в самую жизнь, прекрасную и возвышенную по



какой-то невероятной для всех нас причине. Действительность цвела прямо здесь, не отрываясь от этого стола, что дало мне отличную прививку от высокомерия моей профессии в противовес тем, кто вдруг обнаружил для себя мусорный бак за толстыми томами марксистских мечтаний.

Но пять с половиной лет провести в кабаках я просто не мог. А потому, исчерпав и эту пилюлю, я все больше утверждался в мысли о бессмысленности собственного существования, что приводило меня к одной простой идее — покончить с собой. Будем откровенны: люди хотят смерти не меньше, чем жизни, — разница лишь в том, что жизнь они воспринимают как собственность, а смерть выставляют на продажу. Но хочу вас сразу же огорчить: несмотря на решимость свести счеты с жизнью, я, во-первых, все еще жив (или же сильно заблуждаюсь), а во-вторых, саму смерть в силу профессии я всегда рассматривал чисто умозрительно, спокойно, — так раздумывают о капустном салате за стаканчиком холодного аперитива.

За все то время, которое можно было бы назвать моей сознательной жизнью, едва ли нашлось бы пять-шесть случаев, когда я действительно осознавал, что умру. Это ощущение было столь редким и необычным, что попытка описать его была бы столь безнадежной, сколь и бесчувственной. Обычно это состояние определялось через другие вещи: я смотрел на стол и вдруг понимал, что наступит время, когда я не смогу увидеть эти маленькие угловатые трещины, напоминающие устье Меконга. Я конечен, почти как этот стол, почти такой же прямоугольной формы, и мое собственное бытие еще, быть может, сомнительней, чем жизнь этого бездушного куска дерева. Я никогда не доходил до того, чтобы всерьез не видеть никакой разницы между людьми и окружающими их предметами, но в вопросе ощущения себя смертным я всегда ловил это чувство сквозь прозрачные одежды вещей, становившихся для меня не тяжелее летних облаков.

Иногда мне казалось, что смерть — это порок обывателей: гении бессмертны. Декарт, Шекспир, Эйнштейн, Гете — все они были живыми, ведь о них говорили, словами подымая с земли. И в самом деле: сколь нелепо было бы прекращать жизнь того, кто мыслит стихами, или укладывать в гроб того, кто поставил над миром вопрос. Этим людям смерть должна была обходить стороной, превращая жизнь в бессрочный залог их личных великих мозгов. Но так было лишь до тех пор, пока я не узнал, что половину из них с этого света сдул банальный сквозняк и что их собственные ко-

сти уже давно сопрели в земле наравне с костями никому не известных солдат или, скажем, веселых ирландских переселенцев. Но для чего же тогда существовали все эти люди, все это бесчисленное множество глубоких умов, строивших один всемирный муравейник нашей великой культуры? Я думаю, что все их существо собрано здесь, в этих и подобным им строках, чтобы через столетия, после окончательного истления их праха в мокрой земле, все они могли возродиться яркими вспышками памяти на белых страницах, — иного оправдания быть не может. Они были, чтобы о них помнили, о них помнят — чтобы быть самим. Эта вселенская нить из изрядно подсушенных истин вьется из поколения в поколение, с каждым новым витком сообщая нам все меньше вибраций, и в перспективе она замолчит навсегда.

Но остановите с десяток людей на улице и задайте им простой вопрос — знают ли они о том, что умрут? Десять из десяти ответят «да», будь они адекватны и в здравом уме, но едва ли найдется хотя бы один, ощутивший это удивительное чувство внутри себя. Ведь это все равно как знать о том, что горячая кружка обожжет вам руку, — и иметь глубокий ожог уже на реальной, не философской руке. Между чувством и мыслью всегда лежала непроходимая пропасть, и нигде еще она не была столь откровенна, как в случае с собственным концом.

Вариантов было всего два, отражавших противоположные грани одной и той же идеи: либо ты настолько слаб, что прекращаешь борьбу и сдаешься, так и не дойдя до конца, либо и это мнение не имело никакого значения и во всеобщей мозаике бессмысленного являлось всего лишь очередным ее компонентом, так сказать, последней деталью, ярко и красочно завершающей все полотно. Сам я всегда склонялся к последнему, считая какие бы то ни было аргументы в пользу борьбы лишь коварными ветвями инстинкта самосохранения, в наш век перекочевавшего из котла животных порывов в венецианскую вазу всеобщей разумности и гармонии: теперь подсознание больше не отдергивало вашу руку от горячей сковороды и не останавливало у края обрыва, вместо этого лихорадочно ища аргументы в пользу того, чтобы таки не спускать курок холодного револьвера, чье бездушное дуло и теперь глядит в висок миллионов несчастных.

Но нельзя сказать, чтобы основное убеждение моей жизни было открыто навеяно мне университетскими стенами. Скорее наоборот — в личных беседах с мэтрами философии постоянно подчеркивалась необходимость действия, суще-



ственность положительной стороны жизни перед ее деструктивными мгновениями, которые, уже с вершин их собственного жизненного опыта, объявлялись непрочными и преходящими. Но взгляд на мир сквозь ироничную улыбку, всякий раз орлиным крылом слетавшую с моих уст, лишь только судьба предоставляла мне малейшую возможность для нормального, стабильного существования, — навсегда поселился в моем сердце и не желал оттуда убираться, как бы я ни старался.

В то время я всерьез подумывал о том, чтобы бросить институт, собрать все свои вещи и просто уехать куда глаза глядят. Лекции становились непереносимыми, и все, о чем я мог думать, это «боже, что я здесь делаю?». Мое лицо превращалось в серый угрюмый комок, лишь только начинались очередной спор об универсалиях или выяснение того, был ли Кант гомосексуалистом. Впоследствии об этом моем выражении лица, отражавшем одновременно пренебрежение и скандалность, не раз говорили мне однокурсники и даже некоторые из молодых аспирантов, частенько подменявших у нас отсутствовавших преподавателей. Но мне было все равно.

Помню, как однажды вечером, после очередного «тяжелого» дня в университете, я подошел к матери и спросил, как она смотрит на том, что я оставляю учебу. Пожав плечами, она ответила, что это мое личное дело, что говорило о росте степени моей странности в глазах окружающих, ибо мать всегда гордилась моим образованием, и еще пару лет назад этот вопрос поверг бы ее в легкий шок, тогда как сейчас вызывал лишь мелкое недоумение. С искушением навсегда порвать с учебой я стал бороться тем способом, что перестал ходить на целый ряд лекций, впоследствии, на последних курсах, и вовсе пропускал целые недели, приходя на необходимые семинары без каких-либо опознавательных знаков, присущих студенту: я просто снимал верхнюю одежду, садился за последнюю парту и вяло участвовал в обсуждении того, что было известно мне до запятой еще пару лет назад. Тем не менее подобная стратегия помогла мне благополучно перенести лекции по фундаментальной теологии и окончить университет, имея на руках дипломы бакалавра и магистра с отличием, что, в общем-то, вполне соответствовало абсурду всей ситуации в целом.

Но положения дел это не меняло: каждый прожитый день давался мне с невероятным трудом, и я совершенно не видел перед собой ни единой цели, которая была бы достойна потраченных на нее лет. Засыпая голодным, я вставал с тошнотой: всю мою жизнь меня восхваляли, и теперь я жа-

ждал темных теней неизвестности, растворившихся в тотальности собственной смерти. Последняя стала для меня чем-то вроде желанной игрушки, чей блеск был отражением причуд малыша: мне не давали играть — я молчаливо отворачивался к стене, тая обиду на весь свет. Впрочем, людей с подобным мироощущением я встречал немало в своей жизни, но все их вздохи и претензии к этому миру натыкались в конечном счете на одно — собственный гроб. Но, друзья! Смерть — лишь теория, никем не доказанная, тогда как жизнь неизбежна. И вопрос о ее блеклой душе никогда не сводился для меня к смертности и конечности человеческого существования, тогда как наше вероятное бессмертие наконец-то открыло бы людям правду о нашем действительном положении в этом мире, когда все возможности, все эмоции, чувства и ощущения исчерпали бы себя за многие поколения жизни на этой земле и наконец представили бы перед человеком голое существование в его чистом виде, очищенное от бессмысленных целей и задач сменяющих друг друга эпох. Наша смертность лишь приоткрывала кусочек листа этой бесконечной книги, переводя незавершенность жизненных проектов в безграничную линию судеб тех, кто на смертном одре искренне жалел о недостроенной даче под Киевом.

И все же, будучи сыном шахтерской земли и не ощутив на своей спине легких колыбельных шелков, я прекрасно понимал, что самоубийство — это роскошь богачей, болезнь, подаренная нам непомерным бегом мирового прогресса, и ее новая эра еще только начинает восходить над радужными долинами европейских просторов. Там, где люди живут на шестьдесят центов в день, где воздух и вода пропитаны ртутью и ядовитыми газами, где ваш жадный взгляд безжалостно смотрит на чистую, без дыр, одежду приезжих туристов, спустившихся поглазеть с лугов благочестия и довольства в самую преисподнюю, — именно там люди цепляются за жизнь, а не бегут от нее, словно от ночного кошмара. Гана, Лесото, Бенин — вот обители жизни; здесь, притаившись в ночной тени, дремлет ее грузная сила, ожидающая своего часа, чтобы полночной зарей воссиять над затхлостью европейского разума.

Но есть и другая жизнь, та, в которой неизвестны депрессии, где в погоне за всемирной любовью люди не превращаются в угрюмых невротиков, где все еще царят небеса и покой. Это крошечные островки безмятежных лесов, из которых на вас удивленно глядят широкие, разукрашенные бело-красными полосками глаза. Эти люди малы, худощавы, целыми днями блуждают

босиком, прорезая бамбуковые леса своим маленьким ножиком и неподдельной улыбкой. Нет, я вовсе не призываю ходить голышом по улицам Сан-Франциско, и на груди у меня все еще деревянный крест, а не иконка с Руссо, — но оглянитесь и прислушайтесь: сам мир будто бы шепчет нам. И это одно, всего лишь одно-единственное слово, целыми тысячелетиями бесплодно блуждающее просторами западного духа и мысли, — «безумие».

Как бы там ни было, находясь почти круглосуточно под действием мысли о том, чтобы свести наконец счеты с жизнью — ибо порой были целые месяцы, когда не было и дня, чтобы я не думал об этом, — я довел себя до ежедневной головной боли, которая проходила лишь с наступлением сна. Как я ни старался, долго скрывать причину своего мрачного настроения мне не удалось, так как обычные обезболивающие уже не помогали, и мать, как всегда с присущей ей мировой озабоченностью наименьшими пустяками, потащи-

ла меня за руку в больницу. Впрочем, сам я был втайне рад этому решению, ведь без ее напора к врачам я бы ни за что не обратился, тогда как ощущения в мозге с каждым днем все больше приходили на то, как если бы мне на голову натянули резиновую шапку размера на три меньше самой головы. После целого курса каких-то нейролептиков вкупе с неизвестными мне желтыми пилюлями, о которых мать явно стыдилась упоминать, мне действительно стало лучше, и головная боль полностью прошла. Кроме того, я стал придерживаться чего-то вроде «умственной диеты» — известного средства, призванного показать недобрым интеллигентам откупоренную баночку пива прямо посреди их тоскливых ванильных небес. Ну чем не сюжет для рекламного ролика? Тогда мне было лет семнадцать, но все дороги уже указывали на один-единственный путь — городскую психиатрическую больницу № 2, в которой я вскорости и очутился.

Продолжение следует.



**Марианна ТАРАСЕНКО**



Марианна Тарасенко родилась в Новосибирске. Окончила филологический факультет Тартуского университета (специальность «филолог-русист, преподаватель»). Работала учителем в школе, затем на кафедре русского языка Таллинского политехнического института. После ликвидации кафедры еще пять лет проработала в школе. В настоящее время работает редактором (в том числе и литературным) выходящего в Эстонии на русском языке еженедельника «День за днем».

## МНЕ ВКУСНО! КАК ГРУСТНО...

**Я**вление, о котором мы поговорим сегодня, возникло где-то в середине 1990-х годов, и в первый раз я столкнулась с ним при прочтении детективного романа. «Вкусно ли тебе?» — вопрошал герой героиню, а она отвечала: «Да, мне вкусно».

В соответствии с принципом парности слушаев буквально через неделю после исторического столкновения ко мне обратился приятель с просьбой подтвердить его жене, что говорить «мне вкусно» — неправильно. Я подтвердила, и она вроде бы даже поверила, но захотела узнать, почему это неправильно. Вопрос застал врасплох. «Почему? — то мямлила, то горячилась я. — Ну, как бы тебе сказать... Наверное, потому, что так не говорят. Почему не говорят? Да не принято — и все! Что у тебя, совсем языкового чутья нет? Хочешь казаться малограмотной — продолжай в том же духе...» Как ни странно, горячность часто бывает убедительнее, чем логика, и мне поверили на слово.

Прошло время, и вдруг случился обвал: выражение «мне вкусно» стало звучать чуть ли не из каждого утюга, и к настоящему моменту этот процесс начал приобретать масштаб стихийного бедствия. Стало ясно, что пока не поздно, надо

побороться, но возник вопрос: а как? Пришлось искать логику, и начала я с поисков академического правила. Найти его, к сожалению, не удалось, и причина неудачи вполне ясна — в таком правиле не было нужды потому, что еще совсем недавно не было и нужды регулировать данный процесс: не делали такую ошибку. И вопрос этот больше относится к культуре речи, чем к грамматике.

Поэтому я призвала на помощь коллегу, вместе с которой мы, прикинув так и эдак, пришли к следующему выводу. В конструкциях типа «мне как-то» с местоимением «мне» употребляются так называемые сказуемостные наречия (категория состояния), которые имеют значение психического или физического состояния и используются в безличных предложениях: «мне весело», «мне безразлично», «мне холодно» и пр. А слово «вкусно» — это не категория состояния, а типичное наречие, поскольку оно связано с конкретным предметом или действием и, соответственно, не может использоваться в безличных предложениях. Например, «пирог вкусно пахнет», «икра — это вкусно», «в этом кафе вкусно готовят»... Последнее предложение, правда, — тоже глагольное односоставное, но уже не безличное, а неопреде-

ленно-личное: всем понятно, что готовит повар или тот, кто взял на себя его функции.

Позволю себе напомнить читателям, что такое категория состояния. Это класс слов, которые обозначают — вы удивитесь! — состояние, обычно отвечают на вопрос «каково?» (каково тебе? — мне холодно) и используются, как правило, в качестве главного члена односоставного предложения («холодно» — сказуемое в безличном предложении, «мне» — дополнение). Важно уметь отличать их от омонимичных им форм наречий и кратких прилагательных. Посмотрим, чем может являться, например, слово «тяжело» в разных предложениях. *Он тяжело поднимался в гору* — наречие. *Тяжело ты, мое сокровище* — краткое прилагательное. *На сердце у меня тяжело* — категория состояния.

Для того чтобы относиться к категории состояния, слово должно как минимум обозначать состояние: все равно какое, кого или чего — человека, животного, природы, социальной установки. Это, например, «можно», «страшно», «надо», «нельзя», «жарко», «слышно», «жаль», «темно», «неохота», многие другие, и все они в качестве категории состояния прекрасно сочетаются с местоимением «мне», равно как и с «тебе», «ему» и так далее, сочетаются и с существительными. «Мне неохота», «Сергею жарко», «ему не слышно», «человеку надо»... А с какого это перепуга человеку вдруг может сделаться «вкусно»? Когда

мы говорим «да, очень вкусно», мы подразумеваем нечто, имеющее хороший вкус, просто опускаем слово «это». То есть «вкусно» может являться либо наречием, либо кратким прилагательным, но категорией состояния — никогда.

Мы чувствуем холод — нам холодно, мы чувствуем радость — нам радостно, но «вкусно» — совсем из другой оперы: это слово не означает, что мы ощущаем вкус, оно означает приятный вкус самой еды. Кстати, употребляющиеся в нашей речи слова того же порядка, например «сладко» и «горько», в переносном смысле могут относиться к категории состояния: ему горько, всем несладко... Но это в переносном! Я думаю, ни один упертый филолог не возразит против выражения «ей так вкусно живется». И правильно сделает, поскольку мало того, что «вкусно» здесь употреблено в переносном смысле, оно еще и является наречием, а не категорией состояния.

А под занавес хотелось бы сказать еще об одном слове, если его так можно назвать: лучше просто «оно». Это юное «оно» является однокоренным с только что воспетым нами «вкусно», но вызывает иные ассоциации и даже рвотный рефлекс. Вы уже догадались? Да, конечно, это «вкусняшка». Особенно удивительно слышать, когда это злокачественное «ванильное» новообразование берут на вооружение мужчины. Мужчины, опомнитесь, пока не поздно!





Мария СОЛОМАТИНА

#### О СЕБЕ

Аспирантка филологического факультета МГУ, занимаюсь исследованием русских диалектов. Ежегодно езжу в диалектологические экспедиции в Архангельскую область, регулярно участвую в научных конференциях.

## ОНОГДЫ́СЬ НА ПЕРЕДЫ́ЗЬЕ БЫ́ЛО ПОРА́ТО СТУДЕНО́

**Ш**ирока страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек... А на одном ли языке мы говорим в пределах такой большой страны? Станный вопрос, не правда ли, особенно если учесть, что Россия — многонациональное государство, в котором соседствуют самые разные народы: русские, татары, башкиры, чуваша, якуты, буряты... Все они говорят на своих языках. Однако стоит нам выйти за пределы городской квартиры и отправиться в путешествие по деревням и весям нашей необъятной Родины — неважно, расположенным в паре тысяч или в паре десятков километров от дома, — мы обнаружим, что и там жители говорят на каком-то другом языке: вроде бы русском, но сильно отличающемся от привычного нам.

Предположим, вы уехали далеко на север и оказались в одной из деревушек на реке Пинеге. Не удивляйтесь, если местные жители встретят вас фразой: «*Оногды́сь на переды́зье бы́ло порáто студено́*» и будут с удовольствием наблюдать за вашими попытками перевести ее с русского на русский же. Казалось бы, говорим с деревенскими на одном языке, а понять ничего не можем! Постепенно в разговоре выяснится, что *оногдысь* — это *недавно*,

*переды́зье* — то же, что и *коридор*, *порáто* — *очень*, а *студено* — *холодно*. Ну что, получилось перевести? Поздравляю! С этой фразы и начнется наше увлекательнейшее путешествие в мир русских диалектов. Но чтобы не сбиться с пути в самом начале, давайте выясним, а что же такое диалект в принципе?

Диалект — это территориальная разновидность языка. Выявляют диалекты обычно при сопоставлении с некой нормой — литературным языком. Она является общепринятой и закреплена в различных словарях и грамматиках. Изучая иностранные языки, мы всегда учим литературную норму и никогда — диалект, вот почему, приехав в отпуск, например в Неаполь, старательный студент, целый год штудировавший итальянскую грамматику, удивится, что местные жители говорят «не как в учебнике». Такая ситуация вполне закономерна: язык всегда шире нормы, да и норма сама по себе формируется на базе все того же диалекта, обычно распространенного на центральной территории государства. Так, например, в основе русского литературного языка лежит московский диалект, в основе английского — лондонский и так далее. Получается, что диалект — это и есть язык,



только не взятый абстрактно, а приложенный к конкретной местности, а на том русском языке, который мы сейчас изучаем в школе, когда-то говорили только на территории московских земель.

Сколько в России диалектов, откуда они взялись, как так вышло, что на севере окают, а на юге акают, почему жителям Смоленской области легче понять белорусов, чем архангелогородцев,

и можно ли научиться диалекту, нам и предстоит выяснить в ходе нашего лингвистического путешествия. А пока вот вам такая диалектная загадка: *на холмышу сидит жираф и парит яйца*. Попробуйте объяснить, что это за природная аномалия такая, ведь жирафы не только яиц не откладывают, но и в России, как известно, не водятся. Ответ — в следующем номере.





Алла МАРЧЕНКО

## О СЕБЕ

Родилась на окраине Ленинграда — в Лесном. Сюда весной 1915 года к критику Льву Клейнборту приезжал Есенин, в феврале 1840-го Лермонтов выяснял отношения с де Барантом. В Лесном же по инициативе С. Витте и Д. Менделеева выстроен знаменитый Политехнический, где в начале 30-х учился мой отец. После убийства Кирова старшекурсных «механиков» забрали в Высшее военно-инженерное морское училище. По окончании распределили в Севастополь, а в 1939-м переместили в Москву. Севастополь остался в памяти сердца самым прекрасным городом мира, а любовные отношения с Москвой так и не сложились. Учиться всерьез начала в 44-м, по возвращении из эвакуации. В нашей окраинной 153-й работали учителя, не прижившиеся в элитных (анкетных) школах. По причине умственной независимости.

В университет (русское отделение филфака) поступила до смерти Сталина, диплом по Есенину защитила в лето Двадцатого съезда. В 1961-м вышла замуж за художника Владимира Муравьева. Печататься начала в 1956-м. В «ЛГ» — рецензия на подборку стихов Н. Заболоцкого в «Литературной Москве». Первая большая статья о поэзии — в «Вопросах литературы» (1959). Первая настоящая книга — «Поэтический мир Есенина» (1972).

В 1984 году — «Подорожная по казенной надобности». В перестройку вместе с прозаиком В. В. Михальским издавала толстый журнал «Согласие». В 2009–2014 годах вышла биографическая трилогия «Поэты»: «Ахматова: жизнь», «Есенин: путь и беспутье», «Лермонтов: под гибельной звездой». В 2013-м — сборник стихов для детей «Дом со скворцом». «Ахматова» угодила в финал «Большой книги» за 2009 год, премии, разумеется, не получила.

## ПЕРЕКЛИЧКА

Несколько соображений по поводу двух знаменательных культурных событий прошлого года: 125-летия со дня рождения Ахматовой и 200-летнего юбилея Лермонтова

*Он подражал в стихах Пушкину и Байрону и вдруг начал писать нечто такое, где он никому не подражал, зато всем хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актера называют «сотой интонацией». Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпиграммы до молитвы... Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет...*

Анна Ахматова о Лермонтове.  
«ЛГ», 15 октября 1964 года

**О**дна из неожиданностей нынешней культурной жизни — интерес к советской литературе, а главное, к вип-персонам миновавшей

эпохи. Интерес не только читательский, но и издательский. К книгам Андрея Тарасова «Лаврушинский венок» и Ольги Никулиной «Лаврушин-

ский, 17» самоприсоединяется и книга Дмитрия Быкова «Советская литература. Краткий курс» (2013). Оценивать ее в целом не собираюсь («есть тьма охотников, я не из их числа»). Хочу лишь высказать несколько соображений по поводу предложенной автором интерпретации Ахматовой как советского поэта («без всякой негативной модальности, свойственной понятию “советский” в девяностые»). Опровергать концепцию Быкова всерьез бесполезно, поскольку он на это не претендует. Его скороспелые, о двух головах, парадоксы — род самодельной рогатки (или пращи), нацеленной на дугие стереотипы ходячих мнений. Вы, мол, утверждаете, что Анна Ахматова — героиня сопротивления советскому режиму, а я вам докажу, что в ней больше «советскости», чем даже у Маяковского! («...Ахматова куда больше подходит советской власти, чем Маяковский, которому ее так часто противопоставляли» (с. 45)). Спорить с такой постановкой вопроса, повторяю, не только не могу, но и не хочу. Любая дерзкая мысль, даже заумная, продуктивнее тиражирования общих мест. Впрочем, в данном конкретном случае, в разговоре об Ахматовой, Быков вовсе не так оригинален, как кажется. Партия борьбы с высокими репутациями классиков расширяет зону влияния. Сам он в этой партии не состоит. Но приводимые им «интерпретации» легче легкого использовать как духоподъемный допинг для изнывающих от желания уравнивать «великую княгиню» русской поэзии с заурядными приспособленцами, специалистами по двойным стандартам. Разумеется, быковские выкрутасы всего лишь «пищевая добавка». Антиахматовцы строят свои «концепции» на куда более питательных основаниях. Даже самый простодушный читатель, просмотрев наискосок биографию Ахматовой, вправе заподозрить меня в натяжках. Из Союза исключили в 1946-м? (После печально известного Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах “Звезда” и “Ленинград”» от 14 августа 1946 года?) Исключили. А в 1951-м, еще до смерти и болезни Сталина, восстановили? Восстановили. На писательском съезде в 1954-м безыдейная поэтесса присутствует? Присутствует. Непонятно, правда, в роли то ли почетного гостя, то ли правомочного делегата от Ленинградской организации. Но если гостя, то еще интереснее. А дата, которую А. А. поставила под одной из «Северных элегий», где утверждает, что тридцать лет молчит («Молчание арктическими льдами / Стоит вокруг бесчисленными ночами»), 1958–1964? А что такое — 1958? В 1958-м под редакцией самого Алексея Суркова, секретаря СП СССР, вышло ее «Избранное». И это не един-

ственная книга, опубликованная в годы молчания и замалчивания. Перед войной (1940 год) издан сборник, в который включены не только старые, но и новые стихи, а в войну (1943 год) в Ташкенте — еще один, и это тоже не переиздание. И уж совсем странно говорить о заговоре молчания в 1964-м. В 1964-м Ахматова побывала в Италии, где получила престижную премию «Этна-Таормина», учрежденную Европейским союзом писателей. Тогда же, в Италии, узнала, что на родине ее ждет приглашение в Англию, на церемонию торжественного посвящения в чин Почетного доктора Оксфордского университета.

Все так. И тем не менее не так, ибо ее творчество, даже в просталинское тридцатилетие (1926–1956), не делится без остатка на две однозначные части: разрешенную и запрещенную. (Точнее, «потаенную», если оглянуться на Николая Платоновича Огарева, утверждавшего, что в России две литературы: белодневная и потаенная.) У Лермонтова в «Герое нашего времени» есть замечательное по тонкости соображение: «Страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии». К Ахматовой оно применимо сполна. После июня 1922 года, когда в Стране Советов был учрежден Главлит, т. е. введена отмененная в 1917-м цензура, Анна Андреевна стала строго следить за тем, чтобы супротивные, а то и расстрельные ее мысли о времени и о себе за предел «первого развития» не преступали. Позднее в «Поэме без героя» она так охарактеризует эту уникальную особенность своей поэтической «тактики»:

Но сознаюсь, что применила  
Симпатические чернила...  
Я зеркальным письмом пишу,  
И другой мне дороги нету —  
Чудом я набрела на эту  
И расстаться с ней не спешу.

И еще там же, в вариантах:

Не боюсь ни смерти, ни срама,  
Это тайнопись, криптограмма,  
Запрещенный это прием.  
Знают все, по какому краю  
Лунатически я ступаю  
И в какой направляюсь дом.

Ни одно серьезное исследование поэтики «Поэмы без героя» не обходится без ссылки на приведенные мной цитаты и перечисления тех или иных лично *раззеркаленных* образов и ситуаций (подобных укладке с двойным, а то и тройным



дном). И тем не менее не могу назвать ни одной работы, где бы эти два образных пласта, белодневный и потаенный, были прочитаны и отрефлексированы как единый текст. Попыткой такого, слитного истолкования стихотворения «Воронеж» и является «мой ответ Быкову». И не только ему.

Чем же обусловлен выбор? Во-первых, интригующим несоответствием ликующей, праздничной тональности белодневной части и трагического смысла четырехстрочной концовки. Во-вторых, тем, что, озадачив нас этим несоответствием, ключ к разгадке (место действия: **Воронеж**; время действия: **4 марта 1936-го**) Ахматова почему-то не утаила и даже не спрятала, а положила на самое видное место. А в-третьих, еще и потому, что применительно к данному сюжету вынесенное в заглавие слово — Воронеж — является ключом не только к заведомо несоветским смыслам и смысловым оттенкам. Да, как правило, А. А. пользуется «симпатическими чернилами» для того, чтобы спрятать «крамолу» от всевидящего ока «Главного управления по делам литературы и издательств». В «Воронеже» «запрещенный прием» использован еще и для «восполнения объема», и я не исключаю, что именно здесь впервые он применен не только в целях конспирации. Итак:

### ВОРОНЕЖ

И город весь стоит оледенелый.  
Как под стеклом дерева, стены, снег.  
По хрусталим я прохожу несмело.  
Узорных санок так неверен бег.  
А над Петром воронежским — вороны,  
Да тополя, и свод светло-зеленый,  
Размытый, мутный, в солнечной пыли,  
И Куликовской битвой веют склоны  
Могучей, победительной земли.  
И тополя, как сдвинутые чаши,  
Над нами сразу зазвенят сильней,  
Как будто пьют за ликование наше  
На брачном пире тысячи гостей.

А в комнате опального поэта  
Дежурят страх и Муза в свой черед.  
И ночь идет,  
Которая не ведает рассвета.

*4 марта 1936 года*

«Нет уж, позвольте!» — сердито вскинется не только простодушный, но даже и продвинутый читатель. Эти прославленные вирши не попали под красный карандаш цензора и были дважды

опубликованы в правоверных советских изданиях — в журнале «Ленинград» (1936) и в «Избранном» (1943) — только потому, что были представлены в редакцию без последней строфы! А без нее, согласитесь, хрустальные прогулки Анны Андреевны по историческим закоулкам стопроцентно лояльны. Недаром же свехосторожный, хитрый, как лис, К. Л. Зелинский, редактор ташкентского издания, включил «Воронеж» в самый нейтральный (второй) раздел книги: *стихи об искусстве, о творчестве, стихи, навеянные образами истории*. Кто-кто, а уж он-то знал, что никакой консультант, спец по русской истории, не сможет подсказать товарищу из Главлита, о каком брачном пире идет речь в последней строке. Хрустали, узорные санки... Наверное, что-нибудь из невиннейшего «Руслана и Людмилы».

Но что же на самом-то деле хотела сказать своим читателям Ахматова в этих записанных симпатическими чернилами стихах? Почему дорожила даже таким, укороченным текстом? И почему, хотя и была «тяжела на подъем», вдруг, несмотря на лютые февральские морозы, отправилась в Воронеж? Только для того, чтобы навестить занедужившего Осипа Эмильевича Мандельштама, сосланного туда за «расстрельные» стихи о Сталине? Ведь чтобы купить билет и не заявиться к нищим друзьям с пустым кошельком, Анне Андреевне пришлось продать бесценную реликвию — свой скульптурный портрет, фарфоровую фигурку работы Наташи Данько, сделанную в 1924-м?

В том, что поэт и впрямь смертельно болен, как утверждала полученная из Воронежа срочная телеграмма, А. А., судя по всему, сомневалась. Паническими телеграммами и неурочными звонками Мандельштам, этот старый ребенок, и раньше выманивал ее из Ленинграда в Москву всего лишь для того, чтобы прочесть ей, именно ей, новые стихи. Сомнения, к счастью, подтвердились. Зато воронежские стихи О. Э., на которые она и была звана, оказались и впрямь замечательно-неожиданными. Позднее с этим согласятся самые влиятельные эксперты. Но первой об этом сказала Ахматова, первой пришла на помощь его неверию и в себя, и в то, что поэзия нужна людям даже в такое страшное время. И все-таки не только для свидания с опальным поэтом в феврале 1936-го Ахматова оказалась в Воронеже.

С конца двадцатых годов она «усердно» и «с большим интересом» стала заниматься историей Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Дипломированные пушкинисты поначалу иронизировали, но потом почти признали.

«Результатом моих пушкинских штудий, — не без гордости, незадолго до последнего инфаркта, вспоминала А. А., — были три работы — о “Золотом петушке”, об “Адольфе” Бенжамена Констана и о “Каменном госте”. Все они в свое время были напечатаны».

Самой проблемной темой в творчестве Пушкина была для нее тема императора Петра. Точнее, та интерпретация, какую предложил в «Стансах» Борис Пастернак. Пастернак заставил себя увидеть в Сталине продолжателя, наследника Петра Великого, то есть фактически оправдал, попытался оправдать политику террора:

Столетье с лишним — не вчера,  
А сила прежняя в соблазне  
В надежде славы и добра  
Глядеть на вещи без боязни.  
<...>

Но лишь сейчас сказать пора,  
Величьем дня сравненье разня:  
Начало славных дней Петра  
Мрачили мятежи и казни.

Впрямую Ахматова с Пастернаком не спорит. И не осуждает. Она всего лишь противопоставляет пастернаковскому своему Петру. Ее Петр не император, вздернувший на дыбы Россию, а тот двадцатисемилетний веселый и деятельный царь, который еще в 1799 году, и не где-нибудь, а здесь, в Воронеже, построил и спустил на воду, пока еще речную, первые военные корабли. Царь-мореплаватель. Памятник этому Петру и поставлен в Воронеже. Юный, длинноногий, опирающийся на огромный якорь. В 1942-м немцы скинут бронзовое «многопудье» с пьедестала и увезут в Германию на переплавку. Но пока бронзовый царь стоит «горделиво», таким, каким задуман столетие назад, еще при жизни Пушкина, в 1836-м. А над ним — не только суетливое городское воронье, в его честь сияют вдали, фоном, сквозь снежный туман светло-зеленые купола адмиралтейской, петровской церкви. (Златоглавую Москву Петр не любил, купола петербургских церквей и соборов восхитительно разноцветны.) В 1936-м адмиралтейская церковь еще действовала...

Судя по тексту, «узорные санки» довели Ахматову и сюда, к останкам петровского городка. Если бы А. А., как и хотела, приехала сюда летом, пирамидальные тополя, окружавшие, как почетный караул, «морскую» храмину, может, и удостоились бы сравнения с новобранцами потешной роты «Преображенца» («В Кремле не

надо жить. Преображенец прав»). Однако в зиму 1936 года ей почему-то приходит на память не сторожевая — охранная, а праздничная, пиршественная ассоциация:

И тополя, как сдвинутые чаши,  
Над нами сразу зазвонят сильней,  
Как будто пьют за ликование наше  
На брачном пире тысячи гостей.

Хорошо, кивнет (полуснисходительно) продвинутый *читатель стиха*. Допустим *пированье и почестен пир*. Парализованная страхом жизнь самоубийственна и — кажется — «висит на волоске». Но это там, в столицах, а здесь, в Воронеже, где «Куликовской битвой веют склоны / Могучей, победительной земли», страх как бы отпускает, уступая черед Музе. В честь этой победы и накрывается пиршественный стол. Но почему пир победы над страхом назван брачным? Да еще и ликующим?

Да потому, что в солнечный день 4 марта 1936 года в «узорных санках», опасно заваливающихся на ухабах и склонах «могучей победительной земли», рядом с Анной Ахматовой незримо присутствует Александр Блок, и это его живым, ровным и спокойным голосом озвучены ее любимые стихи из гениального цикла «На поле Куликовом»:

О, Русь моя! Жена моя! До боли  
Нам ясен долгий путь!

А если... А если (по авторской же подсказке) к цепочке зазеркаленных ассоциаций прицепить еще и «прозы пристальной крупницы», которыми так восхищается (у А. А.) Пастернак, не худо бы и припомнить, что именно в 1936-м **наперекор тому**, что творится в стране, выходит в свет последний, двенадцатый (!) том собрания сочинений А. А. Блока! А на подходе юбилейный Пушкин!

Все? Как бы не так! Михаил Кузмин в предисловии к «Вечеру» (1912) недаром писал: «В отличие от других вещелюбов, Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в непонятной связи с переживаемыми моментами». Вот и в «Воронеже». Связь «узорных санок» с Блоком на поверхности: «И вязнут спицы расписные в расхлябанные колеи», то есть и понятно, и наглядно. С тополями, даже по размышлению, все-таки не совсем и не сразу. Оледенелые, после снежного дождя, они слишком уж навязчиво похожи на хрустальные бокалы (ассоциация по сходству), и им вроде бы самое место на пире



поэтов, где как бы председательствует Блок? Ведь это его, Блока, фирменный образ? Знаменитое «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи...» вживлено в нашу память так прочно, что даже Ю. Лотман запомнил, что в пушкинской «Вакхической песне» густое вино разливают не по бокалам, а по стаканам!<sup>1</sup>

В отличие от Лотмана, Ахматова твердо помнит, что у Пушкина не бокалы, а стаканы: «Подыдем стаканы, содвинем их разом!» Отсель и эпитет (в «Воронеже») — «сдвинутые»<sup>2</sup>. Однако и эти простецкие с густым вином холостяцкие стаканы, как и блоковский нарядный хрусталь, отвергнуты как не соответствующие, не связанные с переживаемым моментом. На пиршественном столе Ахматова расставляет чаши. Что это? Откуда? Да из Лермонтова, господа, из Лермонтова! Это он, как и писал Маяковский, «презрев времена», вдруг объявляется на мгновение, чтобы вновь затеряться среди «тысячи гостей»!!! Это его тяжелую, литую, колокольного звона «**чашу для пиров**» держит в руке Муза, являвшаяся к Мандельштаму в пору создания «Воронежских тетрадей».

Бывало, мерный звук твоих могучих слов  
Воспламенял бойца для битвы;  
Он нужен был толпе, как **чаша для пиров**,  
Как фициам в часы молитвы.

<sup>1</sup> Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). Санкт-Петербург: Искусство — СПб., 1994. Во избежание нареканий цитирую слова Лотмана о «Вакхической песне Пушкина»: «Следующий образ — поднятые бокалы с опущенными в них “заветными кольцами” (с. 360). <...> Упоминание античной вакханалии и бокалов, поднятых за здоровье возлюбленных, отсекает всякую возможность понимания текста как масонского» (с. 361).

<sup>2</sup> Тот же образ — «сдвинутые чаши», а значит, и воронежский текст 1936 года, Ахматова припомнит в посвященном Мандельштаму стихотворении двадцать и один год спустя в цикле «Венок мертвым». Без этой оглядки на «Воронеж», на лермонтовские чаши на пиру поэтов и первая строка первой строфы «Венка», и последняя будут непонятны. О каких заветных заметках идет здесь речь? И почему над чудом уцелевшими страницами памяти автор склоняется, как над чашей? Да потому, что в 1957-м, пусть и смутно, но забрезжил рассвет, хотя в 1936-м и казалось, что сталинской ночи не будет конца... Поэтому процитирую и эти стихи:

Я над ними склонюсь как над чашей,  
В них заветных заметок не счесть —  
Окровенной юности нашей  
Это черная нежная весть.  
<...>

Это ключики от квартиры,  
О которой теперь ни гу-гу...  
Это голос таинственной лиры,  
На загробном гостящей лугу.  
1957

Твой стих, как божий дух, носился над толпой;  
И отзыв мыслей благородных  
Звучал, как колокол на башне вечевой,  
Во дни торжеств и бед народных.

Удивительное восьмилетие — с 1906-го по август 1914-го — недаром вошло в историю русской культуры под явно не соответствующим реальной его протяженности названием «Серебряный век». Именно в этот промежуток краткий на национальном горизонте одна за другой вспыхнули несколько поэтических звезд небывалой величины. И, главное, такой яркости и силы, что энергии их свечения хватило на целый некалендарный двадцатый век.

Блок, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам, Маяковский, Есенин...

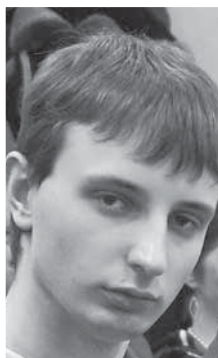
Символично даже число звездных вспышек — семь. Как в Созвездии Плеяд.

В начале века, в пору «тоски по мировой культуре» (слова Мандельштама), в связи с явлением семи великих поэтов вспоминали французский блестящий шестнадцатый век и легендарную группу Плеяды. В случае Ахматовой и тогда, и особенно потом, «после всего», в глухие годы сталинщины, более точным представлялось русское, народное название Плеяд: **Стожары**. Стожары, говорил нам учитель географии, а заодно и астрономии, славны тем, что в безлунные зимние ночи их можно увидеть голыми глазами. По Стожарам, запомните, далекие наши предки определяли, долго ли до рассвета.





**Лоуэлл Ховард МОРРОУ**



**Евгений Никитин — выпускник Института лингвистики и межкультурной коммуникации Московского государственного областного университета. Как переводчик публикуется в «Юности» с 2010 года.**

Продолжение. Начало в № 1 за 2015 год

## **ОМЕГА, ЧЕЛОВЕК**

### **ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ**

**В**ернувшиеся на корабль Омега с Тальмой обозревали мертвый мир, светящиеся и искрящиеся в солнечных бликах соляные кристаллы.

— Станет ли это все когда-нибудь зеленым? Заполнится ли радостью и жизнью? — устало спросила Тальма.

— Почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответил Омега. — Хоть человечество и дошло до последнего рубежа, здесь есть вода. Кто знает, что может случиться, прежде чем она закончится?

Он говорил так только из желания успокоить жену и непрестанно думал о волнении в озере. Что могло послужить его причиной? Что это предвещало? Омега подозревал, что ничего хорошего.

— Мы знаем, что многие века мир был зеленым и прекрасным, полным жизни и радости, — тем не менее продолжал мужчина. — Так почему же он не может возродиться, хоть сейчас и окутан саваном? Давай доверимся нашему сыну.

Тальма не ответила. Омега, видя, что она расстроена, тоже умолк. Так они сидели в воздушном корабле в странном унынии, несмотря на близость живительной влаги, а солнце садилось, паля безоблачное небо и заливая алой лавиной безжизненные

пустоши. Наступила ночь; они все еще сидели неподвижно. Засверкали на пурпурном небосводе звезды, но эти двое не замечали их блеска. Корабль погрузился в тяжелую тишину. Ни один ветерок не нашептывал ночью свое послание, не согревал холодную, заброшенную от полюса до полюса Землю, не охлаждал жару над экватором... Обнаженные горы тянулись в небо суровыми, угрожающими пиками, нависая подобно гигантской чаше над выжженными равнинами, покрытыми многовековым слоем пыли. Длинные тени накрыли долины, улицы мертвых и безмолвных городов, заползли в глубокие ущелья, которые в те дни, когда мир был юн, неустанно подвергались набегам океанских волн. Ни один зверь или птица не нарушали тишину пронзительным криком. Ни одно насекомое не стрекотало. Ни один слизняк не полз по камням. Темная и торжественная, загадочная и недвижная, Земля пребывала в оцепенении всю ночь.

\* \* \*

Утро застало Омегу и Тальму в куда лучшем расположении духа. За завтраком (едой в таблетках) они обсудили свои планы, потом отправились к

смотровой площадке на мостике корабля и осмотрели серый мир. Никаких перемен. Их ждало все то же душераздирающее однообразие смерти. И, тем не менее, они наконец улыбнулись, глядя друг другу в глаза.

— Это дом, — с гордостью объявил Омега. — Наш последний дом.

— Боже, посмотри! — вдруг воскликнула Тальма, сжала его руку и указала дрожащим пальцем на озеро. — Ч-что это?

Он посмотрел туда же и застыл от ужаса и изумления. В центре озера, где днем ранее они застали бурление воды, на поверхность поднималась огромная, покрытая чешуей шея, увенчанная длинной змеевидной головой с красными круглыми глазками, прикрытыми черными веками. Голова монстра раскачивалась из стороны в сторону; черный язык мелькал между распахнутыми челюстями, демонстрируя ряды острых зубов. Возвысившись футов на пятнадцать над поверхностью, жуткие глаза оглядели окрестности. Шея двигалась в унисон с головой. Чешуйки заскользили одна под другую, образуя идеальную броню.

— Плезиозавр! — воскликнул Омега, направив бинокль. — Не может... как это возможно? Они же давным-давно вымерли! К тому же у них была гладкая кожа, а не чешуя сухопутного бронтозавра! Должно быть, это их помесь, дитя эволюции. Как бы то ни было, это явно последний представитель своего вида, приплывший сюда... умереть.

— Он следовал за водой, как и мы, и нашел здесь последнее пристанище, — подтвердила Тальма, тоже взяв бинокль.

Омега выхватил атомный пистолет и нацелил на голову рептилии. Но прежде чем он успел спустить курок, монстр, будто почувствовав опасность, внезапно опустил шею и мгновение спустя скрылся из виду.

— Он исчез! — Тальма дрожала, словно от озноба. Ее глаза округлились от ужаса.

— Он вернется. И тогда мы убьем его, ибо вода принадлежит людям. Несомненно, это гигантское животное — все, что осталось от живой природы, не считая нас самих. Сегодня ночью ты спи в корабле, а я возьму пистолет, укроюсь за камнем на берегу и буду ждать его возвращения. Думаю, когда стемнеет, он выйдет из воды в поисках пищи — наверняка пожрал уже все в озере, кроме мха. И раз он пережил всех, кроме человека, он может выживать столетиями, если мы его не застрелим.

— Но запас воды здесь вовсе не на столетия, — возразила Тальма. — Что до охоты на монстра в одиночку, то и думать не смей! Я пойду с тобой, и мы вместе уничтожим угрозу нашему новому дому.

\* \* \*

Все красноречие Омeги оказалось бессильно. В результате после захода солнца, когда холостой спустился на раскаленные за день камни, они уселись на берегу озера, нетерпеливо ища в неподвижной воде признаки врага. Ничто не тревожило его спокойную гладь. Пара людей ждала, скрючившись за коралловой изгородью, однако на протяжении всей долгой ночи их бдение оставалось напрасным: никто не появлялся в поле зрения. Необычайно крупные и яркие благодаря разреженности атмосферы звезды казались единственной ниточкой между ними и неведомым. Тишину нарушало только их учащенное дыхание и приглушенно-быстрое сердцебиение. Когда солнце вновь взошло над мертвыми пустошами, они, усталые и отчаявшиеся, вернулись на корабль.

Сохраняя бодрый вид ради Тальмы, Омега на самом деле был опечален, хорошо понимая, что если они не расправятся с подводным монстром, им конец. Сам факт, что такое жуткое существо пришло к ним из древнейших времен, поразительно. В это трудно поверить. Тем не менее они видели рептилию, сильно смахивающую на морские чудовища, о которых Омега когда-то слышал. Нельзя было сомневаться в реальности ящера — приходилось готовиться к худшему.

Отчего-то Омега начал размышлять о происхождении своего имени. Когда он родился, на Земле было еще немало народу — обитателей впадин в равнинах Тихого, где сохранилось много воды. Однако с годами засухи стали происходить чаще, а дожди прекратились, прежде чем Омега достиг зрелости. Атмосфера стала столь разреженной — даже у самой земли, что люди с трудом извлекали из нее достаточно кислорода для приготовления пищи — главного источника жизни человека в течение веков.

Постепенно слабые вымерли. Остатки человечества собрались у отступающих вод, предвидя конец, но намереваясь отдалить его как можно больше. Выхода не было. За многие века до рождения Омeги народы, зная, что Земля высыхает, воевали друг с другом за право исхода на другие планеты, чтобы сразиться с тамошними жителями за ресурсы. Войны велись столь жестокие, что из участников выжило не больше трети. Победители колонизировали другие планеты Солнечной системы на космических кораблях, бросив побежденных умирать на Земле. У людей не было иного выбора, кроме как сражаться или ждать конца, ибо ни одно человеческое изобретение не позволяло выйти в холодный дальний космос. Навигация была

возможна только в пределах пляды планет нашей системы. Теперь же каждый член когда-то блистательной пляды вымирал, как и их прародина. Марс, чей красный свет померк навсегда, миллионы лет назад стал могилой могучей цивилизации. Пепел Венеры остыл. Жизнь на Меркурии, Юпитере и Сатурне начала исчезать давным-давно, а ледяные просторы Урана и Нептуна оказались непригодны для колонизации.

Так что, похоже, имя Омега — последней буквы — ему шло. Он содрогнулся от нехороших предчувствий, более сильных, чем когда-либо прежде. Единственное, что давало ему силы жить дальше, — будущее рождение Альфы.

— Пора подготовиться к Альфе, — сказал Омега, пытаясь отринуть неприятные мысли о морском чудище. — Надо активировать слуг. В этой долине должна родиться новая раса людей. Из смерти воспрянет жизнь. Идем, Тальма.

\* \* \*

Женщина, ободренная уверенностью мужа, улыbnулась в ответ. Они вместе вошли в нижний отсек корабля. Там размещались упомянутые слуги — разнообразные механизмы и прочие чудеса конструкторской мысли. Омега нажал на кнопку, и секция корпуса отъехала в сторону. Он нажал на другую — колеса завертелись. В воздух поднялось большое зеркало, и в мгновение ока далекий склон горы стал совсем близким. Все было под контролем. Невидимые атомные лучи сделали всю работу за Омегу. В течение бесчисленных веков человечество покорило атом, разделило, привлекло к делу его электроны. После открытий великого французского ученого Беккереля<sup>1</sup> люди узнали, что потенциал атомов — особенно в радиации — почти безграничен. Они научились контролировать энергию, высвобождающуюся при его распаде. Машины Омеги брали атомы отовсюду, даже из эфира, делили по степени радиоактивности с помощью электромагнитных волн и управляли энергией движущихся по фиксированным орбитам электронов. Из сорока радиоактивных элементов Омега пользовался всеми, уравнивал атомарный вес, будь то ядро водорода или гелия, расщеплял их и управлял электронами. Затем механизмы усиливали заряды и через

электрический ток проецировали их в форме невидимых лучей, которые могли концентрироваться на любом объекте и перемещать его по воле хозяина.

Вскоре на склоне возникло идеально настроенное гигантское параболическое зеркало. С него можно увидеть любую точку Земли, посылая вибрационный ток и репродуцируя записавшееся изображение на поверхность зеркала, в центре которого располагался приемник, способный улавливать даже самые тихие звуки... если бы на Земле оставались их источники.

Маленькие атомные устройства, подпитываемые ядрами водорода, космическим эфиром и радиоактивными элементами любых металлов, теперь стояли на склоне у подножия зеркала. Они могли создавать и фокусировать свет без всяких электрических ламп где и когда угодно. Все эти чудеса работали практически без вмешательства Омеги.

Отчасти могло показаться странным, что греческий алфавит и прочие атрибуты древних пережили античность, но это объяснялось новейшими достижениями человечества. Человек оглянулся на свое далекое прошлое и убедился в бессмертии идей и творений. Все исторические отчеты, все триумфы и поражения, радости, печали и источники вдохновения человеческого рода всплывали на экране механического самописца. Ничто не пропадает бесследно: все звуки и события с самого рождения Земли отпечатались на чувствительном пластике и во всепроникающем эфире. Совсем как фото запечатлевается на пленке, машина запечатлевала историю. Даже жизнь древних всплыла из небытия, ожив на экране устройства. Святые и грешники, рабы и хозяева смешались в толпу. Конфуций смиренно сидел перед Омегой; Гаутама призывал своих последователей быть скромными; Христос умирал на кресте. Полководцы и политики возвещали победными криками о триумфах и горевали над поражениями. Философы изливали мудрость, Сократ пил яд. Ганнибал, Цезарь и Александр командовали сражениями, Наполеон маршировал кровавым бесстрашным походом от Аустерлица до Ватерлоо. Все оживало по зову Омеги.

Продолжение следует.

Перевод с английского Евгения Никитина.

<sup>1</sup> Антуан Анри Беккерель (1852–1908) — французский физик, нобелевский лауреат, один из первооткрывателей радиоактивности (прим. переводчика).



Хелью РЕБАНЕ

Продолжение. Начало в № 7–12 за 2014 год, № 1 за 2015 год

## ПУБЛИЧНОЕ СОКРОВИЩЕ

### ПОВЕСТЬ<sup>1</sup>

Рисунок Настасьи Поповой

#### 24.

Когда я в сопровождении Жан-Клода вышла из собора, уже стемнело. Мы молча прошли до вопиюще скромной округи моей гостиницы, где на горбатых улочках уже зажглись вывески с пульсирующими красным, зеленым, синим неоновыми надписями *Sexe, Sex, Sexy Love*, выведенными кривыми буквами.

На одном из домов я увидела вывеску «Hotel Trocadero». «Трокадеро, да не то», — мысленно буркнула я, следуя за моим кавалером по узкой неровной улице, где время от времени бил в нос все тот же аромат высохшей мочи.

На перекрестке громко переругивались двое наших — мать и дочь. В кои-то веки мне было понятно, о чем речь.

— Мужики не стали за четыреста восемьдесят франков покупать! Трое суток она лучше есть не будет, вот еще! — громко отчитывала дочку тучная низкорослая женщина в пестром платье, с выпирающим животом, с толстыми, как у мясника, руками и химической завивкой на голове.

Красавица дочь, в летнем платьице, с тонюсенькой талией и худыми руками, молча *сиганула* в сторону лестницы, ведущей вверх, на площадку

и к Томасу Куку<sup>2</sup>, где я на днях меняла доллары на франки, вспоминая, что *aborигены съели Кука*<sup>3</sup>. Но то был, по-видимому, другой Кук.

Мать продолжала растерянно тараторить дочери вслед:

— Да, я давлю, я много говорю, подожди, вот что я тебе скажу...

«Ты почти в России, парень», — мысленно сказала я себе. В день моего пятидесятилетия сын сфотографировал меня на Арбате на фоне уличной рекламы сигарет «Мальборо». Нам она показалась *прикольной* — на ней был изображен ковбой, а надпись гласила: «Ты в России, парень!»

Почти в России, если, конечно, отбросить пульсирующие вывески на грязной неровной улице, отмыть тротуар. И заодно — узнать бы, какого жеста ждет от нас мэрия Belle Ville Nice. На мусорных баках везде была приклеена бумажная полоска с воззванием «Je suffit d'un geste!». Подпись: «Mairie de Nice»<sup>4</sup>.

Жан-Клод понял, что мне нужен перевод, когда я указала на высокий бак, который стоял перед

<sup>2</sup> Thomas Cook — туристическая фирма.

<sup>3</sup> Строчка из песни В. Высоцкого. Джеймс Кук (1728–1779) — английский мореплаватель.

<sup>4</sup> Мэрия Ниццы (фр.).

<sup>1</sup> Журнальный вариант. Полный текст повести будет издан отдельной книгой.



одним из этих пульсирующих заведений, но, увы, перевел только с французского на французский.

С внимательным и терпеливым кавалером я рассталась у входа в мою, тоже нервно подмигивающую прохожим, гостиницу. Он, с надеждой глядя на меня, предложил завтра снова встретиться. Отказать ему было невозможно. Один раз я его уже *підманула*, а он все равно на меня вышел. Именно так, по-другому не скажешь. Сколько можно обижать человека? Все равно я послезавтра уезжаю и боюсь ему об этом сказать.

Назначив свидание на вечер и помахав ему на прощание рукой, я поднялась к себе в номер. Мне почему-то вдруг вспомнился совет Раисы: *Сильви, выходите замуж*.

На завтра я составила насыщенную программу. Утром — княжеский дворец Монако, потом Канны. *Поставлю галочку: была*. На местный рынок надо сходить... Вещи следует сложить сегодня.

Я вытряхнула все из синей сумки на кровать, достала одежду из шкафа, проверила ящики комода и принялась аккуратно складывать вещи в нее обратно, радуясь, что успела всем купить подарки. Сыну три модные сорочки, Лене *эффектную* черную футболку с рисунком: золотой женской головкой в широкополой шляпе. Маме эту легкую и красивую синюю сумку на колесиках. У меня было с чем явиться к ним из Франции. А это так приятно. Тете Шуре и тете Альвине — тоже красивые футболки отличного качества. И тут опять наткнулась на мои коробки со стеклянными яйцами...

Одну коробку с так и не пристроенным на продажу большим яйцом *а la Фаберже* я отложила в сторону. Подарю его на прощание Жан-Клоду. Надо отблагодарить за культурную программу и... за минералку. Вот, пригодилось, наконец. А второе подарю в Париже Людовику.

Из карты Парижа выскользнула и упала на пол фотография Стаса. Я подняла ее, прислонила к стакану на столе.

Стас улыбался, глядя прямо на меня карими глазами, *полными жизни и огня*. «*И день сиял, и млели розы, Головки томные клоня, И улыбались сквозь слезы Очами, полными огня*». Эти бунинские строки (уже в который раз!) вспомнились мне, когда я глядела на него. Правда, улыбался Стас отнюдь не *сквозь слезы*, а как *заправский ловелас*. Ему определенно хотелось смутить меня.

Я сложила губы бантиком и чмокнула в воздух, в его сторону. Может быть, в это же мгновение, где-то там, в дождливой Москве, он вздрогнул от моего быстрого, легкого и влажного прикосновения. Может, он даже бессознательно отер губы, чтобы моя неяркая помада его не *скомпромети-*

*ровала*. Говорят, по фотографии можно лечить. Якобы снимок энергетически связан с человеком. А если лечить можно, то почему же нельзя целовать?

Не знаю, понравилась Стасу моя *фривольность* или нет, но я вдруг подумала, что больше не боюсь его. Не означает ли это, что... *любовь пошла на убыль?*

\* \* \*

«Скоро! Я снова увижу Париж!» — была моя первая мысль, когда я утром открыла глаза. «А где же *снег?*» — вторая.

Столик в коридоре исчез. Они уехали, поняла я. Наверное, мальтийских католиков увез тот высокий автобус с белой крышей и надписью «*Traffalgar*». О, Мария Магдалина! Я уже привыкла, что по утрам в коридоре за моей дверью служат мессу. Мне внезапно взгрустнулось.

В столовой из пятнадцати столиков было накрыто только пять. Что же ты, мой пастор, зачем ты покинул меня, лишь наполовину обратив в свою веру?

В дверях столовой появился чернокожий мужчина. Вот у кого был *прикольный* вид! На нем был *малиновый* комбинезон в серую полоску и бледно-малиновая рубашка в серую клетку, лицо — крупное, длинное, *лошадиное*. Обмениваясь с ним *бонжу-у-ур*, я невольно расплылась в улыбке.

Я неторопливо пила невкусный кофе, ела поджаренный тост с джемом — скудный двухзвездочный завтрак. Зачем спешить на улицу, где со всех сторон ко мне станут опять стекаться чересчур молодые, или слишком старые, или слишком жадные, или беспольные кандидаты в *любовники?*

Мужчины, подобно московским бомжам (те появлялись у мусорки мгновенно, стоило лишь оставить там какой-нибудь обнадеживающий пакет), казалось, сидели на невидимых холмах и, как горные орлы, высматривали *легкую добычу*, опознавая ее с ходу.

Зачем давать судьбе шанс снова и снова разочаровывать меня? *Судьба и на печи найдет*, как когда-то изрекла подруга моей соседки Вали. Я не фаталистка, но, если вдуматься, именно *на печи* она меня однажды уже разыскала. В институте, куда я пришла на работу и где тогда работал Стас. Я встретила его без всяких *дансингов*. Похоже, место *службы* и есть современная *печь* для тех, кто не утруждает себя поисками.

Странно, но тщательно продуманный вечером план вызвал поутру у меня чувство внутреннего протеста. Против *ущемления моей свободы*.

Пусть и составленный мною, но он *обязывал*. Поэтому вместо вокзала я первым делом пошла на рынок, где ничего особенного не увидела. Только вот цены. Все было гораздо дешевле, чем в овощном ларьке, расположенном неподалеку от гостиницы. Я купила там свернутый конусом пакетик крупной, прямо-таки гигантской ежевики и, рассудив, что здешнее беспощадное солнце убило на ней всех микробов, принялась ее есть прямо на ходу, быстро шагая в сторону мэрии, чтобы поставить еще одну *галочку*.

Перед зданием мэрии, построенным в стиле неоклассицизма (я вычитала это в путеводителе), бил большой круглый фонтан. Последовав примеру других туристов, села на его широкий каменный край, под *сень* туманной пыли брызг.

«Неоклассицизм... — думала я, доедая ежевику и разглядывая то свои синие от ягод пальцы, то строгое здание мэрии. — В чем разница с просто классицизмом? Тебе придется выучить еще немало, — сказала я себе. — Если мама в семьдесят пять смогла подучить английский, чтобы объясняться со своими американскими квартирантками, то и ты сможешь освоить стили архитектуры, выучить французский, усовершенствовать английский, а также... нет, итальянский учить не буду». Меня явно снова обуревал неоправданный оптимизм.

Вдруг мое сердце екнуло. Вдали появился... мой сын. Высокий, молодой, красивый, в модных парусиновых *бермудах* по колено, с чистыми, зачесанными за уши густыми волосами. Нет, конечно же, я обозналась... Но именно в этот момент, окуная перепачканные ежевикой ладони в прохладную воду фонтана, я поняла, как соскучилась по дому. И это всего-навсего за две недели. А главное — *где*. Если бы меня сейчас спросили, что я делаю здесь, сидя на каменном краю фонтана, я ответила бы, как недавно в Риге в ночном «Макдоналдсе»: «Тоскую по родине». И теперь я уже точно знала, где она, *моя родина*.

На вокзале, снова наперекор себе, я села в поезд, который шел не в Монако, а в противоположную сторону — в Канны. Конечно, расстояние небольшое, как в Москве от станции метро «Юго-Западная» до станции «Медведково». Минут сорок. Но здесь оно почему-то казалось значительным.

\* \* \*

Поезд следовал через Канны в Бордо. «А что, может, доехать до Бордо? — подумала я, но тут же приказала себе: — В Канны, этакая ты *буриданова ослица*, времени у тебя в обрез».

Поезд мчался почти по самой кромке моря. Высокая Английская набережная Ниццы, как и все в этой жизни, имела конец.

В Каннах я первым делом быстрым шагом почти *сбегала* в Старый город, поднялась на смотровую площадку у башни Ле Сюке, откуда, как обещал путеводитель, открывается панорамный вид на город (так оно и было), сфотографировала этот вид под чириканье то ли японок, то ли китайок, которые тоже оказались здесь, в этом многолюдном почему-то городе, и *припустила* вниз, в сторону набережной Круазет, к Дворцу кинофестивалей, из-за которого, собственно, и приехала.

Навстречу мне в гору поднималась высокая молодая женщина в шортах, ничем не примечательная, кроме того, что перед ней на туго натянутых поводках бежали два миниатюрных *кабыздоха*. «Вот бы и мне такую собачонку!» — подумала я, глядя на этих *очаровашек* и расплываясь в улыбке. Их хозяйка улыбнулась мне, а я на своем *превосходном* английском, спросила, что за порода. Слова «порода» я, конечно же, не знала.

— Бассет-хаунд?<sup>1</sup> — спросила я, ткнув пальцем в сторону очаровашек.

— Йоркшир-терьер, — ответила она, когда перестала смеяться.

Таким, окольным, путем тоже можно многое узнать.

Дворец кинофестивалей в Каннах я нашла легко, спросив у нее же, «у э Круазет?»<sup>2</sup>.

На набережной Круазет было пустынно, безлюдно. *Дворец*, без церемонии вручения кинопремий, тоже ничем не поразил мое воображение. Он, скорее, являл собой ярчайший пример того, как можно разрекламировать на весь мир нечто, что того совсем не стоит.

«Все-таки, — подумала я, опускаясь на синий колченогий стул, кем-то забытый на песке неподалеку, — *вторая сигнальная система* преобладает над зрением. Тот, кто делает на нее ставку, не ошибется».

Мне вспомнилось, как однажды, уча дочурку Лены переходить улицу на зеленый свет, я в шутку сказала ей: «Зеленый!», хотя горел красный. И что вы думаете? Женщина, стоявшая рядом с нами у перехода, тут же смело шагнула на мостовую, на смерть перепугав меня тем, что попадет по моей

<sup>1</sup> Коротконогая гончая массивного сложения.

<sup>2</sup> Набережная Круазет (Promenade de la Croisette, Бульвар де ля Круазет, фр. Promenade de la Croisette) — известный бульвар вдоль побережья Канн (Франция), разбитый на месте древней дороги под названием Путь малого креста.

вине под машину. А кроха сказала возмущенно: «Нет, тетя Сильви! Красный!» Ребенка не проведешь. Вывод: вторая сигнальная превалирует у взрослых... женщин?

Да, знаменитый Дворец кинофестивалей... Выглядело все это примерно как Дворец съездов в Москве: много бетона и стекла. К парадному входу вела широкая лестница. *Та самая*. Я снова достала путеводитель и узнала, что лестница называется *лестницей успеха*, где выстилают знаменитую красную ковровую дорожку, и что «деятели культуры Франции возмутились вмешательством Муссолини и Геббельса в организацию Венецианского кинофестиваля и решили организовать всемирный киносмотр во Франции. Но 1 сентября 1939 года, в день запланированного открытия, нацистская Германия вторглась в Польшу. Началась война, празднество отменили. Первый фестиваль состоялся после войны. Здесь обрели всемирное признание фильмы Феллини, Бергмана, Антониони, Вайды, Куросавы».

Мне взгрустнулось. Их имена так много говорили моему сердцу. Имена моей юности... Дальше я вычитала, что именно здесь, в 1955-м, монашеский князь Ренье встретил американскую актрису Грейс Келли. Через год они поженились. Грустно было, сидя здесь, на пустынном пляже перед дворцом, думать о том, как красиво все это было, как здесь кипела жизнь, как неулыбчивый князь заметил красавицу Грейс (на фотографиях она всегда улыбается, а он стоит хмурый), которая после свадьбы забросила карьеру в угоду ему и семье. Печально вдвойне — зная, как все закончилось: падением автомобиля со скалы и гибелью Грейс. Какая-то особенная несправедливость судьбы виделась мне в трагической смерти такой потрясающей красавицы в *расцвете лет* (как я считаю *телерь*) — в пятьдесят три... Впрочем, надо мчаться в Монако, если я хочу еще успеть занять очередь в кассы княжеского дворца.

Я сунула путеводитель в сумку и снова поразила, что на *шикарном курорте* так пустынно. Никто не купался. На пляже (а он был чудесный, не галечный, как в Ницце, а песочный) не было людей.

«Может, не только останкинская башня сгорела? — закралось у меня вдруг тревожное подозрение. — Может быть, вообще произошла какая-то грандиозная экологическая катастрофа? Газет я здесь не читаю, телевизор не смотрю...»

Вдали на рейде стояли белые корабли. Их было много, у них был какой-то суровый вид. «Может, началась третья мировая война, а я и это проморгала?» — с замиранием сердца подумала я.

Вдруг до меня дошло. Ведь сегодня уже тридцать первое! Закрытие сезона. Все упаковали свои чемоданы на колесиках и разъехались по домам.

Начал накрапывать дождик. Точь-в-точь как в Пярну или Юрмале... Я поднялась со стула и направилась по набережной Круазет туда, где виднелись высокие роскошные здания гостиниц. Посмотреть на фешенебельный отель «Карлтон».

Нигде ни души. В витрине магазина Escada стояли совершенно голые манекены. Их обнаженные *твердокаменные* груди были такой идеальной формы, какую крайне редко встретишь в бане или на Public Plage. У некоторых из них были откручены руки-ноги, они валялись здесь же, на полу витрины. У манекенов были холодные, *бездушные* лица. Они не вызывали жалости. «Лазурный берег, — понимающе вздохнула я. — Здесь даже манекены оголили груди».

Зайдя внутрь и увидев на первом же платье, привлечшем мое внимание, ценник 3900 F, я мгновенно ретировалась, невзирая на то, что ко мне подошла элегантная продавщица в серой юбке и розовой блузке, в серых туфлях на высоких каблуках-шпильках, тоже почти *двумерная*, как те японки-китайки-корейки на башне Ле Сюке. На свой вопрос она услышала от меня в ответ лишь *мерси и оревуар*.

Дождь усиливался, и на пути к вокзалу я зашла в церковь, чтобы переждать его. Пузыри на лужах говорили о том, что он задалил ненадолго. Здесь тоже было безлюдно. Только я и одна афрофранцуженка. Как я не увливалась от посещения центра Жоржа Помпиду, оправданно подозревая, что нарвусь там на картины Фернана Леже, которого терпеть не могу, ультрасовременная живопись настигла меня и здесь. Гора сама притопала к Магometу. У Мадонны и младенца были цилиндрические руки и ноги, локти конические, головы — яйца. Ну, хотя бы *не Леже*.

В церкви чувствовалась надежность, царила прохлада. «Возможно, сюда не проникает радиация», — подумалось мне. Мысли о третьей мировой войне почему-то не покидали меня в этом пустынном городе.

Дождь, действительно, вскоре утих, на улице снова сиял такой же, привычный для этих мест, солнечный день.

Я поспешила в сторону вокзала, заскочила попутно в *Буланжери*, *сломалась* там на огромной плетеной, невероятно вкусной булке, которую ела уже на бегу. Пробегая мимо какого-то памятника, по-видимому, павшим (?) во Второй мировой войне, я осознала, что для *них* здесь война длилась дольше, она началась отнюдь не в 41-м. На

памятнике были цифры 1939–1945. Реалии здесь были иные. «Но встреча на Эльбе, безусловно, и для них *была*», — подумала я.

На старом доме недалеко от вокзала мне бросилась в глаза разрисованная граффити стена. Почему-то граффити у меня упорно ассоциируется с хулиганством. Сама не знаю почему. Хотя здесь были рисунки, которые вполне могли бы нарисовать дети или же художник-примитивист. Но все равно, без граффити, как в Монако, жить лучше...

Мне повезло: мой поезд отправился через десять минут. Я успела и в очередь, и во дворец, куда впускали порциями по двадцать человек.

Из очереди я ненадолго отлучилась, чтобы позвонить Стасу.

— Как там башня? — спросила я.

— Чинят.

— А я стою в Монте-Карло, на площади перед княжеским дворцом, чудесный солнечный день, вдали виднеются приморские Альпы, — принялась вдруг расписывать я. — Птички поют...

Тут я прикусила язык, так как (или мне это почувдилось?) в его голосе прозвучало нечто, похожее на... *зависть*, когда он произнес:

— А у нас тут не перестает хлестать дождь.

Чтобы он да позавидовал мне... Ему ничто не мешает поехать в любую страну, остановиться, например, в Каннах в том же «Карлтоне»...

Впрочем, *показалось*. Он тут же завершил разговор своим обычным «не трать деньги». Нет чтобы сказать «поговори со мной подольше».

Княжеский дворец, хоть и светлый, красивый, старинный, впечатлил меня не больше, чем Дворец кинофестивалей. С Версалем он сравниться никак не мог.

Зато небольшой музей рядом с ним, куда я зашла после посещения дворца, произвел на меня неизгладимое впечатление. По несколько странной причине. Там во всю высокую стену была изложена родословная княжеского рода, которую я принялась списывать (интересно, зачем?) в свой блокнот, купленный здесь же, в сувенирном ларьке. Попутно я отметила, что *князья жили недолго*.

Занятие утомительное: династия Гримальди вела свою родословную с тринадцатого века. Я терпеливо добралась до нынешнего правителя Монако, Райнера Третьего, который и женился на Грейс Патрисии Келли (1929–1982), а от них родились: 1 февраля 1965-го — Stephany, 23 января 1957-го — Caroline и 14 марта 1958-го — Albert.

«Что ж, — мысленно вздохнула я, — перед тем как погибнуть, Грейс успела пустить целых три ростка, покинула их уже взрослыми, возможно, миссия ее была выполнена...»

Внезапно я кожей почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд (клянусь, на мне был не полупрозрачный *регулятор одиночества*, а скромная футболка). Обернувшись в ту сторону, откуда шли эти вполне *ощутимые флюиды*, я замерла.

Наполеон стоял в бархатном балахоне, в белых перчатках, в горностаевой белой мантии с черными хвостиками, гордо опираясь на скипетр, и в упор смотрел на меня. Его взгляд... Я даже знаю, что сказала бы моя кузина Лена, если бы я показала ей этот портрет: *не люблю наглых*.

«Не уверена, — думала я, унося ноги из-под *магии взгляда*, — что смогла бы ему отказать... а главное — не уверена, что мне *хотелось бы это сделать*».

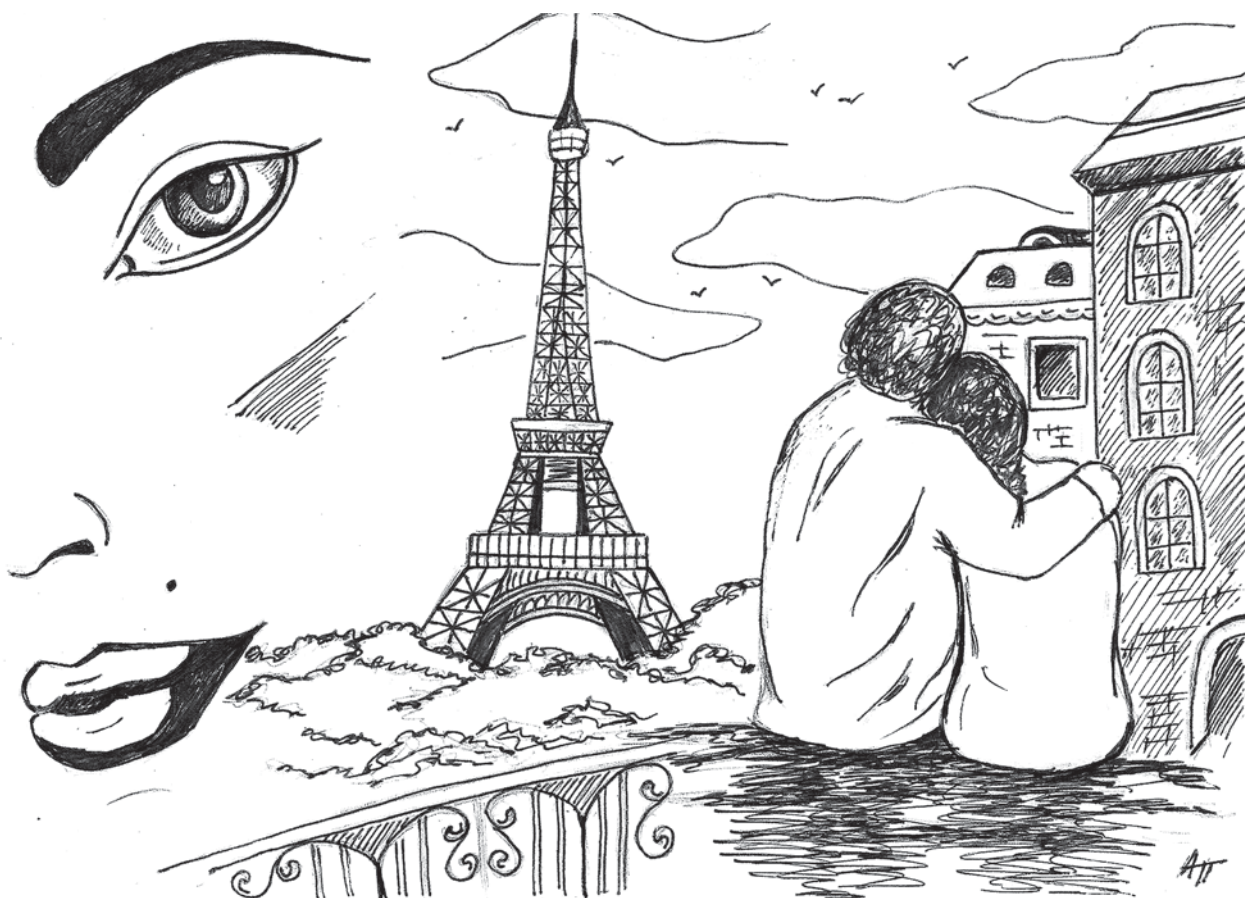
Конечно же, я снова уселась за «мраморный» столик в уличном кафе, конечно, снова заказала и кофе, и коктейль, хотя в налоговом раю все это стоило гораздо дороже, чем в Ницце. Путешествие мое подошло к концу. Завтра мне уезжать. Я понимала, что здесь в первый и последний раз, и пыталась сохранить в памяти, запечатлеть все. Вспоминала запотевшие бутылки с водой у Chez Танга. Женщину в белом на пустынном пляже в Юрмале, загорелую проститутку в белом в Париже на углу рю Пигаль, себя в белой юбке на белокаменном кладбище... Да, у меня все было не так и не тогда. Я оказывалась либо в правильное время в неправильном месте, либо в неправильное — в правильном... но, тем не менее, иногда, очень редко, *sometimes*, что в переводе означает «временами», — я чувствовала себя очень, очень счастливой.

Солнце скользнуло за горный хребет. Сразу стемнело. Вдали, на противоположном склоне горы в роскошном казино «Монте-Карло», и далеко внизу, на яхтах, зажглись огни.

Я шла вниз *со скалы*, чувствуя, как камни гладкой булыжной мостовой возвращают воздуху дневное тепло. Взошла луна, напялив бледную маску, подаренную солнцем. Повсюду в этом крохотном богатейшем государстве, прилепившемся к склонам горы, мерцали гирлянды огней-светлячков.

Внезапно, словно моя душа уже отделилась от тела и парила высоко над землей — где-то в космосе, я увидела, как в казино «Монте-Карло» и «Руль» крутятся столики, как в Доме инвалидов в семи гробах, вставленных друг в друга подобно матрешкам, лежит и крутится вместе с земным шаром прах Наполеона, в Риге в художественном салоне подсчитывает дневную выручку Раса, в Вильнюсе Зина с голубыми волосами наливает посетителям буфета кофе и спрашивает: «Хле-





бушка?», Валя в Москве засовывает в рот своей неласковой кошке кусочек отварного хека, в Париже на углу рю Пигалье стоит в ожидании клиентов загорелая проститутка в белом... А в своем кабинете, склонившись над бумагами, сидит мой любимый. Все это происходило *одновременно*, предстало перед моим внутренним взором, все несло куда-то, тепло порождало холод, холод — тепло...

\* \* \*

Когда я вернулась в гостиницу, в холле на диване меня дожидался Жан-Клод. Чемодан мой был, к счастью, сложен, я лишь поднялась в номер, прихватила с собой коробку с самым большим и красивым яйцом и беззаботно отправилась на прогулку. Почему бы не провести последний вечер в Ницце не в одиночестве? С Жаном можно было почувствовать себя спокойно.

Проходя мимо казино «Руль», вход которого тоже празднично горел пунктиром огоньков, я в шутку предложила:

— Пойдем выиграем денег.

Он понял меня так, что я спрашиваю, есть ли у нас деньги, чтобы сходить сыграть, и нахмурился.

А ведь и правда, денег осталось у меня ровно столько, чтобы доехать до Парижа, а там добраться на такси до аэропорта. Я серьезно и отрицательно покачала головой.

Несмотря на сложности с языком, я прекрасно поняла, что его бывшая жена живет в Париже, их сыну семнадцать лет.

Когда он спросил, сколько лет моему сыну, я сразу опознала такой же обходной путь, как утром у меня с *бассет-хаундом*. Тебе нужна одна информация, а ты спрашиваешь о другой и по ней вычисляешь то, что тебе нужно. У меня было еще слишком свежо в памяти, как разочарован был моим ответом *наш Бельмондо*, которого я встретила на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа<sup>1</sup>, когда честно сказала, сколько мне. Если для мужчин так важен *год выпуска*, то просто бесчеловечно наносить психотравму.

<sup>1</sup> Подробности в главе, пропущенной в журнальном варианте повести.



Я омолодила сына на целых семь лет и осталась собой очень довольна. Мужчины, не жалуйтесь, что мы обманщицы! Это вы сделали нас такими.

Мы уже дошли почти до набережной, как Жан-Клод вдруг предложил отведать мороженого из уличного автомата и даже расплатился за него. Я, зная, что в моем пакете с Дедом Морозом (именно такой почему-то подвернулся мне под руки, когда я в спешке выезжала в Москве в аэропорт) лежит для него стеклянное яйцо, которое стоит в Париже ни много ни мало тысячу долларов, смело позволила себя угостить.

Мороженое было препротивное, водянистое, и я честно выбросила его в ближайшую урну. Не он же его готовил, как те грибы с песком.

А мой французский ухажер лакомился им как ни в чем не бывало.

Я смотрела на этого несчастного, который в час ночи ел водянистое мороженое, и думала: «Ты ешь не то и говоришь не то. Тебе меня не победить. А я — женщина. Я следую за победителем...»

Дойдя до набережной, мы спустились вниз, к кромке воды, нашли два неказистых стула и сели.

Глядя на море, на волны, которые, шумя и разбиваясь о берег, продолжали неутомимо шлифовать гальку, я снова задала ему вчерашний вопрос.

— Что это такое — Public Tresor? — спросила я, как капризный ребенок, которого не так-то просто сбить с толку.

Он рассмеялся. Он не понимал английский язык, но моя мимика была ему понятна. И он снова принялся мне по-французски растолковывать, что это означает. И я снова решительно ничего не поняла.

В два часа ночи мы расстались перед входом моей нервно подмигивающей прохожим гостиницы. При расставании Жан-Клод вел себя корректно, не напрашивался в *бедрум*, не пытался поцеловать меня. Он лишь скромно предложил зайти за мной, предварительно позвонив завтра в одиннадцать утра. И я, конечно же, согласилась...

Он уже хотел идти, но я остановила его. Порывшись в новогоднем пакете, я достала коробку с самым красивым яйцом лже-Фаберже и протянула ему. Он удивленно посмотрел на меня. Мигающие лампочки над входом в «Нормандию» бросали на его лицо пульсирующие блики, подмигивали мне в стеклах его очков.

— Гранмерси, Жан-Клод, — сказала я. И добавила, совершив ловкий пируэт языком: — Орев-вар.

Какая красота в коробке, он увидит, уже придя домой.

Я улыбнулась и помахала ему напоследок. Совесть меня почти не мучила. Такой роскошный по-

дарок. Он заменит ему роскошь человеческого общения со мной.

Войдя в прохладный холл, я увидела, что часы над ресепшен показывают два ночи. Попросила дремлющего на стуле за стойкой афрофранцуза-администратора разбудить меня в семь. Он сонно улыбнулся мне и услужливо включил будильник-автомат.

## 25.

Но проснулась я сама, в половине седьмого, и ощутила знакомое уже отвращение к жизни. Почему? Потому что снова что-то кончилось? Потому что мы не властны остановить бег времени? Или просто потому, что не выпалась?

Я нервничала, словно TGV был Летучий голландец, которого нельзя проморгать, надо ловить. Я снова боялась, что перепутаю вокзал, время или поезд и уеду не в сторону Антиба, Канн и Парижа, а в сторону Монако, казино «Монте-Карло» и прозрачных килек, ходящих вниз головой.

С такой психологией лучше сидеть дома, на печи. А судьба найдет.

По пути на вокзал мне повстречались трое *наших*. Мужчина в шортах и две женщины в летних платьях на бретельках. Было ясно, что они только что прибыли. Их лица, плечи и ноги были белы, как рыбий живот. Они оживленно беседовали между собой.

— Сразу же сходим на базар, — сказал мужчина.

«Правильно. Там все в пять раз дешевле», — мысленно одобрила я, *старожил*.

Я шла, волоча вверх по улице толстую синюю набитую до отказа одеждой и сувенирами собаку-сумку, мимоходом кося глазом на свое отражение в узких зеркалах на углах домов. На голове — белая плетеная летняя шляпка, на шее нитка жемчуга. Белая узкая юбка, белая блузка. *Женщина в белом*. И ярко-синяя сумка. Это было элегантно, как пляж отеля Le Meridien. Возможно, это было даже опасно для окружающих... Бедный Жан-Клод! Но все же далеко не так опасно, как казино.

В уже знакомом небольшом белом, очень провинциальном здании вокзала на меня восторженно уставился рослый молодой человек. Он куда-то спешил, но, увидев меня, резко притормозил, заулыбался и воскликнул: «Бриджит Бардо de Nice!»

По-видимому, я ежедневно нуждаюсь в напоминании, что я себя «недооце». Получив от него этот *допинг*, я вдруг, как зомби, направилась к те-

лефону-автомату у газетного ларька. Помимо газет и открыток там, как и в Риге, Таллине, Москве, торговали «сникерсами» и «марсами».

Мне повезло. На работе Стаса не оказалось. Что и неудивительно. В десять утра он еще мирно спит. Мою эйфорию как рукой сняло, и я поежилась, осознав, какую чуть не совершила ошибку. Наверняка я, как идиотка, процитировала бы ему сказанное французом.

Летучего Голландца ловить не пришлось. Поезд TGV смиренно стоял, дожидаясь пассажиров. До отправления оставалось целых пятьдесят минут.

— А Пари? — спросила я у первого встречного на перроне, махнув рукой в сторону поезда.

— А Paris, — подтвердили мне.

Я заняла свое (так мне казалось) место номер тридцать восемь, у окна. Правда, меня сразу же несколько удивило, что в вагоне для курильщиков никто не курит. Куревом здесь и не пахло.

Я посмотрела на часы на своей, теперь уже красивой (после того, как слезла обгоревшая кожа) загорелой руке. Десять минут одиннадцатого. Жан-Клод уже встал, скоро он позвонит мне в гостиницу, в которой меня нет. Может, все-таки следовало расстроиться его вчера вечером? Но у него было такое хорошее настроение...

Дожидаясь отправления поезда, я смотрела в окно. Мое утреннее внезапное отвращение к жизни улетучилось. Его сменила грусть. «Прощай, Ницца. Прощай, море, синее, как гуашь. Прощайте, “Негреско”, Раиса, Томас Кук, “Sexu love”! Прощай, маска. Я так и не узнала, мужчина ты или женщина. Прощай, дорогой Танг!» — печально думала я, глядя на перрон, где стали уже появляться пассажиры и провожающие.

Кто-то тихонечко постучал в мое окно. «Жан-Клод!» — промелькнуло на секунду в моей голове невероятное предположение. Но что тут такого уж невероятного? Оказался же он на пустынном вокзале Монако, в половине одиннадцатого вечера...

Но нет, стучали не мне.

Испытав чувство разочарования (по-видимому, вопреки всякой логике, теперь я желала, чтобы он бежал вдогонку за поездом), я невольно задалась вопросом: а если бы с тобой кто-нибудь так поступил? Или с твоим сыном? Кто тебе сказал, что в поединке полов все дозволено? Это ведь он отвел тебя в красивую старинную церковь святителя Николая — проявил о тебе заботу. Почему ты так по-хамски ведешь себя с совершенно незнакомыми мужчинами? За что, собственно говоря, ты им мстишь? Ведь никогда, ни при каких обстоятельствах ты не поступила бы так с женщиной. И что у тебя за торгашеский подход — я

тебя обманула, уехала, ничего не сказав, но откупилась яйцом, которое в оптовый день на вернисаже в Измайлове стоит тридцать долларов, а в Париже тысячу?

Я вытащила из ручки кресла компактно упакованный серый металлический столик, разложила его, положила на него ладони и дала себе клятву больше никогда не обманывать мужчин. Не откупаться потом яйцами лже-Фаберже. Это, в конце концов, даже дешевле. Уезжаешь завтра — значит, завтра. Через пять минут — значит, через пять минут. Ну и что, что сами они необязательны. Что у них выключен мобильный телефон, когда ты их ждешь. А ты такую не будь. Не увеличивай суммарное количество разочарований в мире. Несмотря ни на что. Несмотря на все. И выучи французский язык, а не злись, что Жан-Клод не выучил английский.

Рядом со мной появилась и уселась в соседнее кресло маленькая курчавая афрофранцуженка лет тридцати пяти. Мы приветливо молча поулыбались друг другу. Перрон поплыл. Я стала смотреть в окно на уплывающие окраины Ниццы, соседка в поисках чего-то начала шуршать полиэтиленовыми пакетами.

...По-видимому, Стас, будучи опытным мужчиной, сразу понял, что меня нужно мучить, подумала я. Он знал, как я опасна. Потому что я — самая обыкновенная женщина. Женщину следует мучить. Иначе она непременно будет мучить сама.

От моих мыслей меня отвлекла проводница. Я и не заметила, когда она ко мне подошла. Рядом с ней стояла пожилая француженка, пассажирка. Обе смотрели на меня. С претензией во взоре. Проводница сказала мне что-то непонятное.

Так я и знала. Я сижу на тридцать восьмом месте, как и обозначено в билете. Но все равно что-то не так?! Я категорично заявила, что место — мое. Это пожилая дама все перепутала. Я молниеносно последовала примеру Вольфа Мессинга, который, говорят, загипнотизировал кондуктора, предъявив ему вместо билета клочок бумаги. Внушение подействовало, так как в тот момент я сама еще верила, что права. Темнокожая соседка с энтузиазмом поддержала меня.

Наглость, даже нечаянная, действительно второе счастье. Не мне, а француженке подыскали другое место. В свое оправдание скажу, что треть мест в вагоне пустовало.

Когда даму увели, у меня забрезжило сомнение, что все-таки что-то не так. Не могло же у меня все совпасть — и Bar-Bar-Bar, и Money-Maker, и три семерки!

Я стала вникать, в чем суть, и тут же разрушила веру, собой же созданную. Никогда не вникайте ни во что, если все идет так, как вам надо. Сидя на лазурном берегу, не малюйте себе картины, какие рыбы с человеческим лицом, с застывшим на нем презрительным выражением, плавают на глубине тридцати или сорока метров. Какие там расхаживают странные подводные кузнечики. И какие прозрачные кильки там стоят на голове...

Усадив даму недалеко от нас, француженка-проводница вернулась и терпеливо объяснила мне, что место мое, это да. Вот только вагон не тот. Как я поняла позже, и поезд все-таки не тот. Хотя движется в сторону Парижа. Спасибо и на этом.

Из оживленных переговоров нависшей над моей головой проводницы и темнокожей соседки (та *грудью* встала на мою защиту) я уловила, что когда поезд прибудет в Сен-Рафаэль,

должно что-то произойти. Может быть, наш вагон отцепят. Ведь, например, псковские вагоны состава Москва — Таллин оставались в Пскове. Я представила себе, как два сцепленных TGV расцепят и они разбегутся на радостях в разные стороны. Мне придется выйти. Что ж, может быть, какой-нибудь шофер, тоже смахивающий на Шарля де Голля, сжалится надо мной и отвезет в Париж. За сто франков и пару оставшихся яиц а la Фаберже.

Я тяжело вздохнула. Не следует, тем более когда тебе уже за пятьдесят, менять свои привычки. Прибегаешь всегда за три минуты до отправления — вот и прибегай. Уже подали бы и второй TGV. Исходя из опыта, полученного в Gar du Lyon при отъезде из Парижа, я задалась бы вопросом, в какой из них сесть.

А если подумать... Стас тоже теперь моя привычка. Возможно, вредная, да. Но моя.

Продолжение следует.



**Дмитрий МИЛОВ**

**Дмитрий Милов — член Союза писателей России. Автор поэтических книг «Над временем», «Между двумя». Лауреат многих литературных наград Московской городской организации Союза писателей России. Обладатель премии «Лучшая книга года».**

\* \* \*

Возможно, проснувшись однажды с утра,  
Придешь к пониманию сути добра,  
Где тьма продолжается светом...

И если все время нещадно везло,  
Прими это как неизбежное зло.  
И больше не будем об этом...

\* \* \*

Был сон недолгий в полудреме,  
Парад планет...  
Как будто мы в холодном доме  
И света нет...

На небе равенство величий —  
Тиши струна,  
Сове в зрачок, большой и птичий,  
Вросла Луна...

Ну, здравствуй, белая невеста, —  
Слепая грусть,  
Все покидают это место,  
А я вернусь.

И в гомон леса постепенный  
Войду с трудом,  
Как в сон на выселках Вселенной,  
В холодный дом...

\* \* \*

Все началось с бамбукового леса,  
С луны ополовиненной кирки,  
Холодным окунем в ночи плыла завеса,  
Напомнив о присутствии реки.

Как ни хитри с вопросом: «Чего ради?»,  
Мы не пойдем устройств — ни ты, ни я,  
И олово всеотражавшей глади  
Не выльется из формы бытия.  
С какими бы ты силами ни ладил...

г. Москва



**Нора НИКАНОРОВА**

**Нора Никанорова (настоящее имя Лариса Потрехалкина) родилась в Москве. Пишет стихи более двадцати пяти лет. Окончила с отличием МСХА имени Тимирязева (экономический факультет), Московский литературный институт имени А. М. Горького (Высшие литературные курсы), член Московской городской организации Союза писателей России. Выпустила две книги стихов: «Мартовские предания» (2005) и «Субтитры» (2009), автор многочисленных публикаций в периодике и сетевых изданиях.**

#### **У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ**

Не слышать мой плач, не видеть мой сон.  
Голова в огне, да сама как лед.  
На столе калач, из окна — лесок.  
Так не скоро снег, а быстрей бы лег.

Завела б метель песню пьяную.  
Затрещала б печь берестяною.  
Сколько ждать недель? В небо гляну я —  
Небо цвета беж. Грузно-зябкое.

На плечах — платок, на душе — валун.  
То ли вилы в бок, то ли — в хоровод.  
Торопись, мой бог, на заветный луг.  
Да неси оброк — грех и приворот.

Нет — сломаюсь я. Хвоей опаду.  
Не к твоим ногам — во бору, средь ям.  
Воля бы моя: вон он — соли пуд.  
Вдосталь на века... Да не трону я.

Мать приданое до рассвета шьет.  
Говорит: «Жених-то не шибко скор».  
Я ведь манна, мам. Поблудит — придет.  
Ведь еще никто не покинул бор.

#### **ЧЕРЕЗГОЛОСИЦА**

Очерчивать морщинки указательным  
И прикасаться бережно к губам.  
Искать слова совсем необязательно:  
Любая речь окажется груба  
И несоизмерима с чувством нежности,  
Поднявшейся из каменных глубин, —  
На равные строптивца не режется,  
Всегда внакладе кто-нибудь один.  
А может, это только и покажется:  
Без меры не понять, насколько чтим.  
Но мера там, где братина и бражица,  
А вот любовь не жалует почти:  
Ей хочется роскошествовать огненно —  
Границы не имея, трепеща,  
Все отдавать и возвращать, что отдано,  
Сторицею — теплом не обнищать.  
Все сказано давно, осталось долгое,  
Рифмованное эхо тех речей.  
Прощай меня, покуда не умолкну я,  
Заснув под утро на твоём плече.

г. Москва




**Дмитрий БАТРАКОВ**

Дмитрий Батраков родился в 1983 году в Москве. Член Московской городской организации Союза писателей России, литературных объединений «Ясноцвет» и «Избранники муз». Автор книги стихотворений «Апостолы» (2011).

### КРЕЩЕНИЕ

Этот праздник чист и свят,  
 По углам иконы спят,  
 И по небу молод, бос,  
 Шествует Иисус Христос!  
 Этот праздник чист и свят,  
 И Господь наш не распят,  
 С дивным блеском юных глаз  
 Он с небес глядит на нас!  
 Этот праздник чист и свят,  
 В сердце огоньки горят,  
 Голос призрачной души  
 Гимн поет в ночной тиши.  
 Этот праздник чист и свят,  
 Становитесь, звезды, в ряд,  
 Прославляя без конца  
 Духа, Сына и Отца!

\* \* \*

Встану утром рано  
 Поклониться солнцу!  
 На рассвет багряный  
 Погляжу в оконце!

Серебро повсюду,  
 Злато в небе синем!  
 Сказочное чудо,  
 Боже, как красиво!

Зимняя природа  
 Без сует и бега,  
 Пашни, огороды —  
 Все покрыто снегом!

Воздух полной грудью  
 Я вдохну с рассвета,  
 Ах, узнайте люди,  
 Как же сладко это!

Лес седой и мудрый  
 С песней жизни древней...  
 Наступает утро  
 На моей деревне!

г. Москва



**Валентина СВИРИДОВА**

Валентина Свиридова родилась на Украине. Живет в Москве. Образование среднее специальное, бухгалтерское. С детства занимается живописью, серьезно увлекается поэзией с середины 90-х годов.

Член творческого объединения «Художник», член Международного художественного фонда. Принимает участие в коллективных выставках.

Печатается с 2001 года. Автор пяти книг. Член Союза писателей-переводчиков, член Союза писателей России. Участвует в литературных конкурсах. Отмечена дипломами и медалями А. П. Чехова, А. С. Грибоедова, М. Ю. Лермонтова.

### Любимые глаза

*Мужу*

Любимые глаза —  
Как два прохладных озера.  
Гляжусь в них, как звезда,  
Что луч до дна добросила.  
  
...На дне их — тишина,  
Волшебный мир, спокойствие,  
Такая глубина,  
Что лишь любимым свойственна!

### Ветер-художник

Ах, как ветер расписал  
Небо теплыми тонами!  
И мазками разбросал  
Облака под небесами...  
  
И шедевр закончив свой,  
Ветер стих и удалился,  
Оценить чтоб смог любой,  
Как он славно потрудился!

г. Москва


**Анна МАЯКОВА**

Анна Маякова окончила Московский государственный институт международных отношений. Владеет несколькими иностранными языками. Член Союза писателей России и Союза писателей-переводчиков, автор книги воспоминаний и двух книг стихов. Дипломант премии Московской городской организации Союза писателей России «Лучшая книга 2011–2013». Печатается в различных литературных альманахах.

## РУССКИЕ ХАЙКУ

### Горгиппия

\* \* \*

Так же чайки кружат,  
И синее море плещет,  
Как в Горгиппии.

\* \* \*

Фундамент древний.  
Меж камней мох пророс.  
Эллинов след.

\* \* \*

Стела с именами  
Олимпийцев тех времен.  
Греция вечна.

\* \* \*

«Быстрее, выше,  
Сильнее». Не так уж  
Изменился мир.

\* \* \*

Сеять зло иль  
Добро нести?  
Выбор всех времен.

\* \* \*

Не достроен дворец.  
Купец в море канул.  
Тщета желаний.

\* \* \*

И мнится мне,  
Что к векам я ближе здесь,  
У развалин древних.

\* \* \*

Возжелала я  
Яблок молодильных.  
Где сады Гесперид?

### Анапа

\* \* \*

Гонят чайки  
Утенка малого, черного.  
Инстинкт стаи.

\* \* \*

Шурша крыльями,  
Лебедь на воду садится.  
Морем пахнет.

\* \* \*

Печален бассейн  
Зимой. Ни пловцов,  
Ни воды...

г. Москва



**Нина ГОЛОВАНОВА**

**Нина Голованова родилась в семье инженеров. Физик и поэт. Окончила школу с золотой медалью, затем — физический факультет МГУ имени Ломоносова. Научная деятельность связана с изучением микромира. Имеет научные труды.**

**Член Московской городской организации Союза писателей России (МГО СП). Автор трех поэтических сборников: «Эти строчки», «Избранное», «Ясным утром». Книга, изданная МГТУ имени А. Н. Косыгина, в 2011 году была отмечена дипломом литературного конкурса МГО СП России «Лучшая книга». Награждена литературными премиями МГО СП России имени Грибоедова и Лермонтова.**

#### **ЕДЕМ, ЕДЕМ НА ЛОШАДКЕ**

Едем, едем на лошадке  
В таратаечке.  
Кучер в красненькой рубашке  
И фуфаечке.

Цок, цок, цокают копыта,  
Дождик капает.  
Парень девушку напротив  
Нагло лапает.

Хмель, похмель, не вяжет лыка,  
Смотрит гоголем.  
Девушке, наверно, стыдно  
С таким щеголем.

Встал, привстал, являя удаль,  
Громко хвастает.  
Кучер дергает за вожжи —  
Не напрасно же.

Кони бегом, кони скоком —  
Парень вниз слетел.  
Если хвастаешь без меры,  
Вряд ли будешь цел.

#### **МАЙ, МАЙ!**

Светлый май,  
Развевай  
У берез сережки,  
Хороводы затевай,  
Мни в траве дорожки.  
Не забудь шепнуть сосне,  
Что пора проснуться,  
Наяву, а не во сне  
Шишками встряхнуться.  
Одуванчик распуши,  
Пух пусти по ветру  
И смывай дождем с души  
Грусть по миллиметру.  
Милый май,  
Раздавай  
Нам свои улыбки,  
Счастье, лейся через край,  
Как из детской зыбки.

г. Москва


**Лариса ЧЕРНИКОВА**

Лариса Черникова родилась в с. Покровское на Сити Ярославской области. Член Союза писателей, лауреат литературных конкурсов и фестивалей. Автор стихов и песен. Публиковалась в альманахе «Салют Победе», журнале «Смена». Автор книг «Спросите женщину», «Влюбленный ветер».

### ЗАМЕЛО ТАК ЗАМЕЛО

Замело — так замело:  
 Как ни выглянешь в окно —  
 Все вокруг белым-бело.  
 Треск мороза ночью слышен,  
 Вьюга стелется над крышей,  
 В небе стынют облака,  
 Не согреет их звезда.  
 Льдом закована река,  
 Не омоет берега.  
 Вьюга стонет и рыдает,  
 О своем в ночи страдает!  
 Натоплю я жарко печку,  
 На столе оставляю свечку.  
 Не гоню тебя я прочь,  
 Я тебе не мать, не дочь,  
 Не сестра и не подруга...  
 Только мерзнем друг без друга.  
 Замело — так замело:  
 Как ни выглянешь в окно —  
 Все вокруг белым-бело.

### ЦАРИЦА НОЧИ (Колыбельная)

Мир устал, погасли свечи.  
 Ночь спустилась в темный вечер.  
 И вокруг ни огонька,  
 Сладких снов течет река.  
 Вот луна — царица ночи  
 Раскрывает миру очи.  
 То заглянет к нам в окошко,  
 То в реке плеснет немножко.  
 То рассыплется по лугу,  
 То опять плывет по кругу.  
 Звезды, яркие веснушки,  
 Хороводят над опушкой.  
 Но она плывет одна,  
 Ночь ей царствовать дана!

Ярославская обл.





**Сергей ГАЗИН**

Сергей Газин родился в 1953 году в Казани в семье военнослужащего. Вырос под Киевом в г. Белая Церковь.

Окончил Опочечкое зенитно-ракетное училище ПВО, Военную инженерную радиотехническую академию ПВО имени Маршала Советского Союза Л. А. Говорова. Служил в войсках ПВО в Борщеве под Тернополем, Днепропетровске, Харькове и Москве. Полковник. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Член Союза писателей России. Автор книг стихотворений «Босиком по воде», «По русским просторам», «Русский салют», «Волны любви», «Ух ты, Африка!», «Свет восходящий». Лауреат литературных премий имени Ярослава Смелякова и Евгения Зубова, премии Московской областной организации Союза писателей России «Золотое перо Московии» и др.

### Голоса

Из летучего сна,  
Из далеких миров —  
Возрождает Весна  
Песни звонких ветров...

Слышу песни морей  
И волшебных лесов,  
И дыханье огней  
Громогласных костров...

Бьется пламя в крови,  
Сердце радости ждет —  
Жаждет вечной любви,  
В светлой песне живет...

И звенят голоса  
Светом жарких стихов —  
И полны паруса  
Песней вешних ветров!..

\* \* \*

*Земную жизнь пройдя до половины...*

Данте

Пройдя свой путь земной до половины,  
Я понял жизни суть — зачем живу, —  
Покорены немалые вершины,  
А я любовь бессмертную зову.

Хочу испить из вечного потока  
И самому потоком вечным стать,  
И, разливаясь космосом широко,  
Всем добрым людям о любви сказать.

Пусть прочитают звездные скрижали,  
И не боятся вечного огня,  
И будет все — о чем они мечтали,  
И добрым словом вспомнят про меня.

Киев — Москва



Тамара АЛЕКСЕЕВА

Продолжение. Начало в № 11, 12 за 2014 год, № 1 за 2015 год

## ИГРОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ

*Рисунки автора*

### ГЛАВА 7. СТРАННИЦА

**Я** знала только имя: отец Владимир. Ни названия церкви, монастыря — ничего. С таким же успехом можно было отправиться искать кого угодно по имени Владимир. Я хотела уехать как можно дальше от своего города и начать поиски.

Ты останешься моим сыном, я — отвергнутой матерью. Если я пройду тысячу верст — это ничего не изменит...

Я не сразу превратилась в странницу. Было нелегко осознать, тяжело этим проникнуться. Я видела незнакомые города и селения, проходила мимо чужих садов и домов. Перед моими глазами еще была прежняя жизнь, и я не могла ее забыть и вычеркнуть...

Я стараюсь припомнить все, что было, но память женщины — что калейдоскоп. В какую сторону его ни вращай, в конце трубы, шурша и перевертываясь, вспыхивают разноцветные стеклышки дней: зеленые, синие, красные... Зеленые — когда я шла

лесом, красные — смотрела на закат или восход, синие — купалась в реке или озере. В них не было времени, в этих днях. В этом путешествии я ощутила какую-то нереальность, священный намек, который тщетно пыталась разгадать. Только первые дни выстроились по порядку: посадка ночью в поезд, Мария и ее сын, утро в Москве. А на вокзале меня забрали в милицию.

Здесь, в Москве, я впервые ненадолго очнулась. Грязный обезьянник и последующий допрос отрезвили меня, я попыталась мыслить ясно. Чемодан, большой и громоздкий. Я затолкала в него почти все свои вещи. Машины у меня не было, на дворе — лето, мне от силы понадобилась бы небольшая сумка. И зачем я в Москве?

Бывает, хочется немедленно бежать, не все ли равно — куда? Это желание, как нарастающая лихорадка, пересиливает все остальное. Но если я поставила себе цель — найти

отца Владимира, надо было все же подумать. Если бы он жил в Москве или другом крупном городе, то ни за что не приехал бы к нам, чтобы напечатать свою книгу, — это очевидно. Значит, он живет в маленьком поселке или в деревне недалеко от нашего города. Иначе как же он там оказался? Проездом?

Значит, мне надо возвращаться и начинать поиски снова, обходить все деревни и села рядом с нашим городом. Теперь, спокойно поразмыслив, я впервые поверила, что найду его. Образ священника стал более отчетливым...

Долго я таскала за собой чемодан, не решаясь с ним расстаться, так же как не мыслила распрощаться с прежней жизнью. Но мне помог случай. Бредя по дороге, я услышала за спиной неуловимый шорох и быстро обернулась: за мной кралась волчица. Страшно худая, с темными, отвислыми сосцами, со смертным, отчаянным блеском зрачков, с перебитой

лапой, истерзанная, она почти ползла, оскаленная морда ее была изрезана камнями и кровоточила. Я чувствовала неподалеку нору с щенками, они погибали с голоду, и мать ползла за мной. Силы были настолько неравны, что я даже не успела испугаться, но меня завораживал этот взгляд, полный несокрушимой решимости. Я стояла, леденя, потом замахнулась на нее чемоданом, но она даже не вздрогнула. Я швырнула его и попала ей в голову, она упала, не издав ни одного звука. Я развернулась и побежала, объятая ужасом, время от времени оглядываясь.

Отныне образ волчицы не выходил у меня из головы. Ложась отдохнуть, я напряженно прислушивалась к любому шороху — мне не было ни сна, ни покоя: припадая к земле, прыгая на трех лапах, меня преследовал зверь — или мне это только казалось? Что если я ослабею, поранюсь, впаду в беспамятство? Волчица настигнет меня и перекусит горло...

Почему я повернула назад, ей навстречу? Чтобы идти дальше, я должна была ее убить.

Шла я недолго. Ощущение опасности заставило меня остановиться: я уловила щелканье затвора, негромкие голоса. Хруст веток, злобный рык, выстрелы, запах пороха, затихающий вой. Она прыгнула на людей, столпившихся возле ее логова с щенками, прыгнула невзирая на смерть, изможденная волчица... Я видела это с закрытыми глазами, будто стояла рядом. Я бы многое отдала за возможность взять часть этой силы, давно умерщвленной во мне.

Тоска возвращала меня к городу, я подбиралась совсем близко и неотрывно смотрела: я родилась в нем, полная надежд, а он растоптал и унизил меня, с презрением выдворил из своих ворот. Между двумя высокими холмами он казался горстью новогодних

огней. Когда я подкрадывалась ближе, огни увеличивались, пока не превращались в неживые бледные пятна. Ночной город стонал, скорбно ворочался, в равнодушном беспамятстве исторгая из своих глубин мучительно-резкие всхлипы людских несчастий и забот; красноватый дым заволакивал небо. Но в этом гнетуще-пронзительном хоре я не слышала своего имени — никто не звал меня, никто во мне не нуждался. От всех слов «мама», произнесенных чужим ребенком, вздрагивало мое сердце. Но я не слышала голоса Алеши, обращенного ко мне, — любая мать услышит его, где бы она ни была... Жив ли он? И даже если он захочет спастись от своего демона, то не будет искать во мне опоры.

И разве я в силах помочь своему ребенку? Я — как пустой разрушенный храм, в котором гуляет ветер. Разве я могу позвать туда сына, разве могу крикнуть ему: «Войди!»?

Я раздавала себя, разлетелась вдребезги, как зеркало. Закончилась, как последняя строчка в книге... Что мне делать?

Закапал мелкий дождь — капли были свежие и ледяные. Потом вода обрушилась лавиной, я выбралась из своей засады — звериной щели меж камней — подавленная, почти бесчувственная, воспаленными глазами отыскивала дорогу — судьба опять придавила меня, и я никак не могла выбраться из-под ее стопы. Сверху струилась вода — тонкими серебряными нитями, будто сама Богородица расчесывала волосы.

Я шла за путниками вслед. Порой я вслушивалась в их речь — она звучала негромко, у каждого была личная история или беда, многие не знали, куда идут. Да разве кто знает свою внутреннюю сущность и в силах ли выразить то, что он ищет или что желал бы найти? Повсюду я видела тени

себя — во многих лицах. Как я ни стремилась, нигде не могла найти свою целостность, ощутить себя единым и ясным существом...

Как потерянная душа, блуждала я по тропам, то убыстряя, то вновь ослабляя шаг. Иногда, в сумерках, я видела протянутую ко мне из самой земли руку моего сына, но голоса совсем не было слышно. Иногда его руки тянулись ко мне из огненного полыхания — я бежала неистово, обдирая ноги о камни, но расстояние не сокращалось. Был ли это сон? Порой я забывалась, но всегда что-то встряхивало мою тоску по сыну: лошадь с жеребенком; мать, ведущая за руку ребенка; голоса детей — далеко-далеко — и смех, звонкий, беззаботный детский смех, наполнявший мою душу горечью.

Обливаясь слезами, я падала на землю. Я была окружена призраками...

— Куда ты отправилась? — шептал один, будто гиришкой бил по чашке. — Ты сошла с ума — все, все делаешь не так. Нет никакого оправдания тому, что ты бросила погибать своего детеныша одного, ни один зверь в лесу так не делает. Ты...

— Нет! — Дрожа от страха и бессилия, я обхватывала обожженную голову руками и выла, как зверь, и посыпала голову землей. От моего плача с деревьев срывались листья и засыпали меня, будто хотели скрыть страшный грех.

Другой голос зачумленно гудел: — Ты создала самого дьяволенка. По твоей вине появилось на свет это чудовище, твой сын обладает силой разрушения, он наполняет мир дымом и пеплом. Тебе не спасти его.

Я неуверенно шла по перевернутой Земле, где с черного неба осыпались камни, а ступни леденили зыбкие облака. Один раз меня окликнул до боли знакомый голос, я обернулась.



Сердце радостно вздрогнуло: в конце тропы стояла мама. По ее щекам текли слезы, она жадно, с упреком смотрела на меня.

— Вера, Вера, — шептала она, — иди ко мне. Я тебе помогу...

Я рванула к ней, но ноги неожиданно ослабели, тяжесть любви гнула к земле и лишала сил.

— Ты же умерла, давно умерла, — вспомнила я. — Ты не в силах помочь мне. Прочь, иди прочь. Оставь меня...

Я отпрянула назад, спасаясь от страха, чувства вины, ощущения тревожности, которые нахлынули на меня со всех сторон. Прондираясь сквозь колючие заросли акации, выбежала на дорогу... По ней шли, склонив головы, безжизненные матери, выплакавшие все слезы, плелись блаженные, потерявшие память, болезненные, со страхом в глазах.

Все надеялись на чудо — заговоров, особых молитв или целебных мощей, священной воды или монастырских свечей, икон. Почему-то большинство матерей игроков были молоды, а убийц и маньяков — почти древние старухи.

Много ходило слухов, складывалось легенд. В восьмидесятых годах в роддомах России возникла практика регулируемых родов: ночью, чтобы не беспокоить врачей, роды приостанавливали, днем —

стимулировали. Роженицам вводили психоактивные вещества, что впоследствии искажало развитие ребенка, формировало наркотическую зависимость.

Как рожают в роддомах России, не рожают нигде в мире. Меня привезли туда поздно ночью, за окном хлестал дождь, врача не могли добудиться, когда он наконец вышел, заспанный и рассерженный, то, едва взглянув на меня, корчившуюся от боли, кивнул медсестре: «Морфий с димедролом. И спать». Признаться, по молодости я наивно обрадовалась, когда после укола наступило полное блаженство: стихла боль, раздиравшая мне живот, прекратились схватки — я погрузилась в долгий сон...

Это было так давно, и разве можно было что-либо поправить?

Встряхиваясь от воспоминаний, словно от пыли, мы шли, огибая невысокие горы, вытягиваясь в длинную колонну или толкаясь бестолковой кучей, дорога была липкой от слез, изъеденной тысячью ног... Я протирала глаза, зачем-то снимала платок и гладила себе волосы.

Впереди шла женщина в черной косынке, молодая, крутобедрая, она что-то сбивчиво рассказывала, непонятно толковала, будто медленно, большими глотками, на

ходу пила горький напиток. Испытывая непонятное волнение, я догнала ее и пошла рядом.

— Они все время собирались за городом, Сашенька говорил, что играют в футбол. Я верила и радовалась: ребенок возвращался такой усталый и сразу засыпал. Его нашли там же, почти у самой реки, забитого насмерть, с вывернутыми и покрытыми багровыми пятнами руками и ногами. Они играли в карты, играли давно...

Когда я похоронила его, моего сыночка, землей его забросали, так и вернулась домой. А там — тишина. Много прошло времени, пока я заметила, сколько вещей из дома пропало, я зачем-то все тщательно записала в тетрадь, вот она при мне...

— А я заметила сразу, — словно эхо, откликнулся голос сзади, — да что толку. Не верила, поднимала крик, пугала ремнем. Раз пришла домой, двери настежь, а он — в петле. Ножки-то еще теплые, я все их растирала, надела шерстяные носочки, а сквозь них стал просачиваться холод. Ступня еще детская, пальчики все ровненькие, а глаза распахнуты и неподвижны. Невидящие, а будто что сказать хотят... «Что, что, Колюшка?» — спрашиваю, а он молчит и молчит. Вот и хожу по церквям, говорят, есть такие места, где с детьми можно поговорить, он бы мне все рассказал. Дома-то свечку перед фотографией зажгу — а он все молчит и молчит...

— А мой живой, но смотрит на меня и не узнает. Все время говорит, что отыграется, непременно отыграется и вернет все деньги. Что с ним сотворили, кто теперь скажет. Четверо ребят его домой принесли, он без сознания был. Говорят, задолжал. Я руки-то его взяла, а они все падают и падают, потом смотрю — разве его руки? — ни одного пальчика... Ведь не может такого быть, что-

бы — ни одного. Деньги не смог отдать... Я вот тоже хожу и спрашиваю, какие деньги, может, я отдам? Может, если деньги вернуть, все наладится, ведь главное — вернуть деньги...

— А мы с мужем все распродали, чтоб деньги вернуть: гараж, машину, квартиру. Все думали, опомнится, увидит нас с отцом на улице, войдет в ум — да где там. Злость все глаза застила, да и как было не злиться, всю жизнь на работе гробились, а все по ветру пошло... Родственникам стали в тягость. А сейчас брожу по дорогам и причитаю — только бы один разочек вдохнуть его живое тепло, один разочек. Если б кто передал ему эти слова...

Одна старуха слушала и всем поддакивала, непрерывно смеясь и прикрывая беззубый рот уголком серого платка. Иногда она, блаженно закрывая гноящиеся глаза, принималась гнусаво петь, будто скульпить, изо всех сил напрягая свою тощую грудь, и тогда шла вслепую, на всех натываясь.

Все эти голоса, долго сдерживаемые рыдания вдруг безудержно прорывались в дикий вой самой смерти, пронзительные, похоронные звуки били в уши, пробивали череп, горячими червями копошились в мозге, не находя покоя, ныряли в жилы, скользили в тканях.

Нигде не было спасения и утешения от этого горького плача, он вырастал до небес. Небо падало, глубоко, до предела натягивалось упругое полотно, громыхало. Подстегиваемая вспышками молний, я в страхе сходила с дороги, но — бог мой! — затаиваясь в зарослях, хватая ртом воздух, я неизбежно выходила на ту же тропу. Невидимая рука мстительно вбивала меня в середину этой лавины мрачно бредущих бледных от слез женщин. И нельзя было отходить в сторону — только, томясь от безысходности и несказанного ужаса, лихорадочно двигаться

вперед. Как описать этот страшный людской поток, с чем его сравнить? С обреченными на бойню, плачущими животными? С расстреливаемой в упор, обезумевшей толпой?

Почему же раньше я никогда не слышала этого великого плача, который был везде — в головокружительном воздухе, вертящихся облаках? Превращаясь в черную пыль, он размашистыми вихрями мчался вниз, мощными пластами залегая в царстве земли, в самых глухих и гибельных для живых существ местах. Или, чтобы услышать его, надо было испытать такое же отчаяние?

Чем дальше я шла, тем больше громоздилась передо мной удушливая гора искалеченных, разорванных тел. Множество мрачных историй, как кровососущих насекомых, мертвенно поблескивая, нависали над нескончаемой дорогой. Заунывно причитая, тихо голосили и заново хоронили возлюбленных и детей, припоминая неподвижную воду на дне могил, стук гвоздей по крышкам гробов, комья черной и липкой земли...

Это никогда не кончится, никогда. Топот ног сотрясал путь, из-под ступней струилась желтовато-зеленая, с дурным запахом, земля. Я совершенно пала духом. Однажды оглянулась — позади никого... Да и был ли кто? Неужели я вырвалась и стала путницей с собственными правилами? Это навсегда осталось для меня тайной.

Много было монастырей, церквей и обителей. Можно было поменять свою одежду, при входе в храм нередко стояли лавки с ворохом разнообразного белья и обуви. Платки — белые и разноцветные, ситцевые и шерстяные, с яркими цветами. Копаясь среди поношенных нарядов, я искала просторные и легкие полотна, с завязками на талии. Обувь была откровенно

старая и разношенная. Одежда предназначалась для женщин, которые приехали в храм с непокрытой головой, в коротких юбках или брюках. Их останавливали у входа и просили переодеться — на время посещения храма.

Путников нередко кормили — кашей и гороховым супом, много было свежего хлеба. Сидя на длинной деревянной лавке, мы быстро опорожнялись миски, полные дымящейся горячей еды, и просили еще. Разморившись от сытости, многие тут же засыпали, склонив голову набок. Жужжали мухи, где-то далеко лаяли собаки, квохтали куры. Руки, лежавшие на столе, мои или чужие, были черные от загара, сухие, с заскорузлыми пальцами. Губы — обветренные, глаза — погруженные внутрь...

Без устали я обходила церкви одну за другой, крестила лоб и с бьющимся сердцем входила в храм, у первой попавшейся женщины спрашивала имя священника и быстро выходила обратно. Нет, не отец Владимир... Опять не он... Нет...

Монотонная и бесперывная ходьба, мелькание яркой зелени, голоса птиц, журчание воды — всемогущий страх мотал головой и отступал. Серо-дымчатые голуби на лазурном небе... Задрал голову, я спотыкалась, чуть не падая в лужи. Пальцами нащупывала в кармане деньги и умиротворенно вздыхала. Я закупала в сельских магазинах сухари с изюмом, вдоль Дона струились родники с холодной и чистой водой, попадались овраги с земляникой.

Лето было жарким, земля не остывала даже ночью. В деревнях не хватало учителей, молодежь рвалась в город. В одном селе меня долго уговаривал усталый и круглолицый председатель, мужчина лет шестидесяти, одетый в запыленную фуфайку и высокие сапоги. Он предлагал работу в школе и жилье — добротный



каменный дом на два хозяина. Мысль о жизни в деревне меня не пугала, напротив, я видела в ней умиротворение, блаженное пристанище, в котором можно было надежно спрятаться. Нередко я выходила на перекресток (это непременно случалось ночью) и, медленно переступая ногами, растерянно смотрела на дороги, разбегавшиеся в разные стороны.

Вернуться обратно, пока не наступил сентябрь, начало учебного года? Остаться в деревне? Раствориться во всемирной пустоте полей, превратиться в блаженную, райскую путницу, прилежную сельскую учительницу? Опираясь на трухлявый посох, продолжать поиски священника?

Как бы заманчиво ни сияла новая жизнь, ни манили ее отдельные тропы, я, припав к земле, в самой ее глубине слышала смутную и непостижимую песню, зов судьбы — он сулил нечто другое: новые раны, боль и даже гибель, но не следовать ему было нельзя...

Блуждая в глухих местах, я часто выходила на маленькое заросшее озеро. Садилась на берегу, погружала ноги в парную воду и замирала от наслаждения. Полная тишина... Сладко падала в прохладную роскошь воды, в ее сокровища тинного дна. Во все стороны радостно бежали блестящие круги: мутно-синие и бледно-зеленые, они быстро добирались до берега, лизали густые и сочные травы и уже не возвращались. Болтая ногами, я поддевала мягкие круглые листочки с нежным налетом изумрудного бархата, многочисленные белые звездочки цветов, слегка подрумяненных по краю острых лепестков, звучно всхлипывая, летели брызги... Как же долго я не отдыхала! Я не отдыхала много лет! Небо осыпало меня гроздьями воды — прозрачной и зеленоватой, густой и чистой, как сок. Я поднимала лицо и безмолвно слушала в своей кро-

ви благодарный отклик — на теплый запах дождя. Дни были неподвижны, как сосны, и, лежа в траве, я постепенно растворялась в них как в самой вечности... Оцепенелость дней действовала на меня благотворно, она утешала и исцеляла мою скорбь. Лето дремало вместе со мной, лениво и плавно качая ветвями, осыпая серебристыми листьями тополей, ветер целовал на ночь щеки. Вечерами я угасала и смыкала ресницы, утром раскрывалась, как заря.

Острое одиночество вызвало во мне потребность в общении с кем-то. Робкая надежда неуверенно просачивалась в меня по крошечной капле. Как же безнадежно долго я была оторвана от этого! Меня отделяла от истинного мира та же грозная пропасть, что и сына! Я ненавидела в его образе то, что было во мне самой! Теперь я это признавала, как и признавала нереальность своей прежней жизни. Все было забыто — подруги, ученики — будто их никогда не было. Вот блаженство — молчать! Когда-то я была не в силах избавиться от мыслей, теперь я хотела думать — и не могла... Я глубоко сожалела, что потеряла столько времени.

Что меня ожидало?

Ночи в лесу были особенными, неопишескими: мне чудились мелькавшие фигуры, стеклянный плач бубенцов. Полная луна осыпала своими тревожными лучами землю, шевелила кучи сплетенных корней, в темноте мелькали чьи-то бледные лица, руки с черными когтями. Нет, людей не было, никто не бродил ночами по глухим лесным тропам, но тогда... кто же ходил?

Один раз я увидела молодую девушку, она медленно шла, с девственной прелестью раздвигая руками ветви. Волосы ее, прекрасного пепельного цвета, были распущены по плечам, тонкое тело едва прикрывала легкая ткань,

губы алели, как надкушенный гранат. Дивный запах ночных фиалок источало ее невероятно белое тело. От неожиданности я прикрыла глаза и тут же подивилась необычайной легкости ее шага — не было слышно ни хруста, ни шороха. Она грациозно проплыла мимо и уже беспечно удалялась в глубину леса, как ее на лету догнал обнаженный призрачный, зеленобрюхий сатир или бес. Он возник из ниоткуда, будто привлеченный льющим синим запахом, на него он и бежал. Породистые ноздри его расширились, он хрипло дышал, в глазах, как в граненых стеклах, плясали и сверкали чувственным предвкушением шальные огни. Девушка обернулась, по-кошачьи вскрикнула и взмахнула руками, будто пытаясь защититься. Повинуясь какому-то темному зову, я неслышно кралась, ползла по листьям, выглядывала из-за толстых деревьев. Как же он, опрокинув ее навзничь, порочно играл с ее раскрытым в крике ртом, рвал его своими жесткими губами, трепал и ворочал острыми клыками! Она блекла и осыпалась, оголенно дрожала зеленоватыми стеблями ног, в никуда смотрели ее стонущие глаза, их блеск почернел и ослеп. Наяву ли это было? Как зачарованная, вцепившись зубами в шершавую кору, в полубреду прищурился глаза, я следила за яростным и ритмичным движением тугих ягодичек, за дрожью вытянутого вверх голого хвоста — прелые черные листья подпрыгивали, как живые, и кидались прочь. Бес ненадолго откидывался на мощный и склизкий слой листвы, размякший от опорожненного жара, блаженно отдыхал, стонал, пьяно потирая свои вздрагивающие органы, и вновь десятки, сотни раз, без конца — все повторялось... Остро пахло шерстью...

На один миг он лениво повернулся, потянул ноздрями воздух

и, не отрываясь от ее распростертого тела, призывно и бесстыдно махнул мне лапой — я в ужасе пригнулась и метнулась прочь...

Долго я мучилась диким очарованием и сладостью этой сцены. Совершенно невыносимая и стыдная, она занимала все мое воображение и все мои сны... Не перечить всего, что вырывалось из меня наружу, среди них были и такие запретные желания, которые мне и не снились. И это была я, я — еще не окрепшая, с неживым сердцем, утерянной душой, но уже полыхающая дерзким сладострастием, насквозь пропахшая хмельными и горькими травами, влажной хвоей, раскаленной землей. Я вслушивалась в грозный рокот своей подземной воды, в ее бесноватые красные струи и с ужасом думала: а можно ли меня любить? Нет, нет, любить меня было невозможно...

Словно сама не своя, я вновь стремилась примкнуть к живым людям. Почему же никто, кроме меня, не слышал этих древних видений, не вздрагивал от них всем своим существом? Нет, об этом нельзя спрашивать, должна быть сокровенная часть жизни, о которой лучше умалчивать.

Мой сон был краток и поверхностен, но никогда я не чувствовала в своем теле такой бодрости. Может, сон выдумали люди? Я спала, как животные, чутко слушая землю, и словно вращалась в ней. Ноги мои окрепли, я похудела и загорела, сны стали яркими и звучными, и я в них летала. Сандалии я доставала из пакета, когда входила в деревню. Если бы никогда не наступала зима...

Когда я особенно отдавалась теплоту потоку света, душистому запаху цветов, могучий и страшный зов всплескивал листву, властное веление поднимало меня с земли. Вдалеке, едва различимая, стояла жуткая женщина с горящими и мрачными глазами, пылающи-

ми, как гранатовое вино, на крепкой шее брэнчало ожерелье из черепов. Внутри нее была бешеная сила и мощь, вокруг нее порхали сухие черные бабочки. Быстрая, как молния, косматая, как пожар, она появлялась в сумраке и обжигаящими, резкими и прямыми ударами хлыста загоняла меня на пустынную и хрупкую тропу. Я то ропливо и взволнованно, задыхаясь от дыма и жара, словно пьяная, брела за ней. Порой она была видна так отчетливо, что я видела пояс из отрубленных рук, багрово-красный язык, которым она облизиwała свои запекшиеся от крови черные губы, много тонких темно-синих рук, которыми она могла дотянуться куда угодно... Что это было? Запах огненного пепла, воспаленного праха, распахнутые синие руки, словно лучи, шарившие в крошечной тьме. Смерть шла за мной? Она с ходу раскалывала камни, присохшие к земле, от ее взгляда, как от вонзенного топора, зеленым кипятком проливались ели, бездыханно затихали воды...

Я не могла уклониться или спрятаться: сверх всякой меры была тяга идти за ней.

У меня не было выбора: за ней, прозрачный и почти бездыханный,

был мой сын, мой единственный ребенок. Его жизнь напрямую зависела от моей поистине животной настойчивости и самообладания, терпения и упорства. От любого моего неосторожного движения он все больше терял свое очертание — сквозь него все отчетливей проступали сырая трава и отпечатки множества следов...

Один раз она привела меня к огромной поляне, посреди которой зиял глубокий проем, и сурово приказала спуститься. Я пробиралась вглубь дремучей земли, вдыхая ее сырой холод и темную тяжесть, достаточно было одного моего слова или едва заметного сопротивления, чтобы вновь очутиться под солнцем. Но почему-то уже мне самой этот спуск казался необходимым и жизненно важным.

Какая-то смертельная сила тянула меня за собой, в ней была вся сокровенность и вся разгадка моей тайны. Каждая потеря, что была дорога моему сердцу и придавала смысл всей моей жизни, углубляла спуск. Осыпалась земля, внизу кричала вздрагивающая чернота, я узнавала каждую ступеньку, изъеденную плачем. Продвижение вниз истязало меня, я сползала на коленях, грязных от слез.



Я скользила по зыбкому подземелью, извиваясь луной, плыла по подземной реке, неслась в смутном сне — за спиной гасли искры света, с сухим звоном осыпалась земля. Назад пути уже не было, там была загробная преграда. Выход был впереди, смазанный и неопознанный, такой же непроницаемо смертельный. Хватит ли мне сил? Я была одна. Каждая клетка моего существа, каждый ген памяти шептал — не оборачивайся. Прошлое невозвратно...

Я знала, я помнила это — за мной выходила на волю моя молодая душа. Своим непрерывным мерцанием она разрывала любую тьму. Даже далекий ответ ее дыхания возрождал во мне древнее достоинство и царственную веру во все самое прекрасное, ради чего рождаются на земле люди.

Но разве я не безумна? Искать где угодно особый и тайный смысл — уж не демон ли потешался надо мной? Когда истощены все силы, растрочены все резервы, вот тогда и возникают эти пространственно-временные нарушения, странные галлюцинации...

Мое нетерпение стало неизбежным. Я обернулась.

Многие события невыразимы, от них дрожат и расплываются строчки — кроткая и ясная, душа безмолвно удалялась прочь, я стояла и смотрела ей вслед. Все так и должно быть. Я второй раз получала похоронную весть, которую однажды уже горько оплакала.

Придет мое время, и я буду удивляться, что не знала того, что было так ясно...

## ГЛАВА 8. ВСТРЕЧА С ОТЦОМ ВЛАДИМИРОМ

Случилось это ранним утром. Церковь была новая и свежая — белая, с темно-зелеными куполами, а городок — маленький, словно вогнутый. Он тянулся вдоль

широкой долины, где — вероятно, в стародавние времена, — бурлила даже не река, нет, это точно был океан. Только этим можно было объяснить высоту крутых берегов, меж которых, словно игрушечные, лепились дома. Я ловко и осторожно, держась за кусты, спускалась вниз, туда с тихим свистом летели мелкие камушки и вырванные с корнем пересохшие травы. За время странствий руки мои окрепли и налились силой. Повсюду, куда бы я ни бросала взгляд, были высокие скалы. Издали они напоминали слоеные пироги, где тонкие пласты желтого камня чередовались с белым и светло-серым. Определенно, к этому городку вели другой спуск, другая дорога, по которой ездят машины. Я подошла не с того места, надо было обогнуть скалы, но, глядя вниз, мне нестерпимо захотелось спуститься.

Внизу я перевела дух и огляделась. Я буквально спустилась сюда с небес. Недалеко мерцала церковь, еще несколько шагов — и я услышала, что там шло богослужение. Я поднялась по ступенькам, открыла высокую деревянную дверь и вошла.

Церковь была погружена в свою неповторимую прохладу — в темноте колыхались огни свечей, пахло свежей краской и чем-то особенным, одухотворенно-древним. Почти в самом конце помещения — на возвышении перед иконостасом — спиной ко мне стоял высокий человек в длинном черном платье. Изредка он поворачивался и махал кадилом в сторону прихожан, сияющим дымом курился ладан. Незаметно приближаясь, я внимательно вглядывалась в его лицо, в сумеречном блеске оно казалось то молодым, то старым. Голос его был высокий и чистый. С усердным вниманием, опустив головы, женщины прилежно и часто крестились, следили за пением молитв, громко и не-

стройно повторяя отдельные слова. Хор звучал откуда-то из-за колонн, и я не видела лиц поющих. Впервые я подумала о схожести слов «богомол» и «богомолки». Вот некстати! Мною овладевало беспокойство, я суетливо повернулась к лавке, где маленькая старушка продавала свечи, купила несколько и подошла к иконе скорбящей Богоматери. Вид ее всегда вызывал у меня обильные слезы. Не в силах сдержать их и на этот раз, я отвернулась... и встретилась взглядом со священником. По шепоту я услышала: отец Владимир. Что-то екнуло в моем сердце и сильно забило, как прекрасное предчувствие. Он?

Служба закончилась. Священник выходил из алтаря, старушки гасили свечи...

Так я нашла его. Как я мечтала об этом! Все. Путь окончен. Мне было немного грустно, странные и противоречивые чувства теснили мою грудь, когда в глубоком смущении я шла с ним по старому парку, окружавшему храм со всех сторон. Я видела, отец Владимир тоже испытывал легкое смятение, удивление и даже растерянность.

— Странно, что вы меня нашли. Я не ожидал визита, но, увидев вас, сразу понял, что какой-то частью своего существа я все же пребывал в ожидании.

— Почему вы не дописали книгу?

— У каждого свой путь.

Что я мог? Порекомендовать уйти от мира? Я не знал продолжения. Инстинктивно, как это делают животные, я сам хотел спастись и искал для себя выход. Тогда этот выход был в написании книги. Я оставил ее в церкви... и даже не хотел ее печатать, да что там было — несколько листов. Я мечтал, что найдется хоть один человек, который продолжит ее, закончит...

— Почему спастись? От чего?

— У меня похожая история.

Только в роли сына был я. И, как

ни странно, моя мать тоже была учительницей начальных классов. Тихая, скромная женщина. Удивительное дело, я до сих пор не могу себе объяснить, почему именно у преподавателей, по статистике, больше всего дурных детей. Простите, я отвлекся...

Мы шли среди деревьев. Под ногами хрустел сухой настил из цветов белой акации. Воздух смолянисто пах кострами: где-то жгли ветви и шишки. Небо было сплошь покрыто знойно-голубым и белым оперением облаков. Отец Владимир долго молчал. Он словно ушел в себя, и вся его фигура излучала волнение. Он будто хотел, но не решался продолжить. А я не смела на него смотреть, но против своей воли все же украдкой взглядывала. Кожа лица его была нежно-желтоватой, местами мягко-прозрачной и белой, на висках проступал еле заметный узор тонких жилок — все это напоминало красоту алебастрового камня.

Как же я волновалась, как неровно билось мое сердце! Неужели это не сон? Все меня изумляло, все казалось необычайно ярким и объемным: кора деревьев, спутанные пряди ветвей, свисавшие до самой земли, восковые пятна по краю развевающегося черного сукна. Я зачарованно замирала возле маленького пруда с прозрачным дном, оглядывалась назад — даже тени наши отличались, моя была обычной, у отца Владимира — будто сбрызнута темно-серебристым бисером. Могло ли быть такое? Нет, это наваждение... великое преображение...

Священник шел, почти не обращая на меня внимания. Он целиком погрузился в прошлое, что-то его мучило, затрудняя речь. И на какую-то долю секунды, смягчая его суровое и печальное лицо, выплывал смутный и давний юношеский облик. Легкая волна времени набегала на эту холодную, рассудочно-строгую фигуру,

меня сухой и жесткий рисунок губ на более выпуклый и утонченно-чувственный. Волосы у него были густые и волнистые, длинные и темные, почти черные. Священник резко повернул направо, мы обогнули два огромных камня и вышли на небольшую поляну. Под раскидистой акацией была скамейка.

— Я здесь люблю сидеть. Такая тишина.

Мы присели.

— Отца у меня не было, мама родила меня поздно, когда потеряла надежду выйти замуж. Она тайно сговорила с приезжим женатым человеком, после он бесшумно исчез, будто его и не было. Для меня, ребенка, мама была прекрасной, даже волшебной женщиной, но сейчас я понимаю, что она была слишком робкой и неуверенной, чтобы удержать при себе мужчину. Ее портили очки, она была близорука и от природы имела крупные зубы. Все это при желании можно было легко устранить, но мама была упрямым и несговорчивым человеком. Когда я появился на свет, все остальное для нее потеряло смысл — остался только я один. С одной стороны, она невероятно расцвела — но не той, женственной красотой, заставляющей мужчин оборачиваться. Отныне ее глаза горели и волновались, но весь огонь был направлен в одну сторону. Мое детство было веселым и радостным: все мои прихоти исполнялись, тайные подарки покупались, все сказки мира мне были прочитаны. Я никогда не казался себе маленьким и жалким, о-о, напротив, эта любовь, в которую плотно завернула меня мама, делала меня могущественным божеством, я восседал на королевском троне довольно долго, дольше положенного срока. Но есть неумолимый закон природы: испив любовь матери, нам надо отправляться дальше. Сама жизнь

предлагает нам новые удовольствия, новые потребности.

Я внезапно будто проснулся и, обнаружив себя в капкане, почувствовал необъяснимое, горячее желание вырваться. Ее неусыпная забота удушала меня. Встретив огромное сопротивление матери, я очень удивился. Она была на грани безумия и, стараясь удержаться рядом, так отчаянно цеплялась за меня, что мне казалось — она использует недозволенные приемы, плача, умоляя, притворяясь больной. Порой я испытывал раскаяние и страшно сожалел, мы снова были вместе, вечерами читали книги, она что-то вязала, оживленно рассказывала, готовила необыкновенно вкусные пироги с маком и вишней. Но я уже был подростком, ребята во дворе поднимали меня на смех, когда мы вдвоем возвращались из театра. Их презрительный хохот вдребезги разбивал, раскалывал на куски мою любовь к ней, я мучился и отчаивался — и все больше отдалялся от нее.

Незаметно я превращался в невероятно черствого и жестокого парня. На жалобные мольбы матери я больше не обращал никакого внимания, я был полностью свободен от каких-либо ограничений и постепенно влился в нездоровую компанию. Мы весело и беззаботно проводили время, играя на деньги в карты, потом в нарды. Появились игровые автоматы. Они затянули меня быстро и ловко, как русалки в болотную воду. Не успел я оглянуться, как стал настоящим игроманом. Я нагло и бездумно тащил из дома вещи, тянул все, что попадало мне под руку, один раз я обнаружил, что сдаю наркоманам мамины очки, без которых она не могла сделать и шага. Мое ледяное сердце даже не дрогнуло. В то время я считал, что мать невероятно отравляет мою жизнь, я презирал ее болезненную привязанность





ко мне и стыдился ее скромной, почти бедной одежды. Я казался себе взрослым и отважным героем. В голове поселилась такая чертовщина и путаница, что сейчас я даже не вполне верю, что когда-то был таким.

Скоро я сошелся с одной девушкой, у нее были длинные фиолетовые волосы и небывалая, вызывавшая мое восхищение свобода во всем. Она ходила по квартире обнаженной, не одевалась даже тогда, когда приходили мои друзья. Не смущаясь, она сидела на диване, закинув ногу за ногу, и курила длинную сигару. Ее точеные ноги в черных чулках-сеточках страшно заводили меня. Я холодел от одной мысли о ней, трясся от ревности, она уверенно и стремительно завладевала всем моим существом. Она раскинулась передо мной лесными дубрами, я пробирался в них скользкими тропами, утопая в роскошных зарослях волос, я открывал все новые и новые нечеловеческие наслаждения, у меня кружилась голова, я был ею одержим. Но это был снежный лес — в отличие от живого, наполненного голосами птиц, он также имел свои чары, свое притяжение. Прекрасно осознавая свою власть надо мной, она

легко пристрастила меня к наркотикам, к различным играм. Это была невообразимо прекрасная и одновременно невероятно тяжелая жизнь. Для Оли я был вроде деревянной болванки, заготовки для пуговицы, на свой вкус и мимолетное настроение, она примеряла на мне тот или иной рисунок отношений. Это могло быть чем угодно — легкой материей, рвущейся руками, плотной дорогой тканью с выпуклым золотым тиснением. И я готов был быть чем угодно — пуговицей, собачкой, катушкой, — лишь бы с ней, лишь бы рядом. Часами мы валялись в кровати и хохотали, потом она тащила меня в ночные клубы и на дискотеки. Мы, мужчины, так устроены: нам неведомы страхи завтрашнего дня, мы живем мгновением, в которое погружаемся с головой, будто зарываемся вглубь сеновала. Я никак не мог отделаться от матери, она торчала повсюду и вечно донимала меня слезами. Порой она назойливо простаивала ночами под окнами, но разве мог я показать ее моей Оле? Она подняла бы меня на смех! Я объявил ей что-то вроде бойкота: перестал с ней общаться, не отвечал на телефонные звонки. Выходя из дома, я иногда видел, как она подглядывала за мной из-за кустов, изгороди или машины. Теперь она не плакала и ни о чем меня не молила, а лишь молча смотрела на меня. Глаза ее были полны затаенной боли и страха, но я, словно окаменев от упрямства и своеволия, делал вид, что не замечаю ее...

Потом мать вдруг неожиданно исчезла, и я с радостью подумал, что она наконец отстала от меня и угомонилась. Дни мелькали, как спицы в велосипеде, я не помнил, сколько прошло времени — год, два, а может, и больше. С компанией ребят мы воровали мобильники, вскрывали машины, многие по-

падались и пропадали в тюрьмах, но надо мной светила какая-то звезда: я был проворным и ловким и всегда вовремя уносил ноги. Моей звездой была Ольга, ее любовь к деньгам и роскоши переходила все пределы, но меня умиляло и восхищало в ней все: доходящая до абсурда скупость, даже унижительный договор, до которого я докатился. Отныне она выделяла мне свои ласки порционно, согласно количеству купюр. Начавшись с игры, с дерзкого чудачества, эта жертва с моей стороны незаметно стала обязанностью. Я все время, до какого-то исступления, боялся уменьшения ее любви, и наши отношения скоро достигли такого предела, за которым я ясно увидел разрыв. Уловив мой страх, почуввав его своей дикой несломленной природой, она стала все больше отдаляться от меня. Вяло, не снимая сапог и платья, она отдавалась мне на диване, рассеянно болтая в руках шляпкой. Шалея от ее близости, измучившись от жестокой ревности, я еле сдерживал слезы. Это были жалкие песчинки любви, прилипшие к подошвам ее прелестных детских ступней. Одним произвольным движением женственных бедер, каким-то невероятным порочным взглядом — обещающим, простодушно-беспомощным, — она подчиняла меня, как собаку. Никто, никто не властен был ее у меня отобрать! Она принадлежала только мне, мне, но всегда оставалась таким далеким островом, что порой я видел лишь смутные очертания его...

На этих словах отец Владимир будто очнулся. Он был не в себе, бледность покрывала его лицо, видно было, что он дышит, стараясь втянуть в себя больше воздуха и надолго задержать его в легких. Его печаль проникала в мои черты, у меня произвольно сжались губы, сомкнулся лоб — он



взглянул на меня быстро и внимательно и отвел глаза.

— Простите меня. Мы тоже порой нуждаемся в исповеди. Но я сам не ожидал, что давние воспоминания так бурно прорвутся, в такой неурочный час, простите, ради Бога...

— Нет, нет, — горячо заверила я его и даже схватилась обеими руками за рукав. — Умоляю вас, продолжайте. Эта история, ваша личная тайна чрезвычайно нужна мне. Простите, не из любопытства, вовсе нет, я сама была близка...

Мы встали и снова быстро пошли по дороге. Отец Владимир не сразу, но заговорил, голос его теперь был спокойным и сосредоточенным.

— Лишь когда она получала подарки или деньги, вспыхивали, как прежде, ее светлые глаза, тонкие руки обхватывали мою шею, она поднималась на цыпочки, чтобы поцеловать меня. В сущности, это был еще ребенок, который хотел жить ярко и радужно, ничего не давая взамен. Было в ней что-то, что я не умею выразить... жадная, бесстыдная потребность вызывать восхищение, этой белокурой зверушке было мало моей любви — я был в постоянном страхе остаться без денег, а значит, потерять ее. Деньги мне приносила только игра. Как-то постепенно я пристрастился к ней и уже перестал замечать, как эти две страсти, игра и Оля, обвивая

меня, как зеленые змеи, звенели и бренчали чешуей, лизали скользкими языками, источая соблазн. Когда у нас все было хорошо, игра подчеркивала и усиливала мое счастье, увеличивала градус опьянения жизнью. Мне ведь, как и ей, хотелось все больше и больше — всего, что может дать молодость: зрелищ и хлеба, порочных ночей и дней, раскрашенных одними фейерверками. После ссор я забывался в игре, будто прыгал с самолета в океан, испытывая невероятный драйв полета, я легче переносил непостоянный характер моей возлюбленной. Какая звезда так долго меня хранила?

Продолжение следует.

г. Липецк



**Татьяна МЕДИЕВСКАЯ**

## ROZENKRANZ

**В** большом московском дворе в центре стоит старая, но еще крепкая большая круглая деревянная беседка, вокруг растут могучие, высоченные липы, а у подъездов — густые кусты сирени и акации.

Светка весной, в конце апреля, как только появлялась из оттаявшей земли нежно-зеленая травка, устраивала под липами «секреты»

или «клады». Она разрывала сопочком в земле небольшую ямку, затем стелила на дно серебристую обертку от фантика, на него выкладывала «драгоценность», а сверху закрывала кусочком прозрачного стеклышка, промытого в весеннем ручейке. Налюбовавшись чудесным «кладом», Светка все аккуратно засыпала землей. Потом, через несколько дней, отыскивала

свой «секрет» с непередаваемой радостью. Но случались и разочарования. Один раз Светка не смогла отыскать зарытый серебряный царский рубль, а в другой — бабушкину медаль в честь 800-летия Москвы. Наверное, их забрали гномы...

Свете шесть лет. С самого рождения она живет с бабушкой Лизой и дедушкой Аристархом. Роди-

тели девочки молоды и прекрасны. Они работают, учатся и навещают дочку только по воскресеньям, потому что живут отдельно в деревянном бараке, где, как говорит бабушка Лиза, нет никаких условий для ребенка.

Света живет в большом каменном доме в первом подъезде, на пятом этаже, в коммунальной квартире. В их комнате главное место занимает рояль — бабушкино приданое.

Старинный лакированный рояль блестит, как шоколад на эскимо на палочке, когда его облизываешь. Светка любила мороженое, и до такой степени, что когда бабушка с дедушкой покупали ей платье или ботинки, она всегда с сожалением пересчитывала, сколько на эти деньги можно было бы купить эскимо. В изгиб рояля удачно вписывается обеденный круглый стол, а остальная мебель, по моде тех далеких лет, купленная на Сухаревском рынке, жметя по стенам. До войны вся квартира принадлежала семье Светы. Их дом построен в 1925 году — чуть ли не первый нэповский кооперативный дом в Москве. Дед перед женитьбой на бабушке приобрел в новом доме просторную трехкомнатную квартиру. Потом их уплотняли, сосед писал на деда доносы, что тот японский шпион, но деда спасало его пролетарское происхождение. Во время эвакуации квартиру захватили «милые соседи», но одну комнату деду с трудом удалось отсудить.

«Милые соседи» — Нюрка с Петькой — нередко вылавливали на общей кухне мясо из щей, приготовленных бабушкой Лизой, наливали «случайно» воду в детские валенки, поставленные сушиться на батарею в ванной, нередко тушили свет в уборной, когда туда заходила Светка. Но никаких скандалов с соседями не было.

Светкина закадычная подружка Ритка проживает в третьем подъ-

езде на втором этаже вдвоем с мамой. Они недавно переехали с Тихвинской улицы. У Риты с мамой прекрасно обставленная большая комната и всего одна соседка, но какая! С ней в комнате обитали кошки: двадцать или даже сорок.

Соседка у Риты самая настоящая, страшная-престрашная старая ведьма, и все дети во дворе ее ужасно боялись. Старая Карга всегда сидела на скамеечке перед подъездом, вся скрюченная, в черных одеяниях-лохмотьях, руки в черных засаленных, рваных на кончиках пальцев перчатках, одной рукой опиралась на деревянную палку-клюку, а другой все время нервно трясла перед собой: то ли крестилась, то ли отгоняла невидимых мух или чертей. Светке казалось, что старуха злобно оглядывает всех и особенно пристально смотрит на нее черными-пречерными глазами. В третий подъезд невозможно было зайти, не зажав рукой нос: такой жуткий стоял запах.

Однажды Светке купили новые светлые ботиночки. Девочке не терпелось прогуляться в них, и она рано утром вышла во двор. Дети еще не выходили, и даже Карги не было на скамейке у подъезда. Двор утопал в весенней распутице: к беседке невозможно было пройти, не испачкав обновку. А перед подъездом Карги весеннее солнце уже высушило квадрат ровного, гладкого асфальта. Светке захотелось тут же попрыгать в «классики». Тогда она быстро расчертила клеточки на асфальте кусочком мелка, всегда лежащим в ее кармане. Девочка в упоении принялась прыгать и ничего вокруг не замечала.

Вдруг на нее пахнуло холодом, сыростью и жуткой вонью. Из дверей на Свету надвигалась, как привидение из подземелья, Карга. Она, опираясь на клюку, рассказывалась и даже протянула руку, будто хотела схватить или обнять

Свету. Глаза старухи слезились, но смотрели цепко, как у вороны. Карга пошамкала серым ртом и проскрипела глухо и низко: — Rozenkranz! Rozenkranz!

Света вскрикнула и, не помня себя, побежала домой на пятый этаж, перепрыгивая через ступеньки. Ей казалось, что Карга или ее голос летит за ней по пятам и повторяет:

— Rozenkranz! Rozenkranz!..

Дома бабушка успокоила внучку. Но когда Света рассказала, какие слова выкрикивала Карга, как-то странно поджала губы, всегда ласковые ее глаза взглянули вдруг испуганно и настороженно, подвижное лицо окаменело, как у статуи.

Увидев, что она этим испугала внучку и та сейчас опять расплачется, бабушка погладила Свету по головке, спела ей песенку про веселый май: «Приди, весна, скорее, вернись к нам, светлый май, и травку и цветочки с весною пробуждай!» И еще пообещала взять ее с собой к портнихе, где ей разрешат поиграть с курчавым пуделем Чаппи.

Ночью Света никак не могла заснуть. Только она закрывала глаза, как ей мерещилась летящая за ней, как ведьма, Карга. Бабушка несколько раз подходила к внучке, укрывала одеялом, целовала и крестила. Света уснула, но среди ночи проснулась. По стенам и потолку в свете луны угрожающе колыхались тени. Она услышала, как бабушка что-то выговаривала деду очень тихим шепотом, но девочка ясно расслышала страшное слово «Rozenkranz» и незнакомое «Паола». Дед в ответ будто оправдывался и успокаивал бабушку.

Однажды Света во дворе в своем секрете вместо красной бузинки, завернутой в фантик от конфеты «Белочка», обнаружила чудесное кольцо с крупным зеленым камнем, вокруг которого

радугой переливались мелкие прозрачные камушки. Света решила, что это ее, наконец, так поблагодарили гномы за ее секреты. Она долго носила кольцо в кармане, а потом забыла про него. Бабушка, когда стирала платье, обнаружила кольцо.

— Откуда у тебя это кольцо? — спросила в изумлении бабушка Лиза.

Света ответила, что это от гномов... Конечно, ей никто не поверил. Ее не ругали, но в доме началось что-то странное.

На следующий день, хотя это было не воскресенье, прибежали вдруг родители Светы и без всякого повода подарили ей трехколесный велосипед. О такой дорогой покупке девочка не смела и мечтать. Свету отправили гулять во двор, где она хвасталась и проявляла доброту, разрешая ребятам прокатиться от подъезда до беседки и обратно. Про кольцо и Каргу девочка, конечно, не вспоминала.

Вскоре наступил май. Москва, как настоящая красавица, окуталась легкой шалью цветущей сирени и с восторгом вдыхала терпкие ароматы. Во дворах и скверах зацвели роскошные кусты: облачно-белые, бледно-лиловые, темно-фиолетовые и даже ярко-розовые. В комнатах повсюду стояли вазы с сиренью.

В квартире Светы шумно праздновали день рождения бабушки Лизы. И, как у них в семье было заведено, после угощения гости собирались вокруг рояля. Папа Светы играл и пел прекрасным тенором, а бабушка Лиза со своей сестрой пели на два голоса сопрано, и все гости подпевали. В открытое окно неслись звуки музыки: романсы и арии из опер.

Бабушка блистала своей кроткой красотой в бледно-голубом атласном платье, которое так шло к ее серо-зеленым лучистым глазам. И все, а особенно дед

Аристарх, не сводили с нее восхищенных взглядов. Кто-то из гостей попросил исполнить итальянскую серенаду «О, выйди ко мне, Паола! Я буду ждать всю ночь!» Папа уже начал проигрыш, но бабушка Лиза почему-то побледнела, переглянулась с дедом и вдруг резко оборвала папу. Она сказала, что сегодня день ее рождения и она желает спеть другой романс. Папа удивился:

— Мама, почему вдруг? Все же просили «Паолу»!

Но бабушка, сделав вид, что не услышала, сухим голосом объявила:

— Мы сейчас с сыном исполним старинный романс «Вьется ласточка сизокрылая».

Проникновенное исполнение всем понравилось, и праздник продолжался.

Света и ее двоюродные сестры и братья тоже веселились: пели, танцевали, играли в прятки, в салки и объедались конфетами и мороженым. Одна из двоюродных сестер, рыжая Натка — страшная воображала, которой уже исполнилось девять лет, — спросила Свету, важно глядя на крышку рояля:

— А почему такое странное имя у вашего рояля? Вот наше пианино называется «Красный Октябрь». Ваш рояль что, иностранец? — Она, указывая пальцем на перламутровые с золотом буквы на крышке рояля, по слогам прочитала: — ERNST ROZENKRANZ. — Натка больно схватила Свету за руку и ее рукой стала водить по буквам, приговаривая: — Читай, читай! Не умеешь, не умеешь!

Света отдернула руку и расплакалась, а рыжая Натка обозвала ее дурой и малявкой. Света обиделась и спряталась под рояль.

Девочка очень любила рояль. Он был ее другом. На крышке рояля под лимонным деревцем жили ее куклы и игрушки. Ночью Свету укладывали спать на старом

диванчике, который стоял почти вплоты к вогнутому боку рояля. Перед сном девочка всегда дотрагивалась ладошкой до лаковой поверхности инструмента, просовывала мизинчик в дырочку сбоку рояля и шепотом желала ему спокойной ночи. Все любили рояль в их семье: бабушка Лиза часто играла чудесные мелодии. По воскресеньям приходил папа, замечательный Светин папа, и после того, как целовал дочку и маму, всегда садился к роялю и долго с упоением играл и пел. А сколько рояль всем дарил веселья в праздники! Все собирались вокруг него.

«Рояль нам родной, а эта дура, рыжая Натка, посмела сказать, что рояль иностранец!» — размышляла Светка, сидя под роялем и зевая.

Гости разошлись поздно, а под утро весь дом проснулся от ужасного кошачьего завывания... Во дворе под окнами соседнего подъезда жалобно мяукала стая кошек.

Днем во дворе Света узнала, что старая Карга умерла.

Соседка Нюрка на кухне пошутит, что ночью кошки старуху отпевали! А сосед Петька дымил едкими папиросами и спрашивал, кому же достанется комната Карги.

Днем неожиданно приехала недовольная мама Светы и увезла ее к себе на работу. По дороге она ворчала, что бабушка Лиза и дедушка Аристарх без предупреждения повесили на нее ребенка.

Когда Света вернулась домой и ее уложили спать на родном диванчике за роялем, она услышала непонятный разговор бабушки с дедом. Бабушка удовлетворенно шептала:

— Аристарх, как хорошо, что нам удалось мать похоронить рядом с дочерью! Ты обратил внимание на свежие цветы на могилке Паолы? Кто их мог положить? А вдруг это от Эрни?

Ты помнишь Эрнеста? Неужели забыл? Ну как же! Он был влюблен в Паолу. А после той трагедии завербовался в Арктику. Может, он еще жив? — Бабушка повздыхала и продолжила: — Когда мы были на кладбище, я обратила внимание на странного человека: за пятьдесят, а волосы седые до плеч, и одет в очень длинное черное пальто — такие нынче не носят. Ты не заметил?

Дед Аристарх на это ничего не ответил. Они помолчали, и потом дед стал сокрушаться, что навсегда пропали какие-то важные ценные бумаги и облигации.

\* \* \*

Прошло двадцать пять лет. Почти все герои этой истории, кроме Светы и ее родителей, ушли из жизни.

Однажды, когда сын Светланы поступил в музыкальную школу, она решила настроить и отреставрировать рояль. Пригласили известного мастера, который, разбирая старинный инструмент, нашел в нем тайник. Оттуда нашлись, как фокусник из шляпы, вынул скрученные в трубочку бумаги: гербовые зеленовато-синие облигации, и царские, и советские, и письмо...

Света осторожно развернула пожелтевший от времени листок тонкой бумаги с виньеткой в левом углу. Фиолетовыми чернилами каллиграфическим наклонным почерком было написано:

«Милый Аристарх, мой ненаглядный Ари!

Умоляю, в моей смерти не вини себя. Ты этим огорчишь свою маленькую Паолу. Завтра мне сделают операцию.

Как жаль, что я не успела проститься с тобой. Ты был моим счастьем, моей единственной любовью! Я хочу, чтобы ты был счастлив! Люби Лизу! Я знаю, что она тебя любит!

Паола, 15 мая 1925 года».

Светлана бережно держала в руках хрупкое прощальное письмо из далекого прошлого, адресованное ее бабушке Аристарху. Затаив дыхание, Светлана читала и перечитывала это объяснение в любви, пытаясь разгадать, кто же такая Паола? И вдруг Светлану осенило...

Паола — дочь Карги! И эта дочь была влюблена в ее деда Аристарха и умерла в юности. Карга все знала...

Вот какую тайну приоткрыл ROZENKRANZ!

г. Москва



**Валерий ЛАМЗОВ**

Валерий Ламзов родился в 1951 году в г. Орджоникидзе (Владикавказ). Окончил Высшее пограничное командное училище. Служил на различных должностях в войсках Закавказского пограничного округа. С 1981 года — на освобожденной партийной работе и руководящих должностях в системе Министерства морского флота СССР. С 1991 года работал в различных отечественных и зарубежных компаниях, специализирующихся на фрахтовании судов и перевозке морских грузов. Академик Международной академии транспорта.

В свободное время увлекается живописью, литературным творчеством. Автор нескольких публикаций по проблематике морской отрасли и экономике морских перевозок. В издательстве «Художественная литература» вышла в свет его первая книга «Золотое сечение Иуды».

## ВИЗИТ КОРРЕКТОРА

### НЕЗАДОЛГО ДО НАЧАЛА

**К**апитан Андрей Викторович Строганов всегда мечтал о работе за границей, изучал языки, в совершенстве знал польский, английский, французский, но работу за рубежом начальство не предлагало. После окончания Академии внешней разведки он уже дослужился до капитана, а в «поле» выход не давали. Три года кряду читал донесения, делал аналитические обзоры. И вдруг, как гром среди ясного неба, вызов к самому директору департамента генерал-майору Петру Васильевичу Меньшикову.

К шефу Строганова привел главный кадровик, официально представил.

— Давайте без формальностей, — прервал доклад генерал. — Я хорошо знаю капитана Строганова. Незаслуженно засиделся он у нас в девках, как говорят. Но лучше поздно, чем никогда. Присаживайтесь, Андрей Викторович, — указал он капитану на стул. — А вы, Станислав Сидорович, работайте по плану, я вас пригашу позже, — сказал он кадровику.

Когда полковник удалился, из соседней комнаты вышел мужчина средних лет, невысокого ро-

ста, с рыжими, но уже начинающими сидеть коротко стриженными волосами.

«Наш человек», — подумал капитан и не ошибся.

— Познакомьтесь, Александр Иванович, — обратился генерал к мужчине, — вот этот симпатичный молодой человек будет вашим главным подопечным.

Строганов сделал шаг вперед навстречу незнакомцу и представился по-военному, вытянув руки по швам:

— Капитан Строганов.

— Александр Иванович Алехин, — тихо ответил мужчина и протянул



руку. — Почему не женитесь? — тут же задал он вопрос.

— Прежде чем жениться, надо в этой жизни что-то сделать. Я пока просто служу, занимаюсь, чем поручат. Надеюсь, это не является недостатком?

— Нет, что вы! — успокоил его Алехин. — Это совершенно нормально для людей нашей профессии... — Он хотел еще что-то сказать, но Меньшиков перехватил инициативу.

— Ишь, как копытом-то бьет. Ну ничего, сейчас начнется подготовка. Там с тебя быстро спесь собьют. — Генерал улыбался, и Андрей понял, что все уже решено за него. Похоже, его мечта начинает сбываться. Собрав в кулак всю свою волю, он воздержался от вопроса: куда?

Но генерал сам утопил любопытство подчиненного:

— Хотим подготовить тебя, Андрей Викторович, для работы в Штатах. Как думаешь, созрел?

— Так точно, товарищ генерал-майор, созрел!

— Вот и хорошо! — довольно заключил Меньшиков. — Тогда сейчас и начнем. Александр Иванович, забирайте голубчика к себе и, как только будете готовы к очередному этапу, позвоните. На все про все даю вам три месяца.

С этого дня жизнь капитана Строганова претерпела кардинальные изменения. Теперь ему предстояло входить в образ другого человека, который находился далеко за океаном. И надо было жить, что называется, на два дома. В повседневной жизни оставаться собой, а в учебном центре — приобретать навыки и привычки совершенно другого парня, внутренний мир и жизненный опыт которого тебе чужды и не всегда по нутру. Ну что же! «Тем интереснее работа, — думал Андрей, — тем более этому учили и у меня получалось неплохо».

А дело между тем предстояло совсем нешуточное. И толь-

ко в ходе изучения материалов Строганов шаг за шагом стал понимать всю сложность работы. В течение трех месяцев Андрей жил в среде, искусственно созданной для него специалистами и являющейся абсолютной копией одного из подразделений американского Института глобальных исследований стран Восточной Европы.

Он изучал фотографии и видеозаписи, запоминал имена сотрудников и их привычки, места расположения кабинетов, столов, слабости людей, их манеры. Постепенно он стал смотреть на все происходящее там, за океаном, в этом Институте глобальных исследований, глазами сотрудника, находящегося внутри. Но Андрей, как ни странно, до сих пор не видел того главного человека, которым ему предстояло стать, и это очень напрягало. Он уже четко сформировал в своем сознании психологический типаж, усвоил привычку чесать подбородок при крайней задумчивости, как и у персонажа изучения, и слушать людей долго, не прерывая их речь и давая возможность максимально выговориться до конца. А сам научился ораторскому мастерству и манере убеждать. Но лицо? Лицо своего героя капитан не видел ни разу на протяжении почти трех месяцев подготовки.

Наступал заключительный этап.

Алехин практически через день приезжал в центр и беседовал с Андреем.

— Для меня, — сказал он однажды, — совершенно ясно, что в образ нашего героя ты впишешься: у тебя с ним практически абсолютное сходство. Над лицом еще чуточку поработаем — это для наших спецов не проблема. Послезавтра делаем контрольную видеозапись для корректировки образа твоего героя — и, думаю, что на этом первый этап будет закончен. Вот, — он протянул пачку бумаг, исписанных крупным

шрифтом, — сегодня ничем не занимаешься, учишь только этот сценарий и текст наизусть. Твои тамошние коллеги будут на месте, у каждого своя роль.

— Кто все? — не понял Строганов.

— Все твои коллеги в Институте глобальных исследований стран Восточной Европы.

— Извините, Александр Иванович, я ничего не понимаю. Видно, перезанимался.

Алехин рассмеялся.

— Нет! Все нормально. Спектакль через четыре дня будем записывать настоящий. Все в гриме будут: как бы твои коллеги, как там, на будущем месте твоей работы. Игровой тест, понимаешь?

Через три репетиции Строганов досконально знал весь сценарий. Уже в гримерной, где собрались его друзья-коллеги в образах будущих персонажей, Андрей был предупрежден, что каждый их участников спектакля думает, что это он главный герой, и не подозревает и не знает о его, Андрея, миссии ничего. Его задача — строго вести свою партию согласно сценарию и указаниям, полученным на репетициях. И если у кого будут ошибки, заминки, то не останавливаться: все действие должно вписаться в тридцать минут.

Строганов никогда не участвовал в художественной самодеятельности. Лишь однажды, в школе, читал со сцены стихи о советском паспорте Владимира Маяковского, о чем осталось самое грустное воспоминание. Фраза «Я достаю из широких штанин...» в его исполнении прозвучала так, что присутствующие в клубе чуть не умерли со смеху. С тех пор любое выступление на публике со сцены вызывало у Строганова страх: юношеская душевная травма оставила свой след навечно. Но в этот раз все прошло гладко. Запись спектакля закончилась, и теперь предстоял разбор полетов у Меньшикова.

К удивлению Андрея, в кабинете генерала, кроме Алехина и его самого, никого из участников не было. Петр Васильевич попросил включить запись. Смотрели, тщательно изучая детали, понятные им одним. Обращали внимание на жесты и на манеру английской речи, на реакцию при ответах на вопросы... Когда просмотр закончился, генерал попросил высказывать предложения или пожелания. Начал со Строганова.

— В целом, мне кажется, получилось неплохо, у меня серьезных замечаний нет, — сказал капитан.

Меньшиков рассмеялся:

— Еще бы, ведь вы смотрели оригинал, с которого написан сценарий.

Андрей был поражен.

— Этого не может быть! — пытался усомниться он.

— Может! — успокоил его Алехин. — Для нас было важно понять, вжился ты в эту обстановку или нет.

— И что?

— Вжился, — успокоил его Меньшиков, — и очень органично. У вас с Патриком какое-то прямо-таки генетическое сходство. Часом, вы не близнецы?

— А можно посмотреть запись нашего спектакля? — попросил Андрей. — Очень интересно сравнить.

— Это ни к чему, — отрезал Меньшиков. — Главное — твое вращение в образ. Просмотр спектакля может навредить тебе. Переходим ко второму этапу операции.

Второй этап был не менее сложный. Предстояло совместно со специалистами приобрести навыки аналитического мышления для оценки политических ситуаций, конфликтов и кризисных явлений в экономике. Глубоко изучить историю собственной страны, а также Польши, Украины, Белоруссии и США. Мимходом предстояло сделать небольшую коррекцию лица. Теперь Андрей

полностью представлял образ своего героя. «Я, — говорил он себе, — гениальный, я точный в оценках и суждениях, я бескомпромиссный. Я патриот Америки. Президент США — мой кумир. Я должен сделать головокружительную карьеру. Я живу ради моей страны. Весь этот мир — сборище плебеев, находящихся под управлением тех же плебеев, волей случая оказавшихся у власти. Но я изменю сложившийся порядок вещей. Я буду в Белом доме».

Он остановился на том, что не совсем четко представлял, как ему себя вести со своим шефом Войцехом Крежинским. Изучив его семью, привычки и наклонности, он узнал, что Крежинский очень любил лесть, патологически ненавидел все русское, не признавал инакомыслия, что он возомнил себя могильщиком Советского Союза. Андрей отдавал себе отчет в том, что дружить с этим человеком его персонажу будет тяжело. Дружба с Крежинским была построена не только на глубоком сходстве идеологий, но и на прекрасном владении польским языком, общих польских корнях. Но здесь-то и была та дверь, открыв которую можно сделать многое.

Последний инструктаж проходил в кабинете Меньшикова. Уточнив все детали предстоящей операции, генерал сказал:

— Это самый трудный и самый рискованный этап нашей работы. Третий — внедрение. Вашу работу, Андрей Викторович, обеспечивают три группы, находящиеся в Польше, в Щецине, революционной колыбели «Солидарности». Туда в ночь на пятницу пребывает Крежинский со своим любимчиком — твоим визави. Вот здесь-то и надо корректно уконтрапупить нашего клиента и аккуратненько занять его место. Ваша задача, Андрей,

сделать это нежно, как дуновение ветерка. Группы обеспечения сделают весь «черновик». Ты понимаешь?

— Да, конечно! — ответил Строганов, думая о том, что же будет с этим «американским гением».

Алехин словно прочел его мысли:

— За него, товарищ майор, можешь не беспокоиться.

Андрей не сразу понял.

— Почему майор?

— Извини, Андрей, — вдруг засуетился Меньшиков, — с этого и надо было начинать, а я с ходу о деле. Вам, Андрей Викторович, присвоено очередное звание «майор». Поздравляю.

— Служу Отечеству, — ответил Строганов.

Меньшиков подошел к новоиспеченному майору и обнял его:

— Удачи большой тебе, сынок. Обмывать будем, когда вернешься.

## СМЕНА КАРАУЛА

Город Щецин находится практически на границе Польши и Германии и славится в основном своими судостроительными заводами и крупным торговым портом, находящимся в очень удобном для мореплавателей месте — излучине, где река Одер впадает в Щецинский залив. Но как бы ни был мал этот город и практически неизвестен туристам, для старого Войцеха Крежинского он был как Мекка для правоверного мусульманина, как Стена Плача для иудея. Он приезжал сюда каждый год все последние двадцать лет. Войцеху это было просто необходимо. Только здесь он набирался сил и возвращался в Новый Свет со свежими идеями и новыми эмоциями.

А еще он очень любил учить уму-разуму польских политиков, которые почему-то делали все не так, как поучал он. Вот и сейчас

он и его молодой помощник, прогуливаясь по городу, дошли до рыночной площади, где до сих пор стоял хорошо сохранившийся дом, в котором родилась русская императрица Екатерина II.

— Смотри, друг мой, все еще стоит. А почему? Эта немецкая... присоединяла к России все, что видела вокруг себя, а мы здесь память о ней храним. Я еще Леху говорил: взорви ты его. Нет же — историческая ценность!

В плохом расположении духа они добрались до судостроительных верфей.

— Посмотри, Патрик, здесь зарождалась наша свобода от порабощения. Ты знаешь, в конце восьмидесятых годов здешние рабочие совершенно не хотели поддерживать Леха Валенсу. Их директор бы членом ПОРП<sup>1</sup>. Они его очень уважали, даже любили. Мы решили его убрать. Чего только Лех не придумывал — не идут на демонстрацию, и все тут. Директора выгонять не хотят. В конце концов наши товарищи его докончили — умер от инфаркта. И вот похороны. Весь город вышел его провожать, завод встал. Понимаешь! Получается, город хоронит коммуниста — хвост русской собаки — торжественно, с почестями. Это же для «Солидарности» позор. Вот тогда-то местным активистам и пришла в голову идея организовать пожар на заводе, и чтоб непременно на русском судне. Так и сделали. Идет огромное траурное шествие. И вдруг — гудок! «Пожар!» — кричат. Все рабочие бегом на завод — пожар тушить. Осталось несколько человек на улице с гробом. Жалкое зрелище. Однако результат — лицо! Вот так работать надо!

— Да, пан Крежинский, я с вами целиком согласен. Это хорошая школа жизни. Опыт неоценим, —

машинально отвечал молодой человек, но думал о другом. Сегодня вечером он планировал сорваться в «Вавилон» — местную эротическую достопримечательность. Там девочки что надо и марафет. Полный кайф!

Между тем босс продолжал вещать:

— Здесь такой беспредел творился в конце восьмидесятых — начале девяностых. Наши панночки с этими русскими морячками за колбасу в постель ложились. У нас продуктов нет. А эти приходят, колбасу на части режут — сколько кусков, столько панночек. Это мне местные рассказывали.

Молодой человек хотел было сказать старому ворчуну, что и сейчас так же. Только вместо русских англичане, немцы, американцы. И цены гораздо ниже. Но вместо этого горестно воскликнул:

— Матка боска! Стыд-то какой!

— Да, мой друг, так оно и было. Килограмм сливочного масла по цене равнялся месячной зарплате. Сейчас совсем другая жизнь.

— Вы, как всегда, правы, пан Крежинский.

День клонился к закату. Теплый морской воздух утомил Войцеха Крежинского, и он решил вернуться в отель. Поселились они в лучшем отеле Radisson Blue, который славился своим рестораном EUROPA.

Полужинав, утомленный прогулкой Крежинский ушел к себе в номер отдохнуть. Помощник, с нетерпением ожидавший этого момента, напрямик направился в местное гнездо разврата. «Вавилон» был его стихией. Там на сцене, похожей на бисквитный торт, танцевала высокая девушка, из одежды на ней был лишь еле заметный шнурок, имитирующий трусики. Довершали наряд заячий хвост на аппетитной попке и туфли на высоком каблуке. Увидав Патрика, она изменилась в лице. Но гость этого попросту не заметил. Подхватив

симпатичную брюнетку, он вскоре оказался с ней в постели своего номера.

Тихонько отперев дверь, в него вошла та самая танцовщица со сцены и подняла невообразимый шум:

— Подлец, развратник. Я ждала его приезда, а он, мало того что забыл заплатить, так еще делает вид, что не знает меня. Грязная свинья, скотина!

Молодой человек вскочил и стал неумело защищаться от наступающей на него пани Елки.

— Как тебе не стыдно! — рыдала она. — Я сейчас вызову полицию, тебя посадят в тюрьму!

— Тихо! Тихо! — пытался остановить ее молодой человек. — Я все объясню.

Брюнетка, как только начался скандал, вылетела из номера, одеваясь на ходу.

А скандальная дама все не унималась:

— Ты сейчас же поедешь ко мне домой. Или тебе конец. Я тебя посажу.

— Все-все! Еду! Я еду с тобой, — успокаивал ее молодой человек, одеваясь и пытаясь прикрыть столик, на котором был рассыпан кокаин. Но глазастая девица увидела и это.

— Да я тебя посажу, — не унималась она. — Ты на кого меня променял!?

Приехав в маленькую квартирку многоэтажного дома где-то на окраине города, Патрик, еле шевеля сухими губами, попросил:

— У тебя есть что-нибудь выпить?

— У меня для такого грязного развратника, как ты, есть все. — И она быстро скинула легкое платьице, обнажив слегка постаревшее тело.

— Чем я хуже той девочки? Или у вас в Америке изменились вкусы?

Она достала бутылку шампанского со странным названием «Советское» и поставила на столик.

<sup>1</sup> ПОРП — Польская объединенная рабочая партия.

— Тебя ждало.

Молодой человек торопливо открыл бутылку дрожащими руками и разлил в бокалы, неаккуратно проливая содержимое на стол.

— За любовь! — сказала пани Елка, чокаясь со своим старым приятелем, который, залпом осушив бокал, почти мгновенно уснул, некрасиво раскорячившись на диване.

— Готов! — обратилась Елка к двум мужчинам, вышедшим из соседней комнаты.

— Так, давайте раздевать голубчика, — велел тот, который был постарше. — А ты, Андрюха, тоже пошевеливайся. Нам с этим козлом еще до Москвы добираться.

Утром пан Крежинский и подмененный Патрик встретились на первом этаже отеля за завтраком.

— Ну, Патрик, ты меня радуешь!

— Почему? — удивился молодой человек.

— Сколько тебя знаю, ты сегодня первый раз пришел раньше меня. Это прогресс, — довольно заключил шеф, поощрительно похлопав своего помощника по плечу.

— Когда-нибудь это должно было произойти, пан Крежинский, — ответил молодой человек и подумал: «Маленький прокол с глубоким намеком на перемены к лучшему».

— Нас уже ждет машина, — после завтрака сообщил Крежинский. — Едем в Варшаву. Там пару дней — и домой.

Через две недели на стол Алехина легла шифрограмма: «Москва. Центр. Виктория».

Это означало — внедрение прошло успешно.

Александр Иванович позвонил Меньшикову:

— Петр Васильевич, есть новости.

— Зайди ко мне, — ответил генерал, — потолкуем!

Через несколько минут Алехин был у Меньшикова.

— Ну что, — обратился генерал к своему товарищу, — хочешь

сказать, что операция внедрения прошла успешно? Будем готовить следующие группы?

— Я бы не стал спешить, Петр Васильевич, — ответил Алехин. — Думаю, надо подождать чуток, материал подготовить и людей. Молодежь-то совсем сырая...

— Время не терпит, ты же знаешь. Наша задача — сорвать программу Партии войны в Штатах. Видишь, как их распирает. Всех задолбали. Им надо везде разрушать установленный когда-то миропорядок. Другого пути у них нет. Нам поставлена задача изменить приоритеты. Не дать возможности безнаказанно творить хаос, терроризировать народы. Нужны контрмеры. Иначе они до большой войны доиграются. Видишь, тормозов уже нет! Ребятам определенно глючит.

— Я все понимаю, Петр Васильевич, — ответил Алехин, — дайте мне еще недельку на подготовку.

— Хорошо! — согласился генерал. — Но не больше. И главное, чтобы новая техника не подвела.

Меньшиков вышел из-за стола и стал ходить по кабинету, рассуждая вслух.

— Недавно читал программу НАТО под названием «Неотложные меры по ограничению влияния России на страны Восточной Европы». Сравнил с материалами Комитета начальников штабов и разведсообщества США — такое впечатление, что все написано одной рукой.

— Видимо, так и есть, — согласился Александр Иванович.

— У альянса появилась теперь новая фишка — они считают нас континентальной страной, а они, видите ли, то есть НАТО, — великие морские державы.

— Интересно! А что это означает на практике? — спросил Алехин.

— А значит это, что для себя они решили, что мочить нас будут с моря. Мы же должны стремиться на суше создать буферные

зоны из числа бывших республик СССР и государств Восточного блока. Этим они объясняют свое продвижение к нашим границам. Упреждение делают.

— Что-то у них там происходит. То ли кризис совсем мозги отшиб, то ли от страха рассудок потеряли, — посетовал Алехин.

— Как жить? Кругом одно жулье. Время однополярного мира закончилось войной в Сирии. Все больше стран это начали понимать. Для Америки, однако, эта мысль недоступна. Пока, во всяком случае. Главное, это не пропаганда, это куда более тонкое дело. Американцам надо помочь выйти из коматозного состояния вседозволенности. А это можно сделать только при создании информационных технологий, которые бы могли взорвать отлаженную систему зомбирования людей. Партия войны в Америке должна уйти в прошлое. Надо, чтобы американцы поняли, что они уязвимы более, чем кто-либо на этой планете. И эту мысль надо донести до тех, кто может повлиять на принятие решений.

— Мы работаем, Петр Васильевич, и в оперативном плане, и в информационном делаем соответствующие посылы, возобновили работу со старыми кадрами, кто уцелел.

— Вот-вот. Старый конь борозды не портит. Правда, осталось их раз-два и обчелся, — согласился генерал. — И еще америкосам надо дать понять, что их пятую колонну здесь, у нас, мы терпим только потому, что не хотим начинать антиамериканскую истерию и людям жизнь портить. Но если они будут продолжать тявкать, погрузим на пароход — и к чертовой матери, как в двадцатые годы.

— Вы думаете, они это помянут? — спросил Алехин.

— Так же, как и «Титаник» помнит свой айсберг, — пошу-

тил генерал и вдруг неожиданно опять вернулся к теме внедрения: — Я попрошу держать под особым контролем всех участников операции. И главное, никто, еще раз повторю, никто не должен знать о существовании друг друга. Помогать и не знать. Прикрывать и не знать. Все знаем только мы с тобой, Александр Иванович. Поэтому мы здесь. А они там.

В Варшаве у Патрика состоялся принципиальный разговор со своим шефом, к которому молодой, подающий надежды аналитик, специализирующийся на американо-российских отношениях и концептуальном развитии постсоветского пространства, оказался совершенно не готов — можно сказать, был застигнут врасплох.

Господин Крежинский начал с того, что выразил Патрику свое принципиальное несогласие с политикой, которую сегодня ведет администрация США по отношению к России.

— А что конкретно вас так сильно беспокоит, пан Крежинский? — спросил его Патрик, специально акцентируя внимание на польских корнях патрона и тем самым давая согласие на приватное участие в разговоре.

— Садитесь, мой друг, — предложил ему Крежинский, указывая рукой на красивое зеленое кресло в своем кабинете, который больше был похож на редакционную библиотеку, чем на пристанище политика.

Этот небольшой, но красивый дом Крежинский приобрел в Старом Городе, который представлял собой сплошной новодел, копирующий старину. Когда-то в этом районе между католическим собором Иоанна Крестителя и старым рынком жили его предки. Туристы всегда здесь создавали столпотворение, особенно около варшавской русалочки, но местечку, где был дом Крежинского, это нисколько не мешало, потому что

он стоял чуть в стороне, у Королевского замка, в охранной зоне. Патрон здесь любил заряжаться воздухом предков, причем без присутствия своей американской жены, которая не понимала его привязанности ко всему польскому.

Патрик это знал, но как все выглядит и происходит на самом деле, предстояло еще выяснить.

Итак, расположившись в уютном, мягком кресле, Патрик приготовился слушать своего учителя, а Крежинский, встав возле большого арочного окна с короткими белыми шторами и двумя большими кустами герани на подоконнике, начал с совершенно неожиданного:

— Меня раздражает неповоротливость и, если хочешь, тупость нашей администрации. Я всю свою жизнь посвятил борьбе с Советами. И когда казалось, что победа уже достигнута, неожиданно выяснялось, что это только иллюзия. И все потому, что наши лидеры посчитали, что третью мировую войну они уже выиграли...

Крежинский отошел от окна и сел в кресло напротив.

Патрик заметил, что у старика дрожат губы. Он быстро налил в стакан воды из сифона и предложил шефу.

Сделав несколько глотков и немного успокоившись, Крежинский продолжил:

— Не дай бог тебе, Патрик, в конце своего жизненного пути прийти к таким умозаключениям, с которыми сейчас приходится жить мне!

— Что вы, пан Крежинский! Вы недооцениваете себя. Вы — великий гражданин Америки. Вы сделали столько для развития демократических свобод в мире, для освобождения народов от жестокой деспотии диктаторских режимов... Вами гордится нация...

— Все это ерунда, Патрик, — резко ответил Крежинский, без-

надежно махнув рукой на свои заслуги. — Ничего мне не довелось довести до конца, и только потому, что эти ослы и бараны на Капитолийском холме возомнили себя повелителями мира прежде, чем могли бы ими стать!

— А что случилось? — делая непонимающее лицо, спросил Патрик.

— Россия не просто государство. Я бывал там много раз — и в Москве, и в Красноярске, и в Ленинграде. И мне казалось, что те, с кем я общался, давали мне основания предполагать, что победа над коммунистами будет и победой над Россией, что куда более важно. Но оказывается, что все, кто называет себя русскими, могут быть против Горбачева и его антигосударственных реформ. И против Ельцина с его пьянством от страха и непредсказуемостью. Но попробуй тронь Россию — мало не покажется...

Россию можно поучать ровно столько, сколько она тебе сама позволит, и что она выкинет потом, никто не знает. Но то, что выкинет, в этом, Патрик, можно не сомневаться.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, пан Крежинский.

— Мы, — продолжил старый политик, — на всех углах стали кричать, что Советы повержены, что нет больше великого Советского Союза. Но мы забыли о великой России. А ее величие ни убавить, ни прибавить. Оно просто есть. Мы же забыли про его существование. И теперь пожинаем плоды своей беспечности. Куда ни сунься, там встречаются интересы русских. Назови их олигархами, новыми русскими, кем угодно. Они мешают, даже более того. Мы, западные державы, даже не успели заметить, как русские интегрировали нас в свои финансовые и экономические институты и элегантно заставили работать на себя. И сегодня сложилась такая



ситуация, что, захоти мы ударить по русским какими-то запрети-тельными мерами, получится, что мы бьем собственную экономику. Собственные финансы. Догадываешься, иезуитство какого мастера они взяли себе на вооружение?

— Наше? — наивно спросил Патрик.

— Вот именно, наше!

— И что делать?

— Я троцкист! И преклоняюсь перед мужеством и гением этого человека. Наша теория «управляемого хаоса» является ребенком перманентной революции Льва Троцкого. В этом суть существования Америки. Но чем чаще я бываю здесь, в Польше, в Венгрии, в Латвии, в бывших советских республиках и даже в странах бывшей Югославии, тем больше понимаю, что слишком дорого и моим дорогим полякам, и другим народам обходится американское общество всеобщего благоденствия. Мне бывает, Патрик, иногда очень страшно за Америку...

— Почему, пан Крежинский?

— Потому, что прежние империи умирали столетиями, во всяком случае, годами. Мы же сгорим в одночасье. Потому что Америка не имеет того, что есть у нас, у поляков или русских. У Америки нет исторической памяти. В генетическом плане любой американец — это общечеловек, чьи настоящие предки не имеют ничего общего ни с этой землей, ни с этой культурой и даже с религией своих предков. И поэтому любой мощный финансовый кризис, управление которым уже находится не в наших руках, а точнее, не только в наших руках, толкнет нас в бездну.

— Неужели все так запущено? — снова спросил Патрик, потрясенный речью шефа. Он чувствовал, что этот разговор затеян не просто так.

— Для любого банкрота финансовое потрясение — это спасение:

на нет и суда нет! Но здесь другой случай, — продолжал шеф. — Мы никому не собираемся возвращать наши долги. Мы кредитujemy каждый час, каждый день. Вся наша жизнь построена на этом. Но придет такой день, когда нам скажут: все! баста! good by, America! Страшно представить, что будет.

— И что делать? — снова задал вопрос Патрик, так до конца и не поняв, к чему клонит Крежинский.

— Надо начинать заводить дружбу с русскими по новому кругу, потому что в сложившейся ситуации только дружба с ними спасет нас от фиаско и покажет продажность Европы. Ей, Европе, как старой шалаве, в очередной раз простят ее пристрастие к распутству, а мы будем на коне. И потом дружба с Россией поможет Польше. Для меня это важно.

Крежинский умолк. Встал из глубокого мягкого кресла и снова подошел к окну с геранью, сквозь которое виднелось здание — точная копия Московского государственного университета.

— Я хочу, Патрик, чтобы ты работал в администрации президента. Я хочу влиять на этих толстоколых политиков через тебя. Через твой талант и мой опыт.

— Так вы хотите реально закрутить дружбу с русскими? — спросил Патрик, выбираясь из кресла и подходя к шефу.

— Безусловно! — ответил Крежинский, и в этих словах трудно усомниться.

— Но для чего все это? — не выдержав хитросплетения рассуждений своего шефа, задал вопрос Патрик Миллер.

— Чтобы начать все сначала. Выжить и нанести сокрушительный удар. Я этого уже не увижу. Но это должны сделать ты и тебе подобные. В противном случае все наши с тобой рассуждения, мой дорогой Патрик, — это всего лишь уроки изящной словесности.

Через три дня на стол Алехина легла телеграмма следующего содержания: «Анаконда предложила работать в аппарате помощника президента по национальной безопасности. Прохожу собеседование и детектор. Теннисист».

## ГЛАВА 1. ОДНАЖДЫ В РАЙОНЕ ГРЕЧЕСКОГО АРХИПЕЛАГА

Теплоход «Сергей Чистов» возвращался в родное Черное море. Уже был позади переход через Атлантику, пролив Гибралтар, который прошли четыре дня назад. За кормой остались Италия, Франция и Греческий архипелаг. Через два часа судно должно было войти в пролив Дарданеллы.

Второй помощник капитана Александр Жулдыбин внимательно следил за курсом, сбавив скорость теплохода до 10 узлов согласно рекомендациям по турецким проливам. Рассчитав время подхода к Стамбулу — был полный штиль, — Жулдыбин уже прикидывал в уме, куда он пойдет развеяться после месячного перехода из Торонто, как вдруг прямо по курсу судна высоко в ночном небе вспыхнула яркая звезда размером с футбольный мяч. Вокруг нее образовался диск, переливающийся всеми цветами радуги. Жулдыбин уже шестой год работал штурманом на судах заграничавания и первый год как вторым помощником на сухогрузе «Сергей Чистов», видел много чего интересного... Но такого — никогда...

Между тем «звезда» неумолимо приближалась к теплоходу, миновала бак и в какое-то мгновение даже зависла над крышкой трюма номер два, который одновременно являлся и вертолетной площадкой, очерченной большим белым кругом. Александр немедленно позвонил в каюту капитана Волкова:

— Валерий Алексеевич, прямо по курсу на судно двигается светящийся объект на высоте 100–150 метров. В настоящий момент «это» зависло над трюмом номер два. — Говорил он быстро, глотая слова и продолжая непрерывно наблюдать за объектом.

— Ракета?! — заорал Волков с испугу.

— Нет, — ответил помощник, — ракета не зависает. Это продолжает висеть и светиться. И никакого звука... Странно!

— Жулдыбин, ты в порядке? У тебя все хорошо?

— Абсолютно! — обиженно ответил штурман. — Поднимайтесь на мостик. Сами увидите. Очень красиво. Но у меня почему-то все тело колотит... и приборы вырубались.

Не успел он это сказать, как светящаяся «звезда» молнией ударила по крышке трюма. Она исчезла так же неожиданно, как и появилась. Капитан подбежал к своему иллюминатору, но увидел только свет носового прожектора.

Когда Волков в домашнем халате и тапочках поднялся на мостик, уже все, о чем докладывал штурман, выглядело как бред сумасшедшего. Не было ничего. Несуразность ситуации заключалась еще и в том, что вахтенного матроса Сидоркина помощник буквально за минуту до появления «звезды» послал на камбуз за водой, и подтвердить увиденное было некому.

— Что с вами, Александр? — снова с нескрываемой тревогой спросил Волков. — Вам нездоровится?

— Валерий Алексеевич, — взмолился штурман, — я проверял и корректировал по времени углы поворота и выход на расчетную точку, чтобы вовремя позвать вас на мостик перед входом в пролив... и вдруг это свечение... Ей-богу, говорю как было.

— Озадачил ты меня, Александр, — произнес капитан, поглаживая плешь на голове. — Ну

ладно, поднимай боцмана — ему все равно через час на брашпиль<sup>1</sup>.

Тут появился матрос Сидоркин с кофейником. Увидев капитана в странном одеянии, он заорал от испуга:

— Прошу добро, то есть разрешите войти по-флотски!

— Оставь мне Сидоркина, а сам с боцманом иди на камбуз и осмотри крышку, — распорядился Валерий Алексеевич, не обращая внимания на матроса. — Радиостанцию не забудь! — крикнул он вслед.

Через десять минут Жулдыбин с боцманом неслись по палубе к трюму номер два осматривать крышку люкового закрытия.

Когда они, перемахнув через комингс<sup>2</sup>, взобрались на крышку, то, к удивлению и великой радости Жулдыбина, увидели, что почти в самом центре крышки образовалась кучка черного порошка в виде пирамиды высотой около двадцати сантиметров.

Жулдыбин сообщил капитану по радиации: — Здесь какой-то странный порошок черного цвета. Небольшая кучка. Похоже на остаточный продукт горения чего-то прочного или металлического.

— И все? — спросил капитан.

— Да, — ответил Жулдыбин и взял в руку горсть черной массы. — Он очень тяжелый — тяжелее свинца в несколько раз.

— Положи немедленно, — гаркнул капитан, да так громко, что переговорное устройство зафонило.

— Соберите порошок в целлофановый пакет. Найдите коробку, желательнее металлическую. В Новороссийске передадим кому следует. Боцман пусть занимается, а ты давай на мостик, да не забудь вымыть руки с мылом.

<sup>1</sup> Брашпиль — устройство для подъема якоря.

<sup>2</sup> Комингс — окаймление по периметру трюма, на котором крепятся крышки люковых закрытий.

Через несколько минут второй помощник уже был на ходовом мостике и производил соответствующую запись в вахтенном журнале:

*«25 июля в 01 час 07 минут по судовому времени в районе Греческого архипелага на подходе к проливу Дарданеллы (координаты) на высоте 150 метров был обнаружен яркий светящийся объект прямо по курсу на удалении не более одной мили. Объект быстро приближался, ярко освещая небо и образуя диск радужного свечения диаметром около 5 метров.*

*В 01 час 10 минут я доложил капитану о случившемся и попросил его подняться на мостик.*

*В 01 час 11 минут объект, продолжая свечение, завис над трюмом номер два и резко упал (или ударил) на крышку трюма. При этом появились яркие искры и вспышки.*

*В 01 час 12 минут капитан поднялся на мостик и попросил меня и боцмана Нифедова проверить крышку трюма. Крышка была целой, следов повреждения не обнаружено. На крышке в центре находился порошок черного цвета в виде пирамиды 10–15 см высотой, очень тяжелый.*

*По приказу капитана порошок упакован в пакет и положен в металлическую коробку. Опечатан судовой печатью».*

Пока второй помощник заполнял журнал, капитан Волков, уже побритый и по форме одетый, попивал кофе, валяжно развалившись в капитанском кресле.

Жулдыбин, закончив писанину, мельком взглянул на судовые часы и перевел свой взгляд на локатор.

— Подошли к точке поворота, — сообщил он капитану.

— Доложите курс, — потребовал капитан.

— Курс 217°, — немедленно отреагировал вахтенный матрос.

— 20° лево на борт, — опять спокойно сказал капитан.

— Есть 20° лево на борт, — прокричал Сидоркин, стоящий на руле, и затем начал озвучивать меняющуюся позицию судна. — Курс 212, 207, 202, 197 градусов.

— Курс 198°, — громко приказал капитан.

— Есть 198°, — отчеканил матрос и через минуту повторил: — Курс 198°.

Жулдыбин торжественно объявил:

— Товарищ капитан, вошли в пролив Дарданеллы.

— Так держать до точки поворота в 03:15 по судовому времени. Скорость 10 узлов. Старшего механика в машинное отделение, — распорядился Волков.

Капитан, сидя в своем кресле, никак не мог избавиться от охватившего его чувства тревоги.

— Саша, — обратился он к Жулдыбину, — там в аптечке корвалол. Накапай мне.

Жулдыбин знал капитанскую дозу и быстро поднес ему стакан с лекарством, предварительно плеснув в него воды.

Успокоившись, Валерий Алексеевич вынул свое грузное тело из высокого капитанского кресла и жестом пригласил помощника выйти с ним на левое крыло мостика. Проходили местечко Чанаккале. Навстречу шел, весь в огнях, большой пассажирский лайнер, сопровождаемый громкой музыкой ресторанов. Видимость была идеальная, небо усыпано звездами. Разошлись, как и положено, левыми бортами. Не без зависти слушали восторженные крики пассажиров и визги подвыпивших дам.

— Сколько работаю, а на «пассажире» никогда не отдыхал, — горестно заключил капитан, — то дача, то ремонт квартиры.

— А вам это надо, Валерий Алексеевич? — спросил Жулдыбин. — Моряку нужен лес, охота да рыбалка. Вот это, я понимаю, отдых!

— Пожалуй, ты прав! — согласился капитан и продолжил, снова возвращаясь к злополучной «звезде»: — И все же, Саша! Что это было?

— Ума не приложу, Валерий Алексеевич! Сначала думал, зонд. Он тоже обычно тремя цветами светится. И потом, при таком ракурсе освещения я бы увидел и воздушный шар, а тут реально будто шаровая молния. Но шаровых молний в море не бывает. Я про такое не слышал.

— Да, не бывает, — согласился капитан. И тут же спросил: — А что, крышка совсем не повреждена? Вообще ничего нет? Чисто?

— Ничего! — ответил помощник. — Единственное, что я заметил, когда боцман собирал порошок, — краска под ним выгорела, стала светлей.

— Мать твою! — выругался капитан. — Что ты мне сразу не сказал? Мы же зерно везем. Если искры на него попали — нам хана. Давай старпома и боцмана к трюму. Пусть немедленно поднимут крышку и проверят все.

Не прошло и пяти минут, как электродвигатель натужно загудел, и крышки люковых закрытий трюма номер два стали медленно подниматься вверх слева и справа по комингсу.

Старпом Середа и боцман Нифедов с фонарями начали осматривать груз, передвигаясь по ровной поверхности зерна, покрытого брезентом. Все было в порядке. Старпом с глазами пьяной селедки (видно, хорошо принял на грудь втихаря перед сном) дико озирался в трюме, страшась увидеть признаки возгорания или чего-то еще. Но ничего не было.

— Все нормально! — доложил он капитану. — Все о'кей.

— Внимательно осмотрите крышки с внутренней стороны, — потребовал капитан, не скрывая своего недовольства поспешностью подчиненных.

Середа начал светить фонарем по внутренней поверхности крышек, вода лучом слева направо. И вдруг... На левой крышке он увидел какое-то странное образование. Оно было похоже на кристаллы горного хрусталя с множеством фигурок шести- или восьмигранников, выстроенных по кругу в виде короны столбиками диаметром сантиметров тридцать.

Когда луч фонаря попал на эту «корону», она начала светиться ярко-голубым фосфорическим светом, доходящим до неоновой белизны. Старпом Середа испуганно убрал луч фонаря.

— Что у вас там, пожар? — услышал он капитана. — Что за огонь?

— Это не огонь, Валерий Алексеевич, — подозрительно робко ответил Середа. — Это хреновина какая-то стеклянная светится. Фумигатор<sup>1</sup>, что ли. Я не знаю... блин, такого! Закрывать, что ли, крышки?

Видно было, что старпому все до лампочки. В Новороссийске он покидал судно навсегда. Его прислали по непонятным причинам только на один рейс, и Ипполит Прокофьевич, а так звали Середу, был доволен, как слон, и ни в чем себе не отказывал. Особенно по части выпивки. Но для капитана он был что заноза в заднице. И сидеть неудобно, и не вытацишь...

— Ипполит Прокофьевич, — строго рявкнул Волков, — вы там подмогните Нифедову, пусть снимет эту хреновень и тащит ее сюда, на мостик. Будем разбираться с вашей фумигацией.

Между тем теплоход «Сергей Чистов» продолжал свое движение по проливу Дарданеллы и к шести утра вошел в Мраморное море.

До рейдовой стоянки в Ахал-Копы на рейде Стамбула оставалось двенадцать часов ходового времени. Капитан Волков спу-

<sup>1</sup> Фумигация — технология дезинфекции зерновых грузов.

стился в каюту, прихватив с собой злополучный кристалл. Весил он килограммов семь.

Александр Жулдыбин тоже отправился отдыхать. Но капитан попросил его зайти к нему.

— Ну и денек у меня сегодня! — недовольно проворчал второй помощник. — Все через заднее место! Ни вахты, ни отдыха.

— Ты не ворчи, — приструнил его Волков. — Посмотри, красота какая...

Он поставил кристалл на стол. Через иллюминатор на него упал свет прожектора, и от этого в кристаллических столбиках словно проснулась жизнь — они начали светиться, все пришло в движение, а цвета были такие, каких в природе, наверное, никто не встречал. Это свечение отражалось на переборках каюты, свет играл невообразимыми красками, перетекая на палубу и потолок так, что два человека, находившиеся в каюте, оказались в состоянии невесомости и поплыли в пространстве, качаясь на волнах переливающегося свечения. Так им, во всяком случае, казалось. И чем ярче светилась «корона», тем быстрее вращался свет, увеличивая движения двух человек, вошедших в коматозное состояние и прострацию.

Вдруг столбики кристаллов, стоящие вертикально, словно по команде резко опустились вниз, образовав цветок в виде ромашки, в середине которого выделялся шар размером с теннисный мячик. Из него возник яркий пучок лазерного луча толщиной чуть больше человеческого волоса, который неожиданно угодил прямо в лобную часть Жулдыбину.

В то же мгновение Валерий Алексеевич, растерянно озираясь по сторонам и протягивая кому-то руку, как подкошенный рухнул на палубу задним местом, больно клацнув зубами.

Жулдыбин же замер, словно по волшебству, и не производил

никаких действий. Он медленно опустился, удивленно посмотрев по сторонам. Повернулся назад. Увидел сидящего на полу капитана и на коленях пополз к нему навстречу. Взгляд Жулдыбина был рассеянный и тупой. Видно было, что парень не в своей тарелке.

«Совсем плохой стал, — подумал капитан, — все-таки нельзя больше трех месяцев молодому человеку без бабы».

— Разрешите приветствовать вас от имени народа планеты Флорентида, — сказал Жулдыбин дребезжащим голосом, обращаясь к капитану и прикладывая правую руку к сердцу.

— Ну это уж слишком, — с досадой пробормотал капитан, — мы так не договаривались.

Он, кряхтя, поднялся, достал начатую бутылку виски, налил в стакан и протянул его Александру, который, по-собачьи подняв голову, преданно смотрел на капитана.

— Накати, полегчает.

— Что это? — поинтересовался Жулдыбин, вставая, опять каким-то чужим голосом, при этом глаза его светились неподдельной радостью познания и почему-то фосфоресцировали, словно стрелки на часах.

— Саша, ты меня пугаешь. Я понимаю Среду, который весь рейс не просыхает, но ты-то не чуди! — предчувствуя недоброе, попросил Волков у своего внезапно поглупевшего помощника.

«Ему и вправду такая доза уже не поможет, а мне должна!» — подумал он и залпом осушил бокал.

Но Жулдыбин стоял, не шелохнувшись, и продолжал изучающе смотреть на своего капитана.

— Это топливо? — поинтересовался он у Волкова, который еще не успел занюхать выпитое ногтем.

От неожиданности Валерий Алексеевич оцепенел, уставившись пронизательным взглядом на Александра и явно пытаясь извлечь

из его нутра крамолу или хотя бы какую-нибудь здравую мысль. Но лучше понятную.

— Ты мне дурку, Александр, не гони!

И только тут до него дошло. Причиной странного поведения помощника явился этот светящийся шарик, лежавший на стеклянном цветке, и его луч.

— Надеюсь, теперь вам все понятно, капитан? — услышал Волков голос Жулдыбина со все тем же отрешенным, электронным звучанием, будто из испорченного динамика.

Второй помощник по-хозяйски уселся в кресло, закинув ногу на ногу. Был это вроде и Жулдыбин, а вроде и совсем другой человек, которого капитан не знал.

— Валерий Алексеевич, вы, пожалуйста, сядьте на свое место. — И он жестом указал капитану кресло за рабочим столом.

«“Полосатый рейс”, и только», — подумал капитан, но почему-то послушно пошел к столу и сел.

В этот момент в дверь каюты аккуратно постучали. В дверном проеме стояла буфетчица Валентина, на уровне груди которой, словно застывший на весу, возвышался мельхиоровый поднос, накрытый большой бумажной салфеткой.

— Завтрак, Валерий Алексеевич, как вы любите, овсяная каша, тосты, кофе с молоком, — произнесла она грудным низким голосом, игриво взглянув на Жулдыбина. Потом добавила: — А вам, Александр, не положено.

В ответ помощник как-то странно выкатил белки своих глаз, которые приобрели так некстати фосфоресцирующий блеск, и приветливо кивнул буфетчице головой.

— Дурак ты, Шурка, и не лечись! — ответила она. — Не понимаю я, — продолжала Валентина, освобождая поднос от тарелок, — как вы, Валерий Алексеевич, таких помощников терпите. Ну что дети малые. Вы гляньте, глаза фосфо-

ром натер. Чистый Баскервиль, только что не лает.

— Это кто? — спросил Жулдыбин своим электронным голосом у капитана.

— Это наша буфетчица Валентина, — ответил четко, по-военному, капитан.

Буфетчица изумленно посмотрела на мужчин и поспешила из каюты, опасливо озираясь.

— Пить меньше надо!

— Да, — горестно вздохнул капитан, — похоже, я свое отходил. Таких глюков у меня отродясь не было. Заработался, видать, мастер.

— Не волнуйтесь, — успокоил его Жулдыбин. — С вами все в порядке. Вы абсолютно адекватны. Но ситуация, в которой вы оказались, нестандартная для привычного восприятия окружающей вас реальности. Потому и возникло смятение. — Жулдыбин сделал паузу, продолжая внимательно сверлить глазами капитана. И, усмехнувшись чему-то только ему понятному, вдруг медленно приподнялся с кресла и произнес полным высокого достоинства и уважения голосом: — Разрешите представиться вашему высокому положению, господин навигатор-капитан Валерий Алексеевич.

Валерий Алексеевич от неожиданности обомлел и тоже хотел встать, но Жулдыбин властным движением руки остановил эту попытку. По силе рука больше напоминала мостовую балку — так впечатала она капитана обратно в кресло.

— Меня зовут Эгон. Я оператор биогенного межпланетного модуля, который в данный момент внедрен в вашего помощника.

— Как? — простонал Волков. — Вы из ЦРУ... или нет! Из ФСБ?

Жулдыбин опять движением руки остановил фантазии неожиданно воспалившегося воображения капитана.

— Нет, — ответил он, — мой модуль сейчас общается с вами. Я же

нахожусь на обратной стороне от Солнца и вижу все, что происходит в этой комнате, с девятисекундным опозданием. Я на планете Флорентида, абсолютной копии вашей голубой планеты Земля. И здесь по поручению Совета содружеств наших территориальных представителей. Я — друг и не представляю для вас лично и для жителей вашей планеты никакой опасности. Произошел сбой навигационной системы, срочно пришлось искать объект для посадки, чтобы не потерять биоэнергетический заряд, необходимый для работы. Я выбрал ваш транспорт. Соленая вода уничтожила бы модуль, его энерговооруженность.

Слушая пришельца, Валерий Алексеевич то широко раскрыл рот от удивления, то хватал себя за живот, то пытался что-то записывать в рабочую тетрадь. Про себя же думал: «Если это сон, и он пройдет, напьюсь до чертиков, и все! С морем надо завязывать, когда с одного стакана виски начинается белая горячка».

Но Жулдыбин продолжал:

— Мне нужно тело, чтобы выполнить поставленную передо мной задачу.

— Какое тело? — испуганно спросил Волков, начиная ощущать, что запахло жареным. И что происходящее вовсе никакой не сон.

— Я не могу существовать без тела. Я всего лишь носитель разума и собиратель информации. Я — прибор. Без человеческого тела я разряжусь. Я должен быть или в теле, или в модуле. — Он посмотрел на стекловидный шар. — Это моя энергетическая капсула.

Валерий Алексеевич наконец догадался, что этот проклятый модуль сидит в его втором помощнике и уже наверняка убил его!

В памяти всплыли кадры художественных фильмов про пришельцев: «Люди в черном» и всякое такое... Капитан вжался в кресло,

трясаясь, как кленовый лист на ветру, и чуть слышным голосом спросил:

— А вы один?

— Да, сейчас я один. И ваш помощник жив и здоров. Если он вам нужен, дайте мне другое тело. Мне необходимо быть на севере американского континента в местности Вашингтон. Потом мне нужны будут Евразия, Москва, а в конце визита я должен посетить Китай, Пекин. Я имею заряд на один буоль. — И, прочитав непонимание на лице собеседника, добавил: — Это по-вашему семь оборотов вокруг собственной оси.

— Понятно, семь суток, значит, — прошептал обреченно капитан, осознавая, что от навалившейся проблемы ему не отмазаться. — Что я должен сделать? — наконец спросил он.

— Мне необходимо тело, — невозмутимо повторил Жулдыбин, — чтобы добраться до ближайшего мобильного транспортного средства, которое могло бы доставить меня в Вашингтон.

— Простите меня... — Волков запнулся. — Эгон, так вас вроде зовут? Я не могу без второго помощника, он у меня самый грамотный штурман...

Жулдыбин сделал непонятный жест перед лицом капитана, будто разгоняя дым.

— Вам не стоит беспокоиться. Дайте мне менее ценного носителя. Он меня доставит до удобной транспортной станции, там я найду новый носитель, который летит в Вашингтон. Мне это не трудно...

— И вы нас покинете? — с нескрываемой радостью и надеждой в голосе спросил Волков.

— Да! И ваши носители будут свободны, они ничего не будут помнить из происшедшего, да и вы тоже! Ну если только чуть-чуть. Все зависит от уровня развития мозговой массы.

Волков облегченно вздохнул:



— Слава богу! Но кого же я вам дам?

— Кто вам меньше других необходим. Но вы должны знать, мне в любом случае будет нужен сопровождающий до транспортной станции, там я приму другой носитель. В столь мизерном пространстве я не ориентируюсь.

Волков заметил, что чем дольше длится его диалог с незванным гостем, тем лучше тот говорит по-русски. Капитан уже решил для себя, что этим новым носителем будет старпом Середа Ипполит Прокофьевич: мы отдохнем от его пьянства, а он — от наших претензий.

— Хорошо! — согласился он. — Я сделаю все необходимое. Только и вы сделайте мне одолжение.

Жулдыбин выкатил свои светящиеся глаза и, наклонившись к капитану, произнес:

— Сочту за большую честь!

— Дело в том, — продолжал Волков, — через несколько часов мы прибываем в Стамбул. Там берем топливо, я дам людям немного отдохнуть. Но мне потребуется тело моего второго помощника, в котором вы сейчас находитесь. Для меня остается открытым главный вопрос...

— Тело! — перебил его Эгон.

— Тело, тело! — пробормотал капитан и заключил: — Это будет старший помощник Середа.

Он набрал по телефону номер старпома и, услышав развязанный бодрый голос чифа<sup>1</sup>, попросил его зайти в каюту.

Ипполит Прокофьевич через минуту уже вкрадчиво стучал в дверь каюты капитана.

— Войдите! — как можно спокойнее произнес Волков.

Он нервничал потому, что никак не мог поверить в реальность происходящего, но как мог держался.

Успокаивало лишь одно — Эгон обещал, что все забудется.

— Прошу добро! — икая, произнес Ипполит Прокофьевич, переступив через порог каюты.

Середа изучающе посмотрел на напряженное лицо капитана, затем перевел взгляд на искривленную гримасой физиономию Жулдыбина, затем на два пустых стакана, источающих запах виски, и довольно сделал вывод:

— Вздрогнем на троих?

— Обязательно! — подтвердил Волков. — Вот прямо сейчас и вздрогнем.

Он подошел к холодильнику, достал бутылку и быстро разлил *Burbon Very*.

Ипполита Прокофьевича уговаривать не пришлось.

— Красиво жить не запретишь, — прошептал он себе под нос.

Стакан был опустошен в одно мгновение ока и уже вновь призывно дрожал в руке, как бы приглашая повторить.

— Ну хватит, Ипполит Прокофьевич! Тебе важное поручение.

— Буду рад послужить напоследок, — с чувством отозвался старпом. — Что надо делать? Все исполню. Чин чинарем, только прикажите...

Волков подошел к Жулдыбину, который, как казалось Середе, довольно резво вертел глазами — так, что белки выпучивались наружу. Однако капитан, похоже, этого не замечал. Он как-то боязливо сказал Жулдыбину:

— Начинайте, Эгон! Это будет ваше новое тело.

Второй помощник сделал шаг в сторону ничего не подозревающего старпома... Неожиданно яркий электрический луч, словно искра из розетки, ударил в грудь Ипполита Прокофьевича.

Волков продолжал оставаться безучастным. Александр, непрерывно вертя головой, затрясая всем телом, как курица, стремящаяся освободиться от

блох. А старпом принялся ощущать свое тело, будто увидел его впервые. Глаза! Глаза опять светились.

— Заряда маловато, — сказал Эгон-Середа и, подойдя к находящемуся на столе шару, взял его в руки.

Мгновенно возникло ярчайшее свечение, в котором потерялись все трое, а затем так же внезапно появились опять.

Теперь старпом был сама значительность и собранность.

— Наши дальнейшие действия, ваше превосходительство? — спросил он у капитана.

— На рейде за вами прибудет агент. И он доставит вас в американское посольство в Стамбуле в сопровождении Жулдыбина, — ответил тот.

Александр, еще мало чего понимая, согласно закивал головой.

Рано утром на рейдовой стоянке Ахал-Копы бросили якорь. Агента долго ждать не пришлось. На судно прибыл сам владелец компании господин Ариф Эмин-оглы. Невысокий, слегка полноватый турок с неисчезающей жизнерадостной улыбкой на смуглом лице. Он давно знал капитана Волкова и зашел к нему в каюту как к старому другу.

— Здравствуйте, господа-товарищи, — шумно и радостно на ломаном русском возгласил он.

Пока сопровождающий владельца компании помощник Редван с третьим штурманом решали финансовые дела, Валерий Алексеевич попросил господина Арифа выполнить очень деликатное поручение, не вводя его, конечно, в истинное положение дел. Нет, не из-за секретности и важности, а потому, что он все еще не до конца верил в происходящее. Ему казалось, что с ним произошло какое-то временное помешательство, казалось, вот сейчас, в этот момент, Ариф и Жулдыбин уведут старпо-

<sup>1</sup>Чиф (chief) — старший помощник капитана (англ.).

ма, и все встанет на свои места. Не будет никакого пришельца Эгона. Он проспится — и все! Новорос-сийск, дом!

А суть миссии заключалась в том, чтобы доставить Ипполита Прокофьевича к американскому посольству в Стамбуле. Надо было подождать, пока кто-нибудь из сотрудников не выйдет из здания.

Жизнерадостный Ариф-оглы как-то не сразу внял просьбе капитана и не спешил выйти из образа самого лучшего морского агента Стамбула. Но когда до него дошла суть просьбы, то на полуслове оборвалась речь, мультяшно выкатились глаза, от чего Волкову стало совсем нехорошо — еще один пришелец!

И если бы не рядом стоящий Жулдыбин, который наконец-то перестал курицей отряхиваться, но все еще мало чего понимал из происходящего, то Волков безвольно бы упал на пол. Жулдыбин ловко придержал своего капитана за локоть.

— Валери, — воскликнул Ариф, — я не смогу его доставить в посольство. Туда надо заранее звонить, договариваться. И потом, американцы свои дипломатические миссии защищают бетонными заборами и следящими устройствами, везде полно камер... Они же всех боятся. — Он украдкой посмотрел на старпома и продолжил: — Он же не в себе, вы видите, как он белками крутит? Он принял что-то?

— Принял! — обреченно подтвердил капитан. — Крутую дозу принял.

— А зачем чифа в американское посольство? — спросил окончательно пришедший в себя Жулдыбин.

— Жена у него американка, мать его за ногу, — зло выругался капитан.

— А я не знал! — удивился Жулдыбин. — Чего же он тогда пьет, как баклан?

— Потому и пьет, — резко ответил Волков, — что жена американка.

Жулдыбину оставалось только согласно промолчать. Но его осенило:

— Ну раз такое дело, давайте доставим Ипполита Прокофьяча в аэропорт, пусть летит в Нью-Йорк.

Как ни странно, но в сложившейся ситуации идея была гениальной.

— Арифчик, дорогой, ты бери Александра с собой, — обратился капитан к агенту, указывая на второго помощника Жулдыбина, — он тебе будет помогать. Мало ли что. Человек-то явно не в себе. А когда проводите Среду, возвращайтесь на судно. Сходим в Караван-сарай, отдохнем. Только сделайте все как надо! Хорошо?

— Хорошо, Валери! — ответил Ариф, снова продолжая жизнерадостно улыбаться.

У него как будто отлегло от сердца. Задача значительно упростилась.

— Вы подождите внизу, у трапа, а я с этим героем на дорожку пару минут побеседую. И документы отдам, — распорядился Волков.

Когда за Жулдыбиным и агентом захлопнулась дверь каюты, Эгон, молчавший все это время, сделал шаг навстречу капитану, приложив левую руку к груди, поклонился почти в пояс, по-русски.

— Я благодарю вас, господин навигатор, от имени моего объединенного правительства и себя лично. Позвольте мне забрать мой энергетический шар. — Он, не дожидаясь согласия, забрал из распутившихся хрустальных лепестков идеальной формы шар, который все еще продолжал слегка светиться. Эгон положил руку на плечо капитана и сказал своим электронным голосом, который никак не сочетался с пропитой красной физиономией старпома: — Вы оказали неоценимую услугу вашему человечеству.

Волков только собрался что-нибудь ответить, но рядом уже никого не оказалось. Он выглянул в иллюминатор: катер агента отходил от парадного трапа.

Капитан сел за рабочий стол и вспомнил, что экипаж надо бы отпускать в город в увольнение. Он позвонил в каюту старшего механика:

— Дед<sup>1</sup>, ты в город идешь?

— Нет, — ответил Иван Иванович Удот, — я перед Босфором хочу отдохнуть.

— Правильно! — согласился с ним капитан. Мне тоже не помешает. — И после небольшой паузы предложил: — Может, зайдешь ко мне, выпьем по коньячку и часок-другой вздремнем, «послушаем подводную лодку».

— Я сейчас, — с готовностью ответил голос в телефонной трубке.

Не успел Валерий Алексеевич поставить на стол бокалы и открыть бутылку коньяка, как Иван Иванович уже был в каюте капитана с двумя крупными лимонами и коробкой гавайских сигар.

Когда выпили и задымили сигарами, стармех обратил внимание на странной формы красивую хрустальную пепельницу на столе капитана.

— О! Откуда это у тебя?

Что-то я раньше не видел. — Он деловито стряхнул в нее пепел сигары.

— Агент, наверное, принес, — ответил капитан и тоже стряхнул в нее пепел гавайской сигары.

Было хорошо.

Однако в аэропорту Стамбула события развивались совсем не так, как представлял себе Ариф-оглы и тем более Александр Жулдыбин, который, придя в хорошее физическое состояние, продолжал чувствовать себя будто обольванным веселящим газом.

<sup>1</sup> Дед — старший механик на судне.

Вообще четверка мужчин представляла собой довольно странное зрелище, что не могла не заметить полиция на входе в здание аэропорта. Старший помощник Середа (или Эгон) являлся худосочным мужчиной далеко за пятьдесят с лицом формы зрелой тыквы, которая была надета на длинный, тонкий вертикальный манекен в недорогом полосатом костюме. Голова на манекене сканировала аэропорт, глаза навывкате неестественно блестели белками и вращались. Это странное живое сооружение в сопровождении маленького и полного Арифа, крепыша Жулдыбина и щуплого Редвана под зорким взглядом полиции двигалось в сторону регистрации на рейс Стамбул — Нью-Йорк. Видя, как люди таращатся на них, Ариф снял с Редвана солнечные очки и надел их на старпома.

Наконец они добрались до регистрации. Очередь была длинной и отягощенной огромным количеством багажа. Ждать предстояло долго. Впереди стояла молодая крупная негритянка с ярко выраженными формами. Шоколадное губастое личико мило улыбнулось четверке странных мужчин, а ее правая рука мощным движением развернула к себе низкорослого рыжего молодого человека, давая понять — соберись, посмотри на идиотов рядом, — и подтянула ближе багаж.

Рыжий вежливо улыбнулся, как бы приветствуя, и быстро отвернулся. Ариф на хорошем английском спросил:

— Домой? В Штаты?

— Да! Домой! — радостно залепетала американка. — Мы из Вашингтона, вернее, работаем там, а живем в пригороде.

Не успела она это сказать, как Эгон дотронулся до ее плеча. Между ними будто бы промелькнула молния, но этого практически никто не заметил.

Ипполит Прокофьевич резко схватился за живот и согнулся.

— Мне плохо, — простонал он.

Сопровождающие схватили его под руки и вытащили из очереди. Бегом все направились в сторону медпункта.

В длинной очереди на регистрацию продолжала терпеливо стоять высокая негритянка, крепко держа за руку своего рыжего худощавого мужа Рудди. Задрав высоко голову с прической Анджели Дэвис, негритянка напряженно всматривалась в пространство, вправо-влево вращая глазами. Звали ее Габриэла Винстон.

## ГЛАВА 2. НЕСТАНДАРТНАЯ СИТУАЦИЯ. УТРО В СТАМБУЛЕ

Они сидели на открытой площадке уютного старого рыбного ресторана на берегу Босфора, расслабленные теплым летним солнцем. Роберт даже немного задремал. Запах свежей рыбы, турецкого кофе разморил старое тело. Приятно обдувал прохладный ветерок с пролива. Этот контраст блаженно действовал на него, ему казалось, он мог бы находиться здесь, в этом месте, вечно. Чего нельзя было сказать о его внучке Кэтрин, которую он напросился сопровождать. В Турции она была впервые и с любопытством все рассматривала.

— Ах! — вздохнула Кэтрин. — Как же здесь красиво. Не хочется возвращаться домой.

— Что? — встрепенулся задремавший Роберт.

— Красиво, говорю, здесь.

— Да! С тобой нельзя не согласиться.

— А что мы тут расселись? — не унималась Кэтрин. — Мы кого-то ждем?

— А ты догадливая...

Официант принес турецкий чай цвета гранатового сока в маленьких стаканчиках.

— Я хочу познакомить тебя с моим старым турецким другом адмиралом Эркен-беем. Здесь его все знают как Эркен-пашу. Он давно на пенсии, имеет небольшой бизнес. На жизнь хватает. В этом раю много не надо.

— Рай не рай, а деньги, дед, нужны всегда. Без денег на земле рая не бывает.

Роберт улыбнулся:

— Трудно с тобой не согласиться, мой ангел. Но станешь старше — поймешь. Рай с деньгами — это не совсем еще рай.

— Я знаю это, — хитро улыбнулась Кэтрин и записала в свою электронную книгу: «Рай с деньгами — это не совсем еще рай».

— Ты смотрел новости? Какая погода завтра дома?

— Смотрел, в Вашингтоне переменная облачность, дождь.

Отвечая внучке, Роберт внимательно следил через отражение в солнцезащитных очках за молодым человеком приятной европейской наружности, который непрерывно вел наблюдение за их столиком и которого Роберт заметил еще в момент прихода в ресторанчик. Тот делал вид, что тщательно выбирает место, и окончательно определился только после того, как они сели.

Недалеко от ресторанчика, чуть в стороне, припарковалась бежевая Тойота, где два молодых человека скучали от отсутствия работы.

«Это наши ребята. ЦРУ всегда похоже только на ЦРУ. А этот парень с планшеткой явно из MIT (Milli Istihbarat Tes Kilati) — национальной разведывательной организации Турции. Будем смотреть, — решил Роберт. — Проверим реакцию».

— Помнишь, я тебе говорил про документы? — неожиданно задал он вопрос Кэтрин.

— Какие документы? — переспросила Кэтрин.

Не отвечая, Роберт смотрел на парня с планшетником. Тот резко

дернулся, взглянул в сторону Роберта, напрягся, превратившись в ухо.

— Ну те, — улыбаясь, ответил Роберт, — что тебе нужны для твоего выступления на симпозиуме по истории заселения Восточной Анатолии.

— Да! Помню! Помню! А что, их можно где-то найти?

— Скоро ты их будешь держать в руках. По моей просьбе Эркен-бей заказал в национальной библиотеке ксерокопию. С минуты на минуту он принесет ее, а также копии древних исламских и коптских рукописей.

И действительно, вскоре высокий грузный мужчина с монголоидными чертами лица уже стоял возле их столика и широко улыбался, закрывая телом соглядатая.

— Здравствуйте, господа, — услышали они его сильный прокуренный голос. — Не долго ли я заставил вас ждать?

— Нет-нет, что ты, дорогой. Это моя внучка Кэтрин, познакомься. Она — молодой ученый-востоковед, работает в библиотеке Конгресса. Увлекается... историей Востока. Я вчера рассказывал, — засуетился Кетлер.

Девушка протянула руку для приветствия, а старый адмирал ее с достоинством поцеловал.

— Настоящая леди! — восторженно объявил Эркен-бей, и Роберт гордо поддержал его:

— Вся в мать.

— Дед много про вас рассказывал, — начала Кэтрин.

Адмирал, как бы не слыша ее, посмотрел по сторонам и остановил взгляд на бежевой тойоте.

— Когда ты вчера был у меня дома, я заметил недалеко бежевую тойоту. Смотрю, она и сейчас здесь. Это ваши?

— Да! — ответил Роберт. — Они присматривают за нами. Ты же знаешь, бывших шпионов не бывает.

— Ну, тогда слава Аллаху! А то мало ли что. Вот! Что

обещал. — И он протянул Кэтрин пластиковую папку с ксерокопией вожделенной книги.

Все это время Роберт неотрывно следил за молодым человеком с планшетником — тот продолжал сидеть, слушать и записывать. Потом перевел взгляд на тойоту: там тоже не дремали. Роберт заметил, что сидящий сзади в машине сделал несколько снимков незнакомца.

Подошла посольская машина.

Старый адмирал обнял на прощание приятеля, Кэтрин чмокнула его в щеку, чем немало смутила старика.

— Спасибо вам огромное, адмирал. Для меня эти материалы очень важны.

Через несколько минут Кэтрин прогуливалась в саду дипмиссии, а Роберт сидел в кабинете резидента ЦРУ Мартина Винка и с интересом слушал своего бывшего ученика.

А бывший ученик рассказал о вещах, которые заставили серьезно призадуматься Роберта Кетлера.

— Этого типа, — рассказывал Винк, — мы засняли первый раз в аэропорту в день вашего прилета. Но не придали этому большого значения. Но на второй день он в течение нескольких часов постоянно следил за вами от отеля до посольства, когда вы прогуливались пешком с Кэтрин. Затем он исчез. И сегодня появился вновь перед вашим возвращением в Вашингтон.

— У вас есть предположения, кто это? — спросил Роберт.

— До сегодняшнего дня не было.

— И что удалось узнать?

— Это господин Эндрю Габор. Австрийский гражданин. Человек из окружения бывшего советского генерала КГБ Вадима Белугина, который проживает у нас в Штатах. Вы знаете, сэр, для русских он предатель. А мы дали ему политическое убежище. Был крупной шишкой в Москве.

— А чем он занимается?

— У него небольшой экскурсионный бизнес. Немного работает на нас, в основном консультирует.

— И все? — удивился Кетлер. — Если бы не личная просьба Гарольда и важность момента, я бы ни за что не согласился лететь сюда через океан. Вы, конечно, умело организовали причину моей поездки. Придумали дело и для внучки. А старого Кетлера — к ней в сопровождение плюс пара-тройка мордovorотов. Слава богу, девочка ничего не знает. Не знает?! — Он строго посмотрел на Мартина Винка.

— Нет, сэр! Она даже не подозревает, что вы здесь по другим делам.

— Ладно! Хорошо! Оставим это. Теперь о главном. Я здесь, как мне представляется, подсадная утка для русских, по вашей версии. Но их активности я не вижу. Во всяком случае, в течение недели. Вечером мы улетаем, но внимания с их стороны никакого. А может, я не в курсе деталей всей операции и чего-то не знаю? Ты, сынок, не позволишь из старого Роберта Кетлера сделать дурака? Здесь что-то не так. А?

— Что вы, сэр! Как возможно! Если бы что знал, я бы вам сказал. Пока все идет по плану. Согласно нашим расчетам, они должны с вами войти в контакт. Где и как — не знаем. Пока не знаем! Но сегодня до вашего отлета это обязательно должно произойти. Иначе зачем они... — Винк запутался.

— Ну ладно! Успокоили вы меня. Только берегите мою девочку. Смотрите, чтобы с ее головы волос не упал. А то Гарольд от меня получит. Как в старые добрые времена, когда у меня бегал в помощниках. — И, помолчав, добавил: — Вы сосредоточьте внимание на этом русском, или как его там, Габоре. Оснований больше чем достаточно. Не из-за простого же

любопытства он пытается меня слушать. И потом, вы же понимаете, такая работа одним человеком не делается. И если я со своими полуслепыми глазами увидел свое прикрытие, то они увидели ваших людей тоже. Не так ли, Мартин?

— Я думаю так же, сэр!

— Это очень хорошо. Если только соответствует действительности.

Мартин изобразил обиженное лицо.

— Вы не обижайтесь, друг мой. Но, по моему разумению, тот второй, которого мы не видели, есть главный герой нашего представления.

— Да, сэр, — молодежато ответил Мартин Винк, мечтая поскорее избавиться от дотошного старика, — и мы должны его сегодня увидеть, по нашему сценарию.

Старый волк, прочитав в глазах собеседника недовольство, ехидно заметил:

— По вашему сценарию.

Роберт встал, по-отечески хлопнул Мартина по плечу и попросил отвезти в отель: он хотел отдохнуть перед предстоящим перелетом. Интересно, какой сюрприз они еще могут подбросить?

Кэтрин не захотела остаться одна в апартаментах отеля и попросила деда отпустить ее на час-другой в город:

— Если не возражаешь, я пойду на Золотой Базар.

— Я не буду возражать только в том случае, если с тобой пойдет мой человек, — строго ответил Роберт.

— А он не будет меня дергать: не ходи туда, не ходи сюда?

Роберт усмехнулся:

— Этого я гарантировать не могу. Но попрошу, чтобы были с тобой поаккуратней.

— Ура! — воскликнула Кэтрин и подбросила вверх папку с ксерокопией исторических бумаг.

— Только бумаги оставь! — строго сказал он.

Кэтрин аккуратно положила папку на стол. И даже погладила ладошкой, как бы стыдясь своей несдержанности.

— Ты же всерьез не думаешь, что я возьму их с собой в магазин?

Не успела Кэтрин уйти, как в дверь номера постучали.

— Да! Войдите! — крикнул

Роберт.

В номер заглянула уборщица.

— Извините, сэр! На дверях не было таблички, и я решила, что можно прибраться.

— Ничего страшного, — успокоил ее Кетлер.

Женщина подошла к столу, на гладкой поверхности которого было большое пятно от пролитого вина, она смахнула лежащую рядом папку вместе со скатертью и, успев вытащить содержимое, ловко засунула другие листы, постелив взамен новую скатерть. Роберт сделал вид, что ничего не заметил. Стал недовольно бурчать:

— Плохо, конечно, что не вовремя. Но я уже привык, что у вас в Турции всегда все идет не так, как хочется.

— Извините, — ответила женщина, поклонившись по-восточному, — я только делаю свою работу. И меня здесь все хвалят.

Она выкатила из номера свою тележку, полную чистых полотенец, баночек, шампуней и прочей всячины.

Роберт встал с кресла, включил телевизор, нашел канал CNN, подошел к столу и взял бумаги, принадлежащие его внучке. С безразличным лицом он достал их из папки, полистал, затем посмотрел на свет первую страницу и так же безразлично положил бумаги на место, чему-то улыбаясь.

Неожиданно в дверях номера возникли фигуры Мартина Винка и его помощника. Роберт сразу понял, что второй помощник Винка наверняка сопровождает Кэтрин. А эти двое продолжают следить за ним.

— Мартин? Ты как здесь? — удивился Кетлер. — У нас еще целых пять часов свободного времени.

— Вы знаете, сэр, я так подумал и решил: когда еще увижу своего наставника. Дай, думаю, посижу с ним в баре, поболтаю. Не будете против выпить со мной внизу?

— Послушайте, Винк, вы хоть и мой ученик, но чувство гордости почему-то не вызываете. Скажите прямо, что вы хотите?

— Почему они не выходят с вами на связь? — уже не стесняясь, задал вопрос Винк.

— А вы бы ко мне еще взвод морских пехотинцев приставили. Тогда бы вообще люди от меня шарахались. Вы посмотрите, где я ни появлюсь, везде ваши скунсы. Одна вонь, а дела нет.

Винк подошел к столу, взял ксерокопии, открыл первую страницу и приложил к окну. Затем вторую, третью.

— Что вы делаете, Мартин?

— А вы хорошо знаете этого адмирала Эркен-бея?

— Да, конечно. Его дочь живет у нас в Штатах. Это глубоко порядочный человек. Вы же знаете, что в 1980 году, во время путча *Yaşar Karagözü* («развевающееся знамя») адмирал был в числе наших людей вместе с генералом Кенаном Эвреном. Ему крепко досталось: лишили наград, и лишь вмешательство нашего правительства и лично директора Роберта Бернса, и не без участия вашего покорного слуги, спасло этого благородного человека. Трудно представить, что после этого он захочет играть с левыми или с социалистами, тем более с курдскими повстанцами. Не тот он человек! — ответил Роберт Кетлер. — Не тот! Хотя в наше время нельзя быть уверенным ни в ком.

— И я об этом, дорогой босс, — хитро щурясь, согласился Винк. — Я возьму бумаги на экспертизу на часик, вы не возражаете?



— А как же бар? — возмутился Кетлер. — Вы же собирались угостить своего учителя... Или в ваших глазах я уже ни на что не гожусь?

— Нет-нет, босс. Вы для меня всегда будете образцом для подражания, хотя и не очень-то меня любите.

— Так мы пойдем в бар? — переспросил Кетлер, делая вид, что он туда пойдет независимо от согласия или несогласия собеседника, а на бумаги ему совершенно наплевать. — Но ты прав, я тебя недооценил тогда в Лэнгли, и поэтому угощаю!

— Иду! — согласился польщенный Мартин.

Он обернулся к своему помощнику, который с любопытством перелистывал страницы ксерокопии.

— Филл, быстро бери эту писанину — и в лабораторию. У тебя есть два часа.

«Хитрец! — подумал старый шпион. — На халяву выпить любит, но дело знает. Нам это и надо. Домой пойдем по чистой воде».

Как и многие иностранцы в Стамбуле, американцы, застревающие здесь надолго, пристрастились к блади мэри. Не были исключением и эти два человека. Один — легенда разведывательного сообщества США, второй — мечтающий стать ею.

Старый Кетлер не мог не заметить, как волнуется Винк. «Интересно, — думал он, — это волнение вызвано тем, что я доложу Гарольду о провале операции, суть которой никому из участников не известна, или это волнение охотника, ждущего конечного результата проверки? Скорее всего, и то и другое, — решил Кетлер. — В его возрасте я уже руководил департаментом стратегических операций, считай, генеральская должность. А он в пятьдесят шесть лет руководит здесь резидентурой».

Его рассуждения прервал Винк: — О чем-то задумались, босс?

— Да, Мартин! Думаю.

— И о чем? — насторожился Винк.

— О тебе, мой дорогой.

— И что вы обо мне думаете?

— Если правда — ничего хорошего. Пропадаешь ты здесь. А тебе с твоими способностями давно пора в квартире работать, молодых учить.

Винк залпом осушил свой бокал.

— Вы думаете, я этого не хочу? Эти турки и арабы у меня вот где сидят. — И он провел ребром ладони по горлу. — Жена достала! Дети после отпуска не хотят обратно возвращаться.

— Что, так здесь плохо? — удивился Кетлер. — При мне было хорошо.

— Нет! Здесь не плохо! — зарорал подвыпивший Винк. — Здесь полное говно. Для меня, во всяком случае.

Он пригласил официанта:

— Рэпэтэ.

— О'кей, сэр, сию минуту.

— Может, хватит, Мартин, — попытался остановить его Роберт.

— Нет, я нормальный. Смотри, — не унимался он, — тебе семьдесят лет!

— Шестьдесят девять, — поправил Роберт.

— Ерунда. Ты сделал блестящую карьеру. Говорят, на дружеской ноге с самим... ну, не будем называть имен! Даже сейчас, когда ты преподаешь в университете, любой цэрэушник знает, кто такой Роберт Джозеф Кетлер, твои учебные пособия. У тебя есть все. А кто есть я?!

— Твое время тоже придет. Чему нас с тобой учили в академии? Надо уметь ждать, — успокоил его Роберт.

Подошел Филл.

— Ну что? — спросил Мартин, предчувствуя ответ.

Филл развел руками:

— Ничего!

На лице Кетлера было написано: а тебе не стыдно? Но произнес он совсем другое:

— Я тебе помогу.

От этих слов на глаза Винка навернулись слезы.

— Скажи мне, Роберт, — обратился он к Кетлеру, — что все это значит? Я впервые ничего не знаю о происходящем. Мне что, не доверяют? Я даже не в курсе, зачем ты здесь. Неужели руководство не понимает, что это унинительно?

— Я пытаюсь исправить чужую ошибку, — успокоил его Роберт. — Это не моя тайна. И даже не Гарольда Стоуна. Так что извини, коллега. Но тебе должно быть приятно оказать услугу ветерану. Не так ли?

— Понимаю! — Винк успокоился. — Спасибо.

— Ты — добрый малый, — подбодрил его Роберт, — впереди большие дела. За тобой будущее, а за нами прошлое — цветники и клумбы. Вот так-то, мой дорогой.

В бар спустилась Кэтрин в сопровождении здорового парня, мокрого от беготни по рынкам.

— О! Какие вы хорошие! — воскликнула она, увидев разогретые спиртным лица деда и Винка. — Нам пора. Прошу на выход, господин Роберт Джозеф Кетлер.

Когда боинг-747 набрал высоту, Роберт и Кэтрин удобно устроились в передних креслах первого класса — на самых любимых местах несостоявшегося летчика Роберта, и Кэтрин протянула ему маленького серебряного слоника.

— Представляешь, продавец на Золотом рынке будто знал, что я собираю слоников. Я купила одного большого, а этого велели передать тебе от почитателей таланта, попросив вручить один на один. Когда же я спросила, почему такая секретность, он ответил: «Отдашь слоника и увидишь, как дед обрадуется. Только тет-а-тет».

Дед взял слоника на длинной серебряной цепочке и поцеловал внучку в лоб.

— Молодец! Это мой талисман.  
— И все? — возмутилась Кэтрин.  
— Нет, следующая поездка за мой счет.

— Правда! — обрадовалась Кэтрин. — А она будет?

— Это уже от тебя зависит, — ответил Кетлер.

Странно, но в аэропорту имени Джона Кеннеди Роберт вновь заметил за собой слежку. И это было совсем нехорошо. И в который раз про себя он ругал Гарольда, уболтавшего его, старого дурака, поехать в Турцию якобы для сопровождения внучки — сотрудницы библиотеки Конгресса, специалиста по странам Ближнего Востока.

Среди пассажиров Роберт заприметил странную пару — высокую, как видно, не совсем здоровую негритянку довольно привлекательной внешности в сопровождении рыжеволосого небольшого роста мужчины, в которого она вцепилась, словно клешнями. Дама с глазами навывкате шла походкой электронного робота и дико озиралась по сторонам. Роберт заметил, что парочка кое-как забралась в такси и умчалась в город.

Старого шпиона не бросили: в толпе встречающих он узнал помощника Гарольда Стоуна и облегченно вздохнул. Кэтрин завезли по дороге домой и поспешно рванули в Лэнгли.

Зайдя в кабинет Стоуна, Кетлер не без труда понял, что руководитель управления внутренних расследований крайне недоволен.

Вежливо поздоровавшись и спросив о полете для вежливости, Стоун перешел с места в карьер.

— Ты знаешь, я до последнего надеялся, что они появятся. Мы вели тебя до самой посадки — и ничего!

— А что же в самолет не вошли? — в упор спросил Роберт.

— Ты серьезно? — обиделся Гарольд.

— Я много лет в профессии, и, видно, когда буду умирать, наверняка задамся вопросом: чего я недоглядел или что сделал для того, чтобы это произошло именно в данный момент, — начал свою речь Роберт. — Они ведь тоже не дураки. И наверняка десять раз все просчитали, чтобы принять решение.

Я могу сказать одно: с их стороны была блестящая работа и подготовка, а мы, как всегда, работали нагло, безалаберно, тупо. А здесь нужны изящность, тонкость, изобретательность.

— Ты что, их видел, Роберт? — чуть ли не заорал Стоун и, встав из кресла, вплотную приблизился к Роберту.

Его лицо было так близко, что Кетлер поморщился от сильного запаха виски и нездорового желудка.

— Рассказывай. Пока все не опишешь, я тебя не отпущу, клянусь Богом.

— Гарольд, дорогой, не надо на меня так давить. Я все тебе расскажу, но я пока не готов. Надо проанализировать материал. У меня встреча с другом. Я из-за тебя не был у него на дне рождения...

— Друг подождет! — почти визжал от нетерпения Гарольд. — Давай излагай.

Кетлер приложил руку к груди, нащупал подаренного слоника и начал излагать версию случившейся неудачи.

— Во-первых, хочу отметить, что Мартин Винк, наш резидент, все отработал как надо. Мы подготовили три встречи с моими старыми друзьями, последняя была с адмиралом. Объект на связь не вышел.

— Но почему? — снова вскричал Гарольд. — Что помешало?

Роберт ответил сразу:

— Группу обеспечения операции надо было иметь поменьше и держать подальше. Складывалось впечатление, что ребята не столько стремились обеспечить

мое прикрытие, сколько следили, чтобы я что-то сделал не так. И что самое главное, они подготовились очень хорошо. Я заметил слежку и рассказал о ней Винку. Думаю, Винк не придавал большого значения тому, что ваш арабский информатор, собираясь на встречу со мной, зачем-то задействовал людей бывшего русского генерала Белугина, который давно с потрохами наш. Это настораживает.

Я видел одного его помощника. Но думаю, их было минимум двое на последней встрече. Они меня вели до самого аэропорта. И у меня сложилось впечатление, что здесь, по прилете... — Кетлер умолк и вдруг неожиданно спросил: — А не могло у вас произойти утечки информации?

— Нет! — твердо ответил Гарольд. — Это невозможно. Кроме директора и меня о твоей миссии не знал никто. Что касается людей, которые вели тебя до аэропорта и здесь, разберемся. — Он встал из-за стола, подошел к шкафу, достал сигары и протянул Кетлеру: — Твои любимые.

Какое-то время они молча курили. Гарольд стоял у окна, Роберт — за столом.

— Давайте, мистер Кетлер, еще раз прокачаем с вами сложившуюся ситуацию. Как все было. Не возражаете?

— Давайте попробуем, — согласился Роберт, довольный тем, что повернул разговор в нужное ему русло.

**Месяц тому назад.  
28 мая 201... года.  
Штаб-квартира Лэнгли,  
штат Мэриленд. 11:00**

Бывший директор департамента планирования стратегических операций, находящийся в почетной отставке, был приглашен к начальнику управления внутренних расследований ЦРУ.

Гарольд встретил ветерана как старого друга.

— Рад вас приветствовать, сэр, в стенах родной обители.

После обмена любезностями Гарольд ввел господина Кетлера в курс дела, из-за которого его пригласили на встречу по личному поручению директора.

Суть дела сводилась к следующему: три дня назад в отдел общественных связей ЦРУ поступило письмо на имя директора, в котором сообщалось, что автор настоящего письма владеет информацией о том, что целый ряд сотрудников ЦРУ, АНБ, Госдепа, Администрации президента находятся на содержании финансовых структур «Аль-Каиды» в Катаре. В подтверждение своих слов он написал код доступа в электронную почту, в которой была распечатка финансовых отношений офицера комитета начальников штабов с террористами. Этот офицер несколько месяцев назад при аресте покончил с собой. Но данные информатора потрясли директора. Офицер в списке был указан под номером 17. Весь список состоял из 21 человека.

Напротив каждой цифры стояли обозначения ведомства: ФБР, ЦРУ, Госдеп, АНБ, Министерство финансов, Конгресс, Сенат и т. п. Для передачи этого списка источник определил Стамбул и назначил лицо, которому эта информация будет передана лично, — Роберта Кетлера. Не сразу поняли, почему именно Кетлер, но в конце письма стояла подпись «Юдиф».

Когда проверили, кто такая «Юдиф», оказалось, что в списке агентов ЦРУ это псевдоним сотрудника CRS Национальной службы разведки Канады Филиппа Трауберга. Две точки в конце имени говорили, что это именно он.

По информации русского перебежчика Белугина, в начале 90-х Трауберг был объектом внимания Штази (разведка ГДР) и русских спецслужб. После слома Берлинской стены документы Штази це-

ликом оказались у контрразведки ФРГ и нашего ФБР. И информация не подтвердилась. Но Трауберг со службы ушел. Занялся журналистикой. Написал несколько книг. Связь с ЦРУ была утрачена.

Почему выбор пал на Роберта Кетлера, объяснялось просто: Трауберг был в числе приглашенных стажеров в учебный центр ЦРУ для обмена опытом. Здесь Кетлер его и заметил как самого способного и предложил работать вместе на ЦРУ. Получалось, что агент ищет связи со своим бывшим руководителем.

Вспоминая эту встречу, Роберт Кетлер неожиданно высказал мысль, которую никак не ожидал услышать Гарольд.

— У меня сложилось такое впечатление, что кто-то кроме нас знает о списке и ждет нашей реакции.

— Нет. Еще раз нет! — сказал, как отрубил, Стоун и начал издавать: — Мы никак не могли понять, почему Трауберг выбрал Стамбул для передачи документов. Казалось бы, при современных технологиях это можно сделать где угодно. Вообще не выходя из дома. Ну хорошо. Не хочешь пользоваться Интернетом, прилетай в Штаты, в Англию или Францию в конце концов. Но почему Стамбул?

Кетлер внимательно слушал, а Стоун продолжал рассуждать вслух:

— Вот ты сейчас был там, Роберт. Как ты думаешь, почему Стамбул?

Кетлер ответил:

— Это осиное гнездо, там легко затеряться. А что дал поиск Трауберга? Хотя какой-то след его обнаружили?

— Я лично не был уверен, что на встречу выйдет лично он. Три года о нем ни слуху ни духу, нигде не засветился.

— А о чем его книги? — неожиданно заинтересовался Кетлер. — Может, они нас могут навести на его след?

— Это любопытно, — согласился Стоун и поручил помощнику запросить информацию.

— Ты говоришь, за тобой следили?

— Однозначно! — подтвердил Роберт. — Может, это были наши?

Роберт посмотрел на Гарольда и все понял — о наших не могло быть и речи.

— Ну ладно, опустим пока это, — пробормотал Стоун как бы про себя, не спеша раскуривая потухшую сигару. — А ты знаешь, мы поговорили с этим Эндрю Габором, пока ты летел.

— Это уже интересно, — ожилился Кетлер.

— Ты оказался прав, их действительно было двое. Его самого и дружка нанял некто, поручил следить за Адмиралом и докладывать о каждом его шаге. По телефону договорились о предоплате в условленном месте — три тысячи долларов в день. Отработали честно, все записали, и твой разговор тоже.

— И что? — усмехнулся Роберт.

— Ничего!

— Я не про мой с ним разговор, я про другие.

Стоун понял намек.

— Не обижайся, пожалуйста. Ты же знаешь, работа такая.

— Я не обижаюсь, — ответил Кетлер. — В тех, других разговорах есть что-нибудь интересное?

— Ничего! Пустая болтовня о бизнесе, о семье, о еде, о диабете.

— И что? Выходит, я с внучкой съездил зря. Прокатали впустую деньги налогоплательщиков!

— Наверное, не совсем зря, — ответил Стоун. — Результат есть! Отрицательный, но результат!

— Я бы так не утверждал, — как можно равнодушнее отреагировал Кетлер.

У начальника управления внутренних расследований от удивления вытянулось лицо. Только сейчас Кетлер заметил, как постарел Стоун за последний

год. А ведь ему всего немного за пятьдесят, а выглядит куда старше, похоже, пьет в одиночку. Тяжело, видеть, в дерьме возиться.

Стоун обратился весь во внимание и принял стойку, словно охотничий пес, заметивший добычу.

— Мартин Винк, — тихо сказал Кетлер.

— Что Мартин Винк? — не понял Гарольд.

— Мартин Винк в 1989 году был командиром группы в нашем учебном центре, где Трауберг стажировался.

Лицо Стоуна вытянулось от неожиданности.

— Ты хочешь сказать, что Винк — причина того, что встреча назначена в Стамбуле?

— Ну, как версия! Почему нет?

Зазвонил телефон, Стоун резко поднял трубку.

— Да! — Он внимательно слушал, не отрывая взгляда от бывшего босса. Затем дал кому-то задание тщательно проштудировать содержание.

Роберту не пришлось задавать вопросы — Стоун все рассказал сам.

— Филипп Трауберг занимается изучением истоков терроризма, его социальными корнями. Все его работы посвящены этой тематике.

— Значит, — заключил Роберт, — материалы, которые он хотел через меня передать, представляют исключительную важность для США и не дай бог попадут в чужие руки.

— Да! — согласился Стоун. — Я доложу директору. И дам тебе знать, — сказал он отрешенно, явно уносясь мыслями к другой теме. — В любом случае большое, большое спасибо. Опыт — его не купишь, не пропьешь. Это точно.

Уже выходя, Роберт повернулся к Стоуну:

— Если тебе интересно мое мнение, то Трауберг — не враг. Он — друг. Преданный нами друг!

### ГЛАВА 3. В ОВАЛЬНОМ КАБИНЕТЕ

**В** Овальном кабинете Белого дома вошли двое.

Дженнифер Джонс, помощник президента по национальной безопасности, внешне представляла собой высокую стройную мулатку с ногами, что называется, растущими от груди. Многие злые языки объясняли ее присутствие в ближнем окружении Большого Босса именно этим обстоятельством. Тем более что назначение на столь значительную должность было исключительной прерогативой именно хозяина Белого дома.

Единственное, что портило столь привлекательную внешность, — выражение лица, напоминающее своей невозмутимостью маску сфинкса и выказывающее полное безразличие ко всему окружающему миру. Дело! И только оно! Маска говорила: работа — мой бог и мой крест. Однако в кулуарах администрации ходили слухи, что в бытность свою преподавателем в Стэнфордском университете мисс Джонс была та еще штучка. Маска сфинкса появилась уже после какой-то любовной истории, что и стало причиной желания с головой уйти в политику. В конце концов Дженнифер Джонс оказалась здесь, проявив себя как самый преданный представитель демократов и лично Бобби.

Вместе с ней в кабинет проследовал молодой человек. На вид ему было не более тридцати лет. Брюнет с голубыми глазами, в очках, среднего роста, сутулый. В руках у него находилась набитая бумагами папка. Одет он был в невыразительную одежду: однотонный костюм, непонятого цвета галстук, белую рубашку.

Он так сильно сутулился, что со стороны могло показаться, что «сфинкс» силой затаскивает его в кабинет. Звали его Патрик Миллер.

В Овальном кабинете Патрик оказался впервые несмотря на то, что офис, где он работал, находился здесь же, в Белом доме, только в его западном крыле. В приемной сидел часто с кипами документов, когда начальница заседала там, но сам внутри не был никогда. Поэтому ему было немного страшновато и любопытно одновременно.

В жизни этот молодой человек был неловким, непрактичным и очень нуждался в опеке. Такая рассеянность объяснялась тем, что Патрик был удивительно увлеченным человеком и отличным аналитиком, уходил в работу с головой. Мыслил нестандартно, был необычайно талантлив. Присутствовали в нем какая-то доброта и простота в общении, что необычайно привлекало людей. А его умение слушать часами, терпеливо, не перебивая собеседника, вызывало желание рассказать гораздо больше, чем хотелось.

Патрик никогда не возражал. Излагая свою точку зрения, был столь убедителен, что крыть было нечем.

Итак, в Овальном кабинете Белого дома Патрик Миллер оказался впервые. К его удивлению, сразу возникло ощущение уюта и защищенности.

Президент оказался вблизи ростом повыше, чем когда выходил на лужайку, и улыбнулся только один раз, здороваясь с вошедшими. Рука у президента была легкая, сухая, слегка изобразившая пожатие. Патрик же нажал, как мог. Он заметил по мгновенно сканирующему взгляду президента плохо скрываемое удивление и любопытство. И понял: про него известно все и даже больше, чем хотелось.

Подумав об этом, он принялся теревить подбородок, но, осознав оплошность, резко опустил руку. Хозяин Овального кабинета

знаком пригласил присаживаться поудобнее.

К своему удивлению Патрик заметил, что при виде босса маска «сфинкса» превращается в милую мордашку. Она чувствовала себя свободно, почти как дома.

Принесли чай. Когда прислуга вышла, маска первой начала разговор:

— Вот, господин президент, как и обещала, привела к вам виновника, моего работника, аналитическая справка которого вызвала недовольство в компетентных кругах.

— Меня ваш анализ серьезно расстроил, — внезапно и как-то неожиданно заявил хозяин кабинета. — Но Дженифер убедила меня, что вы работали очень серьезно и ваши выводы имеют под собой основу. И уж если это так, то ваше видение такой концепции развития имеет свою ценность. Даже если учесть, что реально существуют только ее какие-то отдельные элементы, это должно быть важно для меня. Скажем, для общего понимания проблемы. Речь идет не о пропаганде, а о сугубо материальных вещах.

Он внимательно посмотрел на Патрика, который ни разу не прикоснулся к чаю из-за того, что дрожали руки.

Президент все понял и улыбнулся. Он любил производить впечатление.

— Дженифер мне сказала, что вы русскими занимаетесь совсем недавно и что вы были далеки от этой тематики.

— Да, господин президент. Но это скорее хорошо, чем плохо, — ответил Патрик почти скороговоркой.

Дженифер и президент переглянулись. Патрик понял, что пора разъяснить.

— У меня отсутствует засоренность сознания стереотипами, идеологическими штампами. Я беру конкретный материал,

очищаю его от всякого лишнего, оставляя исключительно факты, цифры и задаю вопрос: кому это надо? В итоге получается почти математическое моделирование ситуации в чистом виде. При таком анализе четко видно, как планировалась тактическая операция, какими силами и средствами, что получилось в реальности. И что повлияло на результат. В итоге видно, кому это выгодно. То есть реально вырисовывается причинно-следственная связь, без эмоций, без идеологии и всего лишнего, как конечный продукт, результат вложенного труда и средств для определенной цели. Правда, при таком анализе очень часто получается, что объявленные цели плавно перетекают на второй план. И вырисовывается совсем другая главная задача. Остается только понять, произошло это вследствие какого-то плана или явилось следствием ошибок или обстоятельств. Но решать это уже не мне. Я делаю только с моей точки зрения и по моей методике.

Я пришел к выводу, что идеологический аспект дела, пропаганда, человеческий фактор важны только в сегменте выполнения задачи исполнителями. С точки зрения сути дела, его конечного результата, значение имеет только выполнение или невыполнение. Другая сила — это векторы влияния. Они могут или испортить все, или помочь лучше выполнить задачи.

Президент молчал. Затем вдруг встал из-за стола и стал ходить по кабинету.

— Вы еще молодой человек, Патрик. Безусловно, талантливый. Но в Белом доме дураков и не бывает, чтобы здесь работать, надо иметь выдающиеся способности. И они у вас есть. Но одних способностей мало. Надо иметь нюх, чувствовать конъюнктуру.

Я согласен, ваше незнание глубокой предыстории предмета может пойти на пользу. Но раз

уж вы работаете в столь щепетильном направлении, где люди по кирпичику собирали необходимую информацию, надо быть очень внимательным и осторожным с выводами. Вас трудно обвинить в симпатиях к России, и все же...

Вот вы пишете, вернее, делаете вывод: «Антироссийское лобби, которое пронизало враждебностью к русским все структуры государственной власти, а в особенности силовой блок, главным образом мотивируются финансовой зависимостью как физических лиц, так и корпораций от военного бюджета».

Следующее: «Идеологические факторы не позволили интегрироваться с новой Россией ни в экономические, ни в политические, ни в военные структуры на фоне роста террористической угрозы, идущей из Азии и государств исламского мира, фундамент которых мы заложили сами».

И последнее: вы делаете вывод, что безопасность США заложена в интеграции с Российской Федерацией. Кто вам это сказал, Патрик?

Президент сел рядом с Дженифер:

— Говорите! Говорите! Я слушаю вас.

— Сэр, я проанализировал огромный материал за последние семьдесят лет, я его систематизировал. И я вывел преамбулу нашего государства, которая не может понравиться. Но это, с моей точки зрения, чистая правда.

— И в чем суть этой самой преамбулы? — спросил серьезно озадаченный хозяин Овального кабинета.

Патрик посмотрел на Дженифер. Та еле заметно кивнула головой.

— Мы — Соединенные Штаты Америки — являемся государством войны. Война для Америки, с точки зрения политических и финансовых элит, — благо!



— О как! — вырвалось у президента.

Но Патрик продолжал:

— После Второй мировой войны, которая спасла нас от кризиса и на которой мы серьезно обогатились, понеся минимальные потери, она получила название «good war»<sup>1</sup>, и с тех пор войны стали нашим кредо. У нас не было ни одной администрации, которая бы не развязала где-нибудь войну. Это заставляет весь мир помнить о нас и бояться. А во-вторых, мы постоянно охотимся за тем, чтобы обогащаться чужими ресурсами. Это стало нормой. Мы утратили чувство меры и притупили бдительность. Но теперь мир изменился. А мы этого не заметили.

Мы думали, что уничтожили русских, а они, как птица феникс, возродились из пепла и сегодня стали гораздо сильнее, чем были в конце прошлого века.

Сложилась картина, о которой я писал в аналитической справке. Самые высокие экономические результаты, самые глубокие сдвиги в политике, самые значимые экономические результаты в США были тогда, когда отношения с СССР или Россией были на самом высоком уровне.

И наоборот.

В мире очень много сил, и я могу это доказать, которые страшатся нашего союза с русскими, союза, который бы лишил их возможности манипулировать общественным и национальным сознанием народов, американским в частности.

— Вот дает! — вырвалось у президента. — Вам сколько лет, Патрик?

— Двадцать девять, — ответил Миллер, откровенно стесняясь своей молодости.

— Очень интересно мыслите. Вас трудно заподозрить в симпа-

тии к России, но Дженифер права, ваша точка зрения и подход к проблеме весьма любопытны.

Затем он обратился к Дженифер:

— Вы отдадите вашу аналитическую справку специалистам по России. Посмотрим, какое они сделают заключение.

— Я, господин президент, по этому поводу не обольщаюсь, — неожиданно для самого себя заявил Патрик. — Мне была поставлена задача, я ее выполнил, приложив максимум усердия. Я хочу быть полезным своей стране, не хочу быть простым, никому не нужным чиновником.

Хозяин Овального кабинета строго посмотрел на Патрика.

— В семнадцать разведывательных структурах и в министерстве обороны, куда ваш анализ был разослан как альтернативный, он произвел эффект разорвавшейся бомбы. Практически все, кроме одной структуры, с вами категорически не согласны. Именно поэтому я решил послушать вас лично. Исключительно по настоянию вашего босса. И я не жалею, что потратил на вас время. Вы меня, конечно, не убедили. Но подумать есть над чем.

Президент встал, давая понять, что встреча закончена, протянул Патрику руку.

— Спасибо. — Он крепко сжал его ладонь, почти до боли. — Дженифер, а вы задержитесь.

Он подошел к своему столу, нажал кнопку охраны в приемной:

— Бил, меня час ни для кого нет.

Железная маска расплылась в улыбку и расстегнула пуговицу на кофточке. Президент обнял ее за упругие ягодицы, умело и как-то привычно задрал юбку и усадил на стол.

— Боб! Ну ты даешь.

— А ты? Как тогда, в Лас-Вегасе. Помнишь?

— Угу.

## ГЛАВА 4. ЛЮДИ, КОТОРЫХ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

Приехав домой, Роберт Кетлер принял душ, переоделся в смокинг и попросил Кэтрин пристегнуть ему любимую бархатную бабочку, носить которую полагается настоящему джентльмену. Но перед этим он извлек из слоника флешку и быстро воткнул ее в свой компьютер.

На мониторе возник мужчина приятной наружности, в котором Кетлер узнал Филиппа Трауберга.

— Дорогой Роберт, — раздался его голос, — если ты смотришь эту запись, значит, я еще жив и здоров. Мне непросто было раздобыть этот материал через моих друзей в Катаре. Там очень хорошо поставлена вербовка нужных людей, но еще лучше они следят за финансовой отчетностью своих клиентов. Давая им ссуды, они тщательно контролируют движение средств, причем нередко сами создают схемы легализации денег. Взамен требуется все, что в компетенции клиента: информация, оружие, контракты, технологии. Я передаю тебе только блок, где задействованы граждане США.

Еще имеется такая же документация на англичан, французов, русских, украинцев. Но это другая тема. Обращаю твое внимание только на один факт: я сделал проверку списка. И у меня сложилось впечатление, что в него попали одни из самых порядочных людей Америки, многих из которых ты знаешь лично. И кто-то очень сильно заинтересован в том, чтобы их скомпрометировать. Но почему и для чего, я не знаю. Предполагаю, что они обречены. Попробуй разобраться сам. Возможно, успеешь помочь.

Я буду счастлив, если ты сумеешь воздать должное тем, кто это организовал. Список поможет тебе принять верное решение. Удачи, друг. Бог даст, увидимся.

<sup>1</sup> Good war — хорошая война (англ.).

Кетлер посмотрел на список, высветившийся на экране, и обомлел: напротив каждой фамилии при нажатии кнопки клавиатуры открывались полная картина движения средств, даты проведения транзакций, номера счетов в банках, названия офшорных компаний... Было видно, что кто-то очень хорошо потрудился, чтобы собрать в одних руках такую разрозненную и разбросанную по всему миру информацию.

Имена, содержащиеся в списке, не могли вызывать сомнения. Это были самые уважаемые общественные и политические деятели Америки, чиновники высокого ранга.

Но что его заставило содрогнуться, так это имя человека, которого он собирался поздравлять с днем рождения. Тони Батлер был его коллегой, потом сделал карьеру заместителя госсекретаря.

«Бедный Тони, — подумал Кетлер, — чем же ты им не угодил?»

Он вытащил флешку, засунул ее в слоника и надел на шею.

Батлер был на десять лет старше Кетлера, последнее время сильно болел, но держался молодцом. Жил полной жизнью, как бы насмехаясь над своим недугом. Постоянно где-то тусовался, мелькал в телевизионных шоу, иногда давал интервью.

Такси уже ждало у дома, и Кетлер, прихватив цветы и подарок, отправился к дому Батлера. Опять он заметил «хвост», но ничего не сказал водителю, хотя и без слов было ясно, что так могут работать только частные охранные структуры исключительно по заказу Большого Босса. Скорее всего, «главный» кто-то из наших...

Нашел он своего друга в добром здравии и веселом расположении духа.

— Дружище Кетлер, как я рад тебя видеть, старый ты пердун!

— Я пердун? — возмутился Роберт. — Да я мальчишка по сравнению с тобой.

Тони возражать не стал. Что есть, то есть. Их шум услышала хозяйка дома Барбара и выбежала на крыльцо в сопровождении прислуги.

— Роберт, здравствуй, дорогой, — залепетала она, обнимая его.

Освободившись, Роберт извлек из машины огромный букет чайных роз, издающих чудесный запах, и торжественно вручил его Барбаре.

— Это вам, моя дорогая, в знак бесконечно глубокого уважения, любви и преданности вашему дому. А это, — Роберт вновь повернулся к машине, где водитель уже передавал ему огромную коробку, — имениннику в честь его семидесятидевятiletия.

Вошли в дом. Видно было, что Тони разбирает любопытство.

— Не скажешь, что это? — спросил он.

— Открой — узнаешь! — интригуяще ответил Кетлер.

Открыли коробку, и перед взорами собравшихся возник расписной русский самовар.

— Ой! — воскликнула прислуга, не сдержав восторга.

— Это, — гордо объявил Тони Батлер, — русский самовар. Русский чайник. Я давно мечтал о таком. В 1996 году хотел купить в Москве, но не смог. Уехал. Очень располагает к беседе.

Он протянул руку Роберту.

— Спасибо! Давно хотел иметь такой, ты знаешь.

— Я знаю! — ответил Роберт. — Поэтому и вез из самого Стамбула-Константинополя.

— Спасибо, спасибо, дорогой. Удивил очень приятно, удивил. Ты это всегда умел.

Самовар опробовали сразу — пили чай с большим яблочным пирогом. Барбара пришла в полный восторг и стала перечислять подру-

жек, кого она завтра пригласит на са-мо-вар.

Закончив с застольем, мужчины уединились в рабочем кабинете Батлера. Он извлек из шкафа бутылку коньяка и, разлив по бокалам, прокомментировал:

— Врачи рекомендуют ежедневно, но понемногу. Должен тебе сказать, очень способствует повышению тонуса.

Кетлер взял бутылку.

— Откуда это у тебя? Это же из Грузии. «Варцихи».

— Да, — согласился Батлер, — это мне еще на именины Шеварднадзе прислал семьдесят бутылок. Удивительный напиток. Французский после него — компот с виски. Букет чувствуешь?

— Изумительно! — подтвердил Роберт.

— Так ты летал в Стамбул по заданию директора?

Кетлер сделал глоток:

— Чудо! Да, Тони, я им, видите ли, снова понадобился. Но дело, как мне кажется, с запашком, сильным запашком.

Батлер усмехнулся:

— Друг мой, я как бывший заместитель госсекретаря могу тебе сказать абсолютно точно — в Лэнгли без запаха дел не бывает. И хорошо, если чьи-то ослиные уши не торчат. Они обосрут, а мы им жопу подтираем. Извини, я не про тебя. Но ведь правда, уже давно трудно понять, где ЦРУ, а где Госдеп, — все в одном котле варимся.

— Спасибо, что выделил, — пошутил Кетлер.

— На здоровье! — ответил Тони и, заговорщицки посмотрев на Кетлера, спросил: — Курить будешь?

Роберт не возражал.

Батлер засуетился, достал коробку и запел:

— Коньяк, сигары, старый друг, пойдем найдем себе подруг.

Кетлер еще в машине думал, говорить другу о списке или нет. Но, обнаружив за собой «хвост», решил повременить. Может, удастся

разобраться. Что ни говори, для Тони это будет травма. Тем более что список этот реально не внушает доверия. Но как сделано!

Стиль откровенно наш...

— О чем ты думаешь? — прервал его мысли Тони.

— О поездке в Турцию. Очень там все изменилось после того, как я получил должность в Атаве.

— Да, ты тогда приехал ко мне в посольство таким молодым, горячим Пинкертоном-жеребцом. Мне тебя нахваливало тогдашнее твое руководство.

— Да, было дело. Но ничего особенного, чем можно было действительно гордиться. Холодная война. Голод на конкретный материал, сплошная пропаганда. Неожиданно повезло. Сработал как надо — и все!

— Ну ты мне никогда не рассказывал, что ты там сделал такого выдающегося. Сейчас-то, наверное, говорить можно? Когда это было?

— 15 мая 1981 года, — ответил спокойно Кетлер.

— Боже! Сколько лет прошло. Больше тридцати. И все же, может, расскажешь, Роберт?

Кетлер допил свой коньяк, и Батлер участливо наполнил его бокал снова, превратившись в само внимание, а Роберт начал вспоминать.

— Штаб-квартира находилась в самом центре города. Она и сейчас там. Но мне по долгу службы необходимо было периодически с коллегами выезжать на границу. Обычно самолетом до Трабзона, а потом на машине до Хопы, и затем в Сарпи — небольшой пункт, тогда разделенный границей пополам. Там у Советов был большой пограничный пост. И на нашей стороне тоже. Совершенно рядом друг с другом, около ста метров, ну, может, чуть больше. И турки, и русские границу охраняли крепко. Чуть что не так — все могло закончиться боевым столкновением. Случаи

такие редко, но возникали. Не без этого. Но удавалось как-то договариваться. Зря рисковать никто не хотел. Поэтому взаимопонимание было. Там, в Сарпи, у нас была вилла. Жители и их родственники жили и на той, и на этой стороне села. И чтобы встретиться, нельзя было перейти границу здесь, а надо было получить визу. Добраться из села в Батум, оттуда до Москвы, из Москвы в Стамбул и лишь только потом через Трабзон к родственникам в Сарпи, которые живут в полумиле от твоего дома. Представляешь?

— Честно говоря, не очень, но сочувствую этим людям, — согласился Тони.

— Надеюсь, ты догадываешься, как для меня было важно встретиться с приезжими с той стороны. И я не пропускал ни одной такой возможности, нужна была хоть какая-то реальная агентура. На вилле у нас был прекрасно оборудованный пост наблюдения со всеми самыми современными прибабасами. Мы ежедневно прослушивали все переговоры по телефонам в русском приграничье, и, как ты понимаешь, ничего интересного. Рутинка вводит в депрессию. Мы знали все про всех. И ничего одновременно. Но живое общение — это совсем другое. Хотя бы для того, чтобы составить красиво отчет и показать, что ты работаешь. Не поверишь, но у русских были такие же проблемы. Это я уже узнал позже.

Незадолго до этого, когда в горах сошел последний снег, я с местным старостой и командиром жандармского поста проводил плановую встречу, пригласив их на балкон виллы. Я сказал им, что нам нужна новая дорога от виллы в тыл, через перевал. Мы видим все, что творится у русских на посту и в окрестностях. А о нашей новой будущей дороге они ничего не могут знать. Пусть наблюдают за старой

хопинской трассой вдоль побережья, а мы приезжаем с другой стороны, а потом уезжаем так же. Понимаешь?

— Умно! — согласился Батлер.

— Короче говоря, староста пригнал бульдозер, и через три недели дорога была готова.

— И что, за эту дорогу ты получил благодарственное письмо директора ЦРУ?

— Нет, конечно! — обиженно ответил Роберт. — Но потом она сыграла очень важную роль. — Он замолчал.

— Ну, давай рассказывай. Интересно же. Я редко такое слышал. Тема какая-то дорожная. Сути не улавливаю, — попросил Батлер. — У нас же все через банкеты и фуршеты, а у вас смотри как непросто, даже дороги строите!

— Так вот, 15 июля я проводил работу с одним из местных жителей русского села Сарпи, который приехал к родственникам. Я был с помощником, тот вел запись в соседней комнате, и мы, как правило, встречались в местном духане, где все было заранее подготовлено. Турецкий я знаю хорошо. И вот мне этот Юсуп говорит...

— Извини, Роберт, я не понял. Юсуп русский или турок? — перебил его Батлер.

— Юсуп — русский турок, аджарец. Это грузинский этнос, который разговаривает и по-русски, и по-грузински, и по-турецки. Так во всяком случае было тогда.

— Теперь понятно. Извини, ну, давай дальше, — улыбнулся Батлер и снова разлил коньяк по бокалам.

— Так вот, этот Юсуп мне рассказывает, что в Сарпи на пограничный пост зачастил какой-то большой начальник из Москвы. Одни называют его полковником, другие профессором. Приезжает на машине батумского командира в сопровождении офицеров, а бывает, что и один.

Я тут же попросил жандарма запросить, не появляется ли этот человек на других участках. Оказалось, что появляется и в местечке Кирнати, и в Марадиди, и в Хопе. Даже с русским пограничным нарядом выходил на границу. Что бы это значило? Может, готовилась операция? Тогда бы мы совместно с турецкими коллегами отработали мероприятия по усилению наблюдения. Доложили в Лэнгли. Подключили технические возможности АНБ. Но ничего существенного не узнали. Однако чувствую, что-то должно случиться. А раз в Лэнгли доложил — заднего хода нет. Случиться должно!

В четыре утра мне звонит Ахмед Эрдели, начальник жандармерии, и говорит: на турецкий пост пришел русский из Москвы, просит начальника. Я, естественно, обалдел. Думаю: мало того, что готовят какую-то акцию, еще и пришли нагло посоветоваться через границу, на пост. Или пост уже захватили? Я устроил беретту за пояс и бегом на пост. Благо дело, что рядом. Захожу в комнату для посетителей и вижу: в окружении двух аскеров с винтовками вместе с Ахмедом Эрдели пьет чай невысокий человек, рядом офицерская фуражка советского пограничника. Армейский плащ накинут на плечи. Под плащом серый костюм, белая рубашка. Спрашиваю жандарма: он один, без сопровождения? Никого с ним нет?

— Нет, — отвечает жандарм, — перешел границу утром, в 3 часа 45 минут, прямо напротив пограничной вышки. Один.

— Что говорит? — спрашиваю его.

— Просит политического убежища.

«Ну, — думаю, — мой клиент».

Тут полковник-профессор из Москвы встает и говорит на плохом английском:

— Меня зовут Юрий Николаевич Бланков. Я гражданин СССР,

живу в Москве. Перешел государственную границу в целях получения политического убежища и гражданства Соединенных Штатов Америки.

Я уже по-русски его спрашиваю:

— Как вам удалось перейти границу? Это практически невозможно.

Он мне отвечает и улыбается, блестя золотой фиксой:

— Начальник Батумского отряда — мой друг. Мы вместе учились в пограничном училище. Я воспользовался его доверчивостью... и вот... я здесь.

Вместе с жандармом и с командиром пограничного поста мы почти бегом добрались до виллы. Мне казалось, что русские через несколько минут захватят пост. Я немедленно распорядился подготовить машину и по новой тыловой дороге скрытно выдвинулся в сторону Хопа. Там пересели на вертолет, и к 10 утра я уже был со своим неожиданным гостем в Стамбуле. Два дня я с ним и с турками хорошо поработал, затем вылетели в Штаты.

И все вот так буднично закончилось. Без перестрелок, без шума.

— Если это так, то для 1981 года это гениально, мой друг, — заявил Батлер. — За тебя! — И, отпив коньяк, спросил: — Ну а если бы тебя там не было? Что бы изменилось?

— Многое. Во-первых, не было бы дороги. Во-вторых, его бы минимум сутки держали на посту, а русские захватили бы пост и забрали перебежчика.

— Я в этом не уверен! — не согласился Батлер. — Я много с ними встречался: в дипломатической части они сильнее нас и будут действовать по международным нормам и душить другими способами.

— Это другой случай, мой друг. С русскими пограничниками шутки ой как плохи, — возразил Роберт.

— Слушай, что происходило дальше на посту Сарпи?

— Где-то около шести утра русский сержант с границы звонит на пост. «Товарищ лейтенант, полковник не возвращается. Что делать?» — «Откуда?» — спрашивает лейтенант. «От турок. С той стороны». — «А что он там делает?» — «Он пошел на встречу и сказал, что если через два часа не вернется, доложить начальнику. И еще вашу фуражку забрал и плащ-накидку. Я сам ему дал, чтобы на проверку сходил»».

Лейтенант оставался, как оказалось, за главного. Сам начальник русской заставы отсутствовал. И вот этот молодой лейтенант в ужасе, звонит старшему командиру комендатуры в Аджарис-Цхали и говорит буквально следующее: «Товарищ подполковник, профессор-полковник пошел в 3 часа 45 минут к туркам на пост. Распорядился, чтобы доложили на заставу, если через два часа не вернется. Не дождался. Что делать?»

— Как он у вас оказался? — спрашивает подполковник, еще толком не понимая, что произошло.

Лейтенант отвечает:

— Приехал на машине командира».

Короче, они объявили тревогу. Подполковник со снайперской винтовкой забрался на вышку, чтобы шлепнуть этого Бланкова, когда его повезут по старой хопинской дороге. А машины нет и нет.

Потом приехал командир — тот самый его друг. Организовали встречу с турками, а что толку. Перебежчика нет, русские не верят. Они о дороге-то не знали. Не видели, как его вывезли.

— А что было потом?

Роберт улыбнулся.

— Дальше... мы его определили в лагерь для временно перемещенных лиц и начали с ним работать. Фундаментально. Фрукт был

весьма любопытный. Оказалось, что он действительно когда-то вместе с этим русским командиром учился в военном училище. Потом его выгнали из войск то ли за пьянство, то ли за совращение малолеток. А скорее, и за то и за другое. Он же заявил, что ушел из армии исключительно по политическим мотивам, что в СССР нарушаются права человека. Ну, стандартный набор любого перебежчика, пытающегося изобразить из себя жертву режима.

Но потом стало очень интересно. Надо же на что-то жить. Он начинает заниматься фарцой — это бизнес такой купи-продай. Стал устанавливать дружеские связи с членами семей известных людей и даже политиков. Ректоры всех вузов Москвы знали его как известного профессора. И он, пользуясь обширными связями, наловчился за солидные деньги устраивать детей бонз с периферии в столичные институты.

Бизнес процветал.

Приехав как-то в Грузию, он узнает, что его бывший сослуживец по училищу командует пограничниками. Сделал так, что руководство этого края их как бы вместе свело на одном мероприятии. И дружба возродилась вновь.

Этот Бланков очень много рассказал, как живет советская элита, другой, скрытой от посторонних глаз жизнью. И это мне очень пригодилось потом. Когда мы с тобой работали вместе в Канаде по проекту «Гуру».

— Что с ним было потом? — спросил Батлер.

— Спился! Он думал, что талант авантюриста будет востребован у нас. А здесь хватает своих. Сами можем поделиться.

В конце концов он стал чуть ли не каждый день ходить в русское посольство. Достал там всех. И русские потом вернули его назад. Дали ему пять лет. Дальше не знаю. Но в моей судьбе он сыг-

рал большую роль. Меня отметили и прикрепили к тебе, под крышу.

— Да, я даже помню день твоего приезда, Роберт. Проект «Гуру» — это наш с тобой звездный час. И не только для нас. Тогда директор сам стал его опекать. Важная птица.

— А как ты думаешь, Тони, у себя, в России, Гуру сам ушел из жизни или ему помогли?

Батлер с удивлением посмотрел на Кетлера.

— Я всегда думал, что это работа твоих коллег. И не стану скрывать, я считал, что это сделал ты. Ну не лично. Или я не прав, Роберт?

Кетлер отрицательно покачал головой.

— Я был слишком маленькой сошкой, чтобы принимать такие решения. Этот вопрос был связан с изменениями геополитических приоритетов, и решение мог принять только президент. Исполнители всегда найдутся. Но это был не я, и, честно говоря, очень сомневаюсь, что это наших рук дело. В Москве у него было очень много заклятых друзей еще со времен Андропова...

— Послушай, Роберт, — перебил его Батлер, — может, останешься у меня? Твоя комната как всегда готова, и зубная щетка твоя все еще здесь. Я так давно тебя не видел. Хочется поболтать. Уважь старого друга. Когда мы...

— Хорошо! — согласился Роберт, не дав Тони договорить. — Я только сделаю звонок Кэтрин. Она живет со своим бойфрендом Патриком недалеко от меня. Квартиру снимают, — пояснил он, как бы извиняясь. — Утром придет служанка, начнет звонить ей, скажет — вещи здесь, а деда нет.

Роберт пожелал внучке хорошо отдохнуть, после встал, разминая кости.

— Может, кофе крепкого сделаешь, а то меня что-то разморило, Тони.

И тут неожиданно вошла Барбара:

— Может, мальчики что-то хотят?

Тони шутливо ответил:

— Мальчики хотят коньячку и крепкого кофе с соевым молоком.

— Сию минуту, господа! — так же шутливо ответила Барбара. — Приготовлю сама. Лично! Ваш любимый, с корицей.

— А что, — удивился Тони, — Кэтрин была вместе с тобой на задании?

— Я говорил уже тебе, так получилось. В Лэнгли все организовали, но Кэтрин думает, что это я ее сопровождал по ее делам библиотечным или научным.

— Понятно, — заключил Тони. — Но это не совсем корректно по отношению к тебе. Или же дело исключительной важности?

Роберт не хотел продолжать.

— Включи «Новости», давно не слышал голос Америки.

На экране появился президент, выступающий с очередным обращением в Академии Вест-Пойнт: «... Америка, наша демократия, американский образ жизни — это эталон справедливости. Это лучшее, что мог создать Бог для человека. Для народов мира. Мы как солнце, освещающее планету, зарождаем новую по своему образу и подобию жизнь. И ни у кого нет права судить Америку — правильно она что-то делает или нет. Потому что мы на этой земле лучшие. Мы победители в этом мире. А победителей, как известно, не судят».

Кетлер выключил телевизор.

— Интересно, какой идиот пишет ему этот словесный понос.

— Рой Шандер, — ответил Тони.

— Любимчик Реджинского?

Тони подтвердил кивком головы.

— Ну, тогда понятно.

— А как ты думаешь, Роберт, президент сам-то в это верит или для него главное шоу и...

Вошла Барбара с подносом.



— Вот, мальчишки, все что просили, и я вас покину, если разрешите.

Мило улыбаясь и кокетливо помахивая рукой, она удалилась из кабинета мужа.

— Хорошо, что она у тебя есть.

— Конечно, хорошо, — согласился Тони. Но больше на эту тему говорить не стал.

— Ты спрашиваешь, верит ли в то, что говорит, сам Бобби?

— Конечно, верит! — согласился Тони Батлер. — Пока говорит. — И начал издали: — Ты, наверное, помнишь, я ушел из Лэнгли в Госдеп в последний год президентства Джорджа Буша-старшего где-то в начале 90-х годов. Затем — в Администрации президента, затем стал помощником президента. Скажу тебе как другу, хотя мы с тобой говорили и раньше об этом. Среди президентов США дураков не бывает. А если и бывают отклонения какие-то, как у Ронни, например, то эту дурость далеко не видно. Есть люди, которые все быстренько, аккуратно приведут в порядок, поправят, подчистят и все сделают, чтобы шоу состоялось.

Понятно, что президент не может всего знать и не может быть абсолютно компетентным во всем. Со временем помощники видят, в какой тематике президент может обходиться без написанного и когда его надо страховать текстом. Любая администрация хочет сделать из президента Бога, ну хотя бы вершителя судеб в своей стране. Тогда ведь статус окружающих его персон тоже выше.

Так было всегда. Иногда мы видим, что президент обосрался, значит, им это не удалось. Но в начале 90-х годов произошел перелом. Советы рухнули. Варшавский договор сдох. И у Америки не стало сдерживающего фактора. Началась эйфория вседозволенности. Мне, Америке, все можно. Первое дело было сделано — включен печатный станок, к этому

готовились давно, а тут, наконец, запустили. Будем брать у этого мира в долг и не отдавать. Что там Римская империя — она географии не знала. А президент Америки — это президент планеты Земля. Нет на Земле такого места, где бы не было интересов США. И теперь мы потребляем этот мир, ставший нашим вассалом.

И как ни чудовищно это звучит, мы, американцы, в это поверили и проглотили, да и мы с тобой тоже. И вот однажды утром мы проснулись и заметили, что-то у нас не так: богатые становятся еще богаче, а бедные еще беднее. Наши дети постоянно где-то погибают. Экономисты говорят о приближающемся коллапсе мировой экономики. В какую бы страну мира мы ни приехали, нигде не видно, что нас любят или хотя бы уважают. В наших президентов ботинки начали бросать...

И если простой обыватель на эти факты может наплевать или даже не знать их, то ничего удивительного, что наша нация по большому счету с точки зрения общепринятых норм — сегодня самая необразованная. Развиваемся главным образом за счет переманивания мозгов эмигрантов.

— Ну ты загнул, Тони! — остановил его Роберт.

— Нет, не загнул. Есть культура нации, образованность, традиции. У нас эти сферы деятельности, как и все информационное пространство, дозированы специальными программами и направлены на зомбирование американцев. Мир, который нам показывают политики, превратился в иллюзию. А в реальную жизнь окунуться страшно. — Тони отхлебнул коньяк и добавил: — Я объездил весь мир. Мы с тобой принимали участие в развале Советов, но я тебе скажу, такого иезуитского зомбирования, как у нас, не мог сделать в этом мире никто. Мы у Гитлера переняли

формы и методы геббельсовской пропаганды и довели ее до такого совершенства, что абсолютное большинство американцев не могут даже мысли допустить, что у нас что-то не так. Это там где-то мусульмане или русские нагадили, а мы отдуваемся. Мы — лучшие!

Если раньше знали, что обанкротившийся бизнесмен мог еще подняться, то теперь такое уже не случится. Сегодня главный человек не предприниматель или промышленник, не инженер, не рабочий, а биржевик, брокер, торгующий воздухом. Юрист, который дерет с тебя сумасшедшие деньги, чтобы выиграть процесс по продлению кредита, даже адвокату надо заплатить сумму, равную стоимости оспариваемого дома. Я недавно с делегацией был в Детройте — он может служить антуражем для фильмов ужасов. Разве возможно, чтобы людей власть ставила в такое положение? Полное безразличие.

— Может, они не знают?

Кетлер опять оживился. Ему так было хорошо на диване с бокалом коньяка и сигарой, да и кофе чуть взбодрило.

— Знают, — поправил его Батлер, — и направляют и говорят, что и как делать!

— Ну это уж слишком. Я понимаю, ты не любишь этого самолюбленного павлина, но... — Кетлер специально начал распылять своего друга, он снова почувствовал себя разведчиком и пытался найти взаимосвязь между списком Трауберга и тем, что говорит его друг.

— И что самое интересное, те люди, которые не согласны с сегодняшними реальностями, уважаемые в стране люди, которые пытаются воздействовать на президента, конгресс, сенат, попадают под прицел прессы, шельмуются политическими обозревателями. Читай! Вчера сенатора Фила Дар-

тена нашли в ванной, дома, с перерезанными венами.

— Как? — удивился Кетлер. Потом вспомнил, что он толком еще даже и телевизор не смотрел. Да и газет не успел почитать. И вдруг он вспомнил. Фил Дартен — сенатор от республиканской партии, он же тоже из того списка... — Как это случилось?

— Говорят, жену с детьми отправил на неделю в Майами. Пообещал через два дня прилететь. А в этот же день вечером — на тебе! Утром секретарша не смогла его найти. Помощник поехал на квартиру и нашел его уже готового...

— Может, натворил чего?

— Кто? Дартен? — возмутился Батлер. — Он же у Александра работал. Это же череп. Это мозги. Он ничего не может, кроме как фанатично работать. Он и мухи не обидит. Я не знаю, что и подумать. Ведь всего сорок два года было парню.

У Кетлера появилось смутное предчувствие. Но он решил пока не сосредотачиваться на этом. Спросил:

— Я не понял, получается, кто-то может управлять президентом США?

— Ну, не совсем так, — ушел в сторону старый дипломат, — но...

— Ну не томи, не томи, Тони. Мне-то скажешь? А то я не усну.

— Ты слышал что-нибудь про комитет «Отцов нации»? — придвинувшись к Роберту почти вплотную, спросил Батлер.

— Кто это? — удивился Кетлер.

— Ты, я вижу, вообще не в теме! — махнул рукой Тони. — Ты слышал когда-нибудь, что после того, как мы раздавили русских с их союзом и восточным блоком, богатство США увеличилось многократно? Отдельных ее граждан.

Роберт от удивления сменил позу и сел ровно, как ученик.

— Я знаю, — сказал он голосом, не терпящим возражения, — что Америка самая богатая страна в мире. Но что она богатеет такими темпами, я не в курсе. Я знаю, что у нас кризис. Я знаю, что долги наши каждый год все больше и больше.

Батлер рассмеялся:

— В Соединенных Штатах Америки «Отцы нации» сегодня создали такую систему, при которой наши долги становятся их богатством.

— Помнишь, в Канаде тогда еще с этим русским мы слушали выступление на каком-то саммите главы клана Ротшильдов. Он, смеясь, сказал: «Дайте мне возможность управлять деньгами страны, и мне нет никакого дела, кто какие пишет в ней законы».

— Да, конечно, помню. Мы с тобой еще его подкололи, когда он к нам в посольство приковылял — дохлый, кривой, в потертом пиджачке, скрученный, а глаз горит, смотрит, улыбаясь, но не добрый дьявол.

— Деньги добрыми никого не делают, мой друг, — согласился с ним Тони Батлер, — но беда не в этом. А в том, что мы, то есть они, этих денег переели, и уже назревает отрыжка. Но денежные мешки не хотят этого понимать и не собираются видеть проблемы нации. Привычка — вторая натура.

— Неужели все так плохо? — не унимался Кетлер.

— Ты знаешь, что я очень близок с Большим Джо. Он уже совсем старый, но ум светлый. Вот он мне после своего очередного выхода на рыбалку сказал: «Америку погубит богатство. Мы проморгали тот момент, когда власть еще могла управлять деньгами. Теперь деньги управляют властью. Не нужно бояться ни русских, ни китайцев, ни террористов. Мы сами себя уьем. И сделаем это изобретательно. И покажем всему миру такое шоу, как можем

только мы, американцы». Стоит на корме, где на палубе лежит огромная пойманная им макрель, и пританцовывает. Представляешь?!

— Нет! — Роберту стало не по себе.

Для него Большой Джо, как и для большинства американцев, был непререкаемым авторитетом. И он вспомнил строки из книги своего бывшего шефа: «Самый большой враг Америки находится не за океаном, а в центре Вашингтона, на двух квадратных милях, где расположены Белый дом и здание Конгресса».

## ГЛАВА 5. ЗДРАВСТВУЙ, АМЕРИКА!

Из аэропорта имени Джона Кеннеди Габриэла Винстон, добропорядочная домохозяйка, вместе со своим непутевым мужем Рудди добрались до Вашингтона на самолете компании Jet Blue Airways за час с небольшим и к обеду уже были дома.

Эгон притих, вел себя тихо, насколько это было возможно. Надо сказать, что в теле госпожи Винстон ему было гораздо уютнее. Тело не качалось, а как бы плыло. Это было приятно. Но, что самое главное, не было смердящих запахов вперемешку с какими-то вредными испарениями. И вообще, эта дамочка ему нравилась.

И поэтому со стороны можно было заметить, как Габриэла нежно массировала свои пышные курносые груди и скалила вишневый крупный рот, обнажая ровные ряды жемчужных зубов. Потом она клала руки на ягодички, как бы охватывая их, и шла, смеясь, вперед. Иногда нежно гладила себя по животу, поблескивая томными фосфоресцирующими глазами, что изумительно сочеталось с шоколадным цветом ее кожи.

В такси водитель спросил Рудди, когда они уже подъехали к дому:

— Ты, парень, давно женат?

— А что?

— Классная у тебя жена, молодая, с такой не пропадешь!

— Есть такое, — согласился Рудди, не понимая подвоха.

Водитель рассмеялся:

— Ты на ней сдохнешь. Мачо!

А Габриэла тем временем с легкостью внесла в дом два огромных чемодана, которые с трудом извлекли из багажника муж и таксист.

С самой Габриэлой стало происходить вообще что-то невероятное. Она вела себя так, будто впервые оказалась в собственном доме. Но как ни странно, лично Рудди эти перемены жены очень нравились. Они его возбуждали. Он смотрел на нее, чувствуя невысказанную страсть.

Конечно, Эгон видел, что особь мужского пола кругами ходит вокруг него, сидящего в теле Габриэлы, и все больше понимал, что отказ от совокупления может привести к срыву всей программы визита. Надо было спасать ситуацию.

В мгновение ока Рудди, ощутив легкую податливость жены, освободил свое худосочное тело от одежды. Затем, сопя от восторга и страсти, накинулся на тело жены, которая дико водила глазами по комнате, то и дело отодвигая Рудди от себя и с любопытством рассматривая его горящими глазами. От чего муж входил в неопределимый экстаз.

Закончив свои мытарства и обесилев от покинувшей его страсти, Рудди так и остался лежать на Габриэле, бездыханный и счастливый. Эгон легко убрал его в сторону и с каким-то непонятным чувством и незнакомым ему движением поправил на себе платье и волосы.

Дальше произошло страшное...

Габриэла встала с дивана и быстро переместилась в кресло напротив. Села она, вытянув по-мужски вперед ноги и опустив

на пол плети рук. Вид у нее был как у человека, которого покинули последние силы, однако картинка была обманчивой. Как только Габриэла открыла глаза, дребезжащий электронный голос сказал буквально следующее:

— Ваше превосходительство, многоуважаемый господин Рудди Винстон, позвольте выразить вам глубокое уважение и признательность за оказанный вами прием в этой великолепной обители.

Рудди как-то самопроизвольно пукнул, и томная слабость резко улетучилась.

— О боже!

Перед ним стояла Габриэла в позе гладиатора, вытянувшись, сверкая фосфоресцирующими глазами.

— О боже, — повторил Рудди, — я же не пил ничего! Откуда эти глюки? Габби? Габби? Мне плохо.

Эгон направил тело Габриэлы к мужу, представляющему собой жалкое зрелище.

— Я могу вам чем-то помочь?

— Да, милая, можешь, — просто-напросто Рудди, — отнеси меня в ванную.

Габриэла взяла мужа в охапку и, кривя лицо от исходящего от него запаха страха, занесла в ванную.

— Оставь меня! — прошептал он. — Я сам...

Где-то через полчаса более или менее адекватный Рудди в халате вышел из ванной комнаты.

— Я могу продолжить, многоуважаемый Рудди, наш разговор? — Дребезжащий электронный голос вновь поверг его в транс, и он упал в кресло, безвольно уронив голову набок.

Отсюда хорошо просматривались разбросанные на диване вещи и весь бедлам. Ему стало стыдно, наконец-то пришло понимание, что все происходящее — это по-настоящему. Это не глюки, и с женой случилась беда.

— Габриэла, дорогая, что с тобой?

— Я не Габриэла Винстон, я — Эгон с планеты Флорентина с обратной стороны Солнца. Она однаковая по массе и скорости движения вокруг светила и находится строго напротив планеты Земля. Солнце — это центр вращения нашей с вами общей оси.

Рудди попытался вскочить, но без сил опять упал в кресло. Он закрыл глаза в надежде, что все происходящее исчезнет. Но перед ним по-прежнему стояла жена со светящимися глазами и говорила, говорила, говорила:

— ...Мы сделали замер вашего биомагнитного поля, от состояния которого зависит и наше благополучие, и пришли к выводу, что вам грозит самая настоящая катастрофа, от которой пострадаем и мы.

— Габриэла! — чуть не плача, прокричал Рудди. — Не мучай меня!

Эгон понял, что надо помогать. Габриэла подошла к Рудди и положила руку на его голову. Через несколько секунд Рудди преобразился. В глазах засветилось угасающее было сознание. Он вскочил, зацепившись за кресло. Быстро оделся и уселся обратно.

— Я слушаю вас, Эгон, моя дорогая, — попытался пошутить он.

— Я мужчина, — четко произнес дребезжащий голос.

— Ну хорошо! Мужчина так мужчина, — дурашливо ответил Рудди.

— Видимо, я перебрал с биоэнергетикой, — сказал Эгон и снова приблизился к Рудди, проведя двумя руками над головой. — Сейчас должно быть получше.

— Если вы — Эгон, то кто моя жена Габриэла? Габриэла! Я с тобой разговариваю? — истерично закричал он.

Рудди вскочил и кинулся к жене, прижавшись к ней, как ребенок.

Габриэла спокойно начала говорить чужим голосом, который, казалось, исходил не из ее рта, а из глубины тела:

— Я — Эгон, оператор биоэлектронного межпланетного микромодуля, который перемещается в пространстве Вселенной со скоростью, в несколько раз превосходящей скорость света. Как я уже говорил, мы находимся с вашей планетой на одной оси, центром которой является Солнце.

Я посланец. Нахожусь на своей планете, но модуль в данный момент вживлен методом биоэлектрического импульса в Габриэлу, вашу жену. Импульс не может существовать иначе. Выйдя из оболочки, он должен в ком-то быть, или произойдет разрядка, и общение будет утрачено.

— Но зачем вы здесь? И почему именно моя жена? — закричал Рудди. Ему было жаль Габриэлу.

— Вы не волнуйтесь, ей хорошо. Она сейчас крепко спит и ничего не знает, а когда я ее покину, она будет чувствовать себя гораздо лучше, даже если она была чем-то больна — выздоровеет.

— Спасибо большое, но когда вы ее покинете? — Рудди с мольбой посмотрел на неизвестную жену, ему было страшно.

— Это зависит теперь только от вас. Я не хочу доставлять вам неудобства и готов немедленно покинуть Габриэлу.

— А что для этого надо? — засуетился несчастный муж.

— Мне нужно попасть в Белый дом к вашему президенту.

— Как? — изумленно воскликнул Рудди. — Это невозможно.

— Возможно! — решительно остановил его голос, исходящий из жены.

И тут Рудди осенило. Он вспомнил про своего студенческого друга Патрика, который работал в аппарате помощника президента по национальной безопасности. Он схватил телефон и набрал номер приятеля. После долгого ожидания Рудди наконец-то услышал долгожданный ответ:

— Ты что, с ума сошел? Посмотри на часы, сколько времени!

Рудди, к своему удивлению, обнаружил, что часы показывали один час ночи.

— Извини, Пат, — быстро зашептал Рудди. — Но здесь такое дело...

— Что такое? — возмущенно переспросил проснувшийся Патрик. Особенности работы аналитика приучили его докапываться до сути информации, и потому он не собирался прерывать разговор.

— Дело государственной важности. По телефону не могу. Надо срочно встретиться.

— Ты уверен, что это так важно? — спросил Патрик, с тоской глядя на Кэтрин, которая сегодня снова осталась у него на ночь.

— Абсолютно! — ответил Рудди. — Приезжай ко мне немедленно.

— А по-другому никак нельзя?

— Нет. Ко мне и как можно быстрее.

— Может, сообщить полиции? — почти шепотом предложил Патрик.

— Нет, ни в коем случае.

— Оружие брать?

— Бога ради, только не это, только не оружие, — забеспокоился Рудди, не обращая внимания на то, что по его лицу градом катятся слезы.

— Рудди, — осторожно спросил Патрик, — ты мне скажи только одно. Это личное дело или государственное? Или тебе просто плохо?

Рудди буквально прорыдал в трубку:

— Личное и государственное. И мне плохо!

Патрик быстро оделся и собрался уже бежать, но тут Кэтрин повелительно приказала подождать минуточку.

— Я с тобой.

Ехать пришлось около получаса. На звонок выбежал Рудди, растерянный и несчастный. Он схватил Патрика и Кэтрин за руки и буквально втащил в дом.

В холле, вытянув вперед ноги, в странной позе сидела Габриэла. Особенно пугали глаза: они светились ярким светом и вращались.

Патрик и Кэтрин обомлели, а Кэтрин вдруг вспомнила, что видела Габриэлу в аэропорту Нью-Йорка, но не была уверена, что это она. Деду она тоже показалась странной.

— Патрик, я их видела в аэропорту. Они летели с нами из Стамбула. Я абсолютно уверена.

Необычный вид Габриэлы испугал Патрика, и он спросил Рудди:

— Врача не вызывал?

Вместо ответа Рудди подошел к жене и, обратившись к ней, произнес:

— Эгон! Человек из Белого дома прибыл. Ты этого хотел?

Через мгновение Габриэла Винстон вскочила с кресла. Глаза перестали вращаться, остановившись на Патрике и Кэтрин. И как гром среди ясного неба, прозвучал дребезжащий электронный голос, который повторил обычное свое представление новым землянам. Он, Эгон, всего лишь оператор межпланетного биоэлектронного информационного модуля, являющегося посланником к его высочеству президенту США от содружества народов планеты Флорентина, находящейся с Землей на одной планетарной оси и на обратной стороне Солнца.

Услышав это, Кэтрин смогла только воскликнуть:

— Ой!

Ни у кого из присутствующих не было сомнения, что все, что они видят и слышат, абсолютная реальность.

— Мы рады вас приветствовать на планете Земля в Соединенных Штатах Америки, — радостно заявила девушка.

— Благодарю вас, ваше высочество, — ответила Габриэла, приложив правую руку к груди и наклонив голову. — У меня ограничено время и заряд энергии. Моя

миссия будет считаться успешной, если я смогу передать на свою планету ответное послание вашего лидера. Я бы не хотел просто растративать свой потенциал. Мне необходимо срочно сменить тело. Мое нахождение в Габриэле становится для нее уже опасным. Модулю нужна соль. Здесь она на критическом уровне.

Габриэла подошла к Рудди, и присутствующие увидели, как мощный дуговой электрический заряд змейкой ударил в грудь молодого человека. Он растопырил пальцы на руках, вытаращил глаза. Через секунду сказал тем же электронным голосом:

— Сейчас нормально. Приступим к работе. Я жду ваших предложений. Мне нужен президент.

Габриэла мотала головой, трясла руками, топала ногами. И, наконец, закричала.

— Что здесь происходит? Где я? — неожиданно для себя она увидела мужа, странно изменившегося.

Взглянув на Патрика и Кэтрин, властно спросила:

— Вы кто? Что вы сделали с Рудди? Полиция! — кричала она, мечась по дому в поисках телефона.

Патрик с трудом ее успокоил. Кэтрин заварила кофе для Габриэлы, и та постепенно пришла в себя. Кэтрин попыталась объяснить происходящее.

Потихоньку все успокоились. Начался новый день. Все молчали. Молчал и Эгон.

Неожиданно Патрик спросил:

— А как вы нас видите сквозь такие расстояния, Эгон?

— Скорость прохождения сигнала от нашего модуля до моего монитора в семьдесят пять раз выше скорости света. Но Солнце, его масса и электромагнитный импульс не дают возможности иметь нормальную связь между нами, и потому мы используем отражение вашего ближайшего спутника Луны. Потому и происходит задержка в девять секунд.

Вижу я вас так же, как видит все биообъект, в котором находится модуль. Картинка на экране.

Однако надо было что-то уже предпринимать, и Кэтрин решила позвонить своему деду.

Роберт Кетлер только-только начал засыпать в гостях у своего друга. После многих безуспешных попыток это, наконец, начало у него получаться. Как вдруг... зазвонил мобильник. От неожиданности сердце сильно затрепетало в груди, он нервно схватил трубку:

— Алло?

— Деда? Это я!

— Кэтрин, дорогая, что случилось?

— Деда, извини, пожалуйста. Мы с Патриком в гостях у Рудди, его друга. У жены Рудди большая проблема. Я решила, что с твоими связями в медицине только ты сможешь помочь.

— А что, врача не вызывали?

— Вызывали, он сделал что мог, но Габриэла рассказала такое, что мы решили, что нужна консультация с тобой. Ну, чтобы не навредить.

— Я тут неподалеку, у Тони Батлера. Патрик может меня забрать?

Через полчаса они уже мчались к Рудди. Роберт догадался, что внучка что-то недоговаривает, и это сильно озадачивало. Поэтому когда подъехала машина Патрика, он в нее не сел, а жестами приказав оставить телефон на сиденье, попросил выйти. Свой телефон он тоже положил на газонной стороной вниз. Отошел в сторону.

— Что случилось, сынок? — спросил он, закуривая сигарету.

Когда Патрик начал излагать все, о чем сам узнал не так давно, Роберт Кетлер не поверил своим ушам. От Патрика не пахло спиртным, действие «колес» он бы увидел сразу. Роберт понял: парень говорит правду.

— Модуль утверждает, что ему нужна личная встреча с президен-

том. А имеющие место проблемы связаны с аварийной посадкой из-за электромагнитной вспышки на Солнце, — заключил аналитик.

— Что надо от меня? — спросил Роберт.

— Вы — известный человек, у вас огромный опыт. Что нам делать, чтобы ситуацию не довести до конфуза и не опозориться?

— Да уж, похоже, пришелец какой-то, — задумался Роберт.

Они зашли в дом. На Роберта никто не отреагировал. Тогда он приступил к хорошо знакомой ему процедуре — допросу — и через полчаса сделал вывод, что Америке угрожает реальная опасность, хотя что такое биологическое поле Земли, ему было не совсем понятно. И если есть текст послания президенту Америки, то он не имеет права его читать. Не его уровень. Рассуждая таким образом, Роберт думал о Кэтрин, как это может быть все опасно для нее. Что-то часто судьба стала сводить их вместе в самых непредвиденных ситуациях. Незаметно подошел Патрик:

— Что будем делать, Роберт? Уже светает.

— Ты должен доложить обо всем руководству. Кэтрин необходимо отправить домой, про нее в этой истории ни слова. Я остаюсь здесь, с этим, который сидит в Рудди.

— Так мне что, звонить? — спросил Патрик, лихорадочно крутя в руке телефон.

— Конечно! — голосом, не терпящим возражения, ответил Роберт и подумал, что «они» на встречу в Белом доме не согласятся, скорее всего, захотят встретиться с пришельцем в Форт-Миде, в штаб-квартире АНБ в Мэриленде, это далеко отсюда... Хотя могут поехать в Лэнгли. Округ Фэрфакс в пяти милях отсюда и в тринадцати от Вашингтона. Собственно, чего гадать. Сейчас



посмотрим, какая вообще будет реакция на это... событие.

— А почему бы не позвонить тому же Стоуну? — задал он себе вопрос. — А не хочу! Вот так! Скажу, приехал, когда «маска» уже все знала.

Дженифер Джонс была разбужена в 05:45 утра телефонным звонком своего помощника.

— Вы с ума сошли, Патрик, звонить мне в такую рань...

— Извините, мэм, дело не терпит отлагательств.

— Патрик, — прозвучал в трубке голос, — только вопрос исключительной государственной важности может облегчить вашу участь и спасти от увольнения!

Он не заметил, как Роберт незаметно нажал кнопку своего портативного устройства. И в это же самое мгновение человек из службы ФБР, приготовившийся внимательно слушать разговор, услышал в ушах резкий, до боли, звук и почти одновременно вспомнил чью-то мать. Связь прервалась.

— Что у вас там стряслось в такую рань? — спросила «маска».

— Здесь пришелец, миссис Дженифер.

— Какой пришелец? Откуда?

Когда Патрик закончил говорить, Дженифер попыталась понять, не слушала ли она двадцать минут бред изрядно подгулявшего помощника.

— Патрик, — вкрадчиво начала она, — а с тобой кроме этого вживленного модуля кто-нибудь есть?

Патрик взглянул на Роберта Кетлера — тот все понял без слов и кивнул головой.

— Да, мэм, со мной Роберт Кетлер.

— Какой такой Роберт? — удивленно переспросила Дженифер. — Это тот, о котором я думаю?

— Да, мэм! — ответил помощник, мысленно порадовавшись сообразительности босса.

— Дай ему трубку.

— Алло! — сказал Кетлер и сделал паузу.

— Здравствуй, Роберт.

— Доброе утро, мэм! Вы уж извините за беспокойство в столь раннее время.

— Роберт, — перебила его Дженифер, — я очень рада слышать тебя. Но сейчас не до любезностей. То, что говорил Патрик, это имеет место или это...

— Нет, мэм, — не дал ей договорить Кетлер. — Это так же верно, как и то, что я разговариваю со своей любимой ученицей Дженифер Джонс.

— Роберт, я все поняла. — Голос зазвенел звонко, четко. — Дай мне десять минут. Я перезвоню на этот номер.

Через час они уже летели в вертолете в Мэриленд в Форт-Мид, в штаб-квартиру Агентства национальной безопасности. Как предполагал Кетлер, встреча с президентом произойдет там.

## ГЛАВА 6. КТО ВЫ, МИСТЕР ГУРУ?

Москва, 32 года тому назад,  
20 ноября.

Старая Площадь, кабинет  
Генерального Секретаря ЦК КПСС

Начальник отдела заграничных кадров Червонов зашел в кабинет Генерального Секретаря ЦК КПСС. Юрий Владимирович оторвал взгляд от документов и внимательно посмотрел сквозь линзы больших очков на вошедшего.

— Зачастили вы что-то сегодня, Александр Иванович. Что-то важное? Присаживайтесь. — И он указал жестом на стул возле приставного стола. — Слушаю вас.

Червонов раскрыл вишневого цвета папку.

— Вот, Юрий Владимирович, подготовили проект постановления Политбюро о награждении орденом Ленина по случаю шести-

десятилетия полномочного посла СССР в Канаде Николая Яковлевича Александрова. — Он протянул Андропову бумаги.

Юрий Владимирович поднял на Червонова тяжелый взгляд и, не обращая никакого внимания на протянутый проект, глухо сказал:

— Ему не орден Ленина давать надо, а в тюрьму сажать. — Затем, немного помолчав, видимо, думая о чем-то неприятном, добавил: — В бытность мою председателем КГБ мне не раз докладывали, что работает этот деятель не только на нас... По меньшей мере, двойную игру ведет. И, думаю, это не без оснований.

— В таком случае надо немедленно отозвать посла! — предложил Червонов.

— Резонно! — согласился Андропов. — К сожалению, на сегодня КГБ не располагает необходимыми документами. Недостаточно пока материала, — признался он. — У вас есть там что-нибудь пониже для награждения?

— Можно орден «Знак Почета», но это уже нижний предел, — подсказал заведомо.

Генсек невольно вздохнул: идиотское положение. Видно было, как неприятно ему принимать такое решение.

Заметив это, Червонов предложил:

— Может, тогда орден Дружбы народов?

— Добро, готовьте проект, — сказал, как отрезал, Андропов.

Когда начальник отдела заграничных кадров вышел, Юрий Владимирович попросил помощника никого к нему не приглашать. Оставшись один, подумал: «Странно, почему у меня такая неприязнь к этому человеку?» И вскоре нашел объяснение этому чувству.

Где-то в начале 1980 года Горбачев посетил Канаду, и вскоре

во влиятельной местной газете «Глобал энд Мэйк» прошел репортаж о личных отношениях секретаря ЦК КПСС Горбачева, уже избранного тогда членом Политбюро, и Николая Александрова. Казалось бы, вроде ничего особенного, и все-таки с привкусом гнили. А дело было в следующем: в те дни Горбачев совершал визит в Канаду, и один канадский журналист напросился взять у него интервью. Как и положено, договорились о встрече заранее.

Журналист явился в назначенное время в советское посольство — Горбачева нет. Его встретил Александров и заявил журналисту: «Михаил Сергеевич отсыпается, мы всю ночь пробеседовали, — объяснил он. — Однако если вас что-нибудь интересует, можете спрашивать меня. Горбачев мыслит, как и я...»

«Некрасивая история была», — подумал Андропов. Тогда ей хода не дали, но Юрий Владимирович, как человек скрупулезный, предложил своему заместителю Чебрикову присмотреть за послом и вообще глубже разобраться, чем тот дышит.

Справка, представленная Виктором Михайловичем, не на шутку озадачила тогда Андропова.

Дело в том, что в 1958 году Александров вместе с небольшой группой товарищей был направлен в США на стажировку в Колумбийский университет. И все бы ничего — и связи, и знакомства с интересными людьми можно было бы объяснить тягой к науке, но все выглядело

как-то вызывающе. А сотрудник, который кроме стажировки параллельно осуществлял оперативное обслуживание наших стажеров, каким-то образом был втянут в неприглядную историю с женщинами, и его отозвали в Москву. Он рассказывал много любопытного, но тогда ему, «погрязшему» в разврате и пьянстве, никто не верил. Донос-то написал стажер лейтенант Осетров.

Больше всего Андропова поразили личные качества Александрова, указанные в справке: самолюбование, зазнайство. У него уже тогда проявились безразличие к людям и, как говорили близко знавшие его, беспредельный космополитизм. Он видел себя всегда выше любого события, любил показать, что он не в ситуации, а над ней...

Сейчас, когда Червонов ушел, Юрий Владимирович вновь ощутил то неприятное чувство, которое могут вызывать чуждые, опасные люди. Впервые такое он испытал перед венгерскими событиями в Будапеште, когда был послом. И с тех пор оно его не подводило. Возникало, как сигнал опасности. Но главной причиной беспокойства Андропова явилось стремление Александрова установить приятельские отношения с Горбачевым. От этого исходило какое-то беспокойство. Андропов физически ощущал его.

Горбачев уже много лет, как губка, впитывал мысли и задумки Юрия Владимировича. Много он ему рассказывал. Много он из того, что даже тогдашний Генеральный не ведал. В нем, в Михаиле, он

видел будущее страны, готовил его к этому. Александров мог загубить все.

У Горбачева была одна нехорошая для политика черта — понравившихся людей он подпускал к себе слишком близко. Это было недопустимо.

Его размышления прервал телефонный звонок помощника:

— Юрий Владимирович, доктор ждет.

— Пусть заходит, — попросил Андропов, встал, горько вздохнул и пошел в комнату отдыха принимать очередную порцию уколов.

— Как вы себя чувствуете, Юрий Владимирович? — спрашивала доктор, извлекая из чемоданчика принадлежности.

— Стабильно, — отшутился Андропов, — живу вашими молитвами. Одна надежда на медиков.

— Вы сегодня молодцом, Юрий Владимирович. Проверим сейчас давление. Руку, пожалуйста. Мы-то знаем, что с вашей болячкой миллионы людей живут нормальной жизнью. Но нужна дисциплина, а вы...

— Я буду послушным и исполнительным, — засмеялся Андропов. — Мы еще с вами горы свернем.

— Мы на вас очень рассчитываем, Юрий Владимирович.

Когда врач ушла, Андропов с полчаса полежал на диване, затем позвонил Чебрикову.

— Витя, ты сегодня вечером свободен?

— Свободен, Юрий Владимирович.

— Потолковать бы надо, зайди. — Зайду обязательно.

Продолжение следует.



Марина КУЛАКОВА

Марина Кулакова в 2008 году окончила Российский государственный социальный университет, в 2009-м поступила в Литературный институт имени А. М. Горького. Работала копирайтером, внештатным корреспондентом районных газет. Печаталась в «Литературной газете», «Студенческом меридиане», History, «Справочнике классного руководителя» и др.

Работает в Литературном институте имени А. М. Горького.

*Марина Кулакова продолжает радовать читателей новыми историями со старым героем — Иваном Пленкиным, человеком добрым и мечтающим о мировой справедливости, способным на непредвиденные и несурзные поступки. Вот, например, рассказ о том, как Иван Пленкин наводил порядок в обычной поликлинике.*

## ОДИННАДЦАТЬ НОЛЬ-НОЛЬ

**-А**лло, доброе утро! Это поликлиника?  
— Да.  
— Мне нужно записаться к терапевту. И к хирургу. И к неврологу. И к инфекционисту. И к урологу. И к гинекологу...

— А к гинекологу-то зачем?

— Не перебивайте! И к дерматологу, и к венерологу, и к офтальмологу, и к кардиологу...

— Мужчина! Вам нужно либо к психиатру, либо сразу к патологоанатому!

От страха я бросил трубку, потому что к подобному специалисту я собирался в последнюю очередь. А может, она права, и я скоро умру?

Во всем была виновата птица. Я люблю сидеть у окна, взирать на природу и думать о своем славном будущем. В последнее время все мои силы и вдохновение уходило на сочинение песни. В тот день, как обычно, я сидел у окна, продумывая рифму к слову «тучи». И тут меня осенило: «Люди! Тучи — люди! Отличная рифма!» И в этот самый момент огромная клякса как раз в форме мелкой тучки приземлилась на мое окно. С внешней стороны, разумеется. Я огорчился. Пришлось открывать окно и, превозмогая сильное отвращение,

удалить это безобразие. Вдохновение как рукой сняло, да и здоровье тоже! Ибо на следующий день меня сразил страшный грипп. Или ангина. Или воспаление легких... А может, птица через то, что она оставила на окне, передала мне какую-то заразу... Или же даже все вместе! Поэтому что, ища в Интернете свою болезнь по одолеваемым меня симптомам, я вдруг обнаружил, что все они про меня. Даже беременность — и то по многим признакам подходила и мне. Причем лечение одной болезни противоречило лечению другой, что окончательно сбilo меня с толку. В воспаленной голове пронеслась мысль: а вдруг я — избранный! Я прославлюсь благодаря своему редкому заболеванию — всеобщей болезни? Но для того, чтобы снискать эту славу, хотелось бы еще пожить. Вот поэтому я и обратился в поликлинику. До этого я был там всего один раз. Первый звонок меня напугал так, что я сразу залез под одеяло и померил температуру. Температура была 37,2. Явно болезнь прогрессировала, так как накануне было 37,1. Нельзя было терять ни минуты! Поэтому я заставил себя перезвонить.

— Девушка, милая, запишите меня к терапевту, к хирургу, к неврологу...

— Это опять вы? Может, вы сами подъедете и запишетесь по электронному терминалу? — Голос женщины показался мне еще более раздраженным, чем в первый раз. Конечно же, женщины, а не девушки. Это я ей так польстил. Хочешь жить — умей вертеться!

— Какие терминаторы? Я не знаю, что это! Я не могу, я плохо себя чувствую, у меня все болит! И вообще, по всей вероятности, я — настоящая находка для медицины!

— Значит, вызовите скорую, раз так. Телефон 03. — Женщина, судя по тону, уже намеревалась завершить разговор.

— Нет! Послушайте! Вы обязаны меня записать, — вскричал я, чувствуя, что у меня неумолимо повышается температура. Наверное, уже 37 и 3. — Моя фамилия Пленкин. Я был у вас пару лет назад...

Собеседница внезапно затаилась.

— Алло, алло... Вы меня слышите?

— Пленкин? Иван Пленкин? — наконец неуверенно уточнил женский голос.

— Да! Надо же! Вы меня помните! — Я даже немного умилился.

— Да... Конечно... Как вас забыть, — напряженно отозвалась тетка. — Вас на какое число записать? Я запишу вас к терапевту, а дальше он вас направит...

— О нет, только не к Николаю Борисовичу! — воскликнул я, вспоминая свой визит двухлетней давности.

Тогда я пришел к нему с простудой. Николай Борисович оказался невнимательным и весьма дряхлым дядькой. На все мои жалобы он кивал и выводил бесконечные каракули на бумажках. Много бумаги он тогда измарал, но дельного ничего не посоветовал. К тому же оказалось, что он половину того, что я рассказывал, не расслышал. Пришлось повторять по новой. Ему это не понравилось, но я проявил упорство. Наконец он выписал лекарства, но меня насторожили незнакомые названия. Он выписал другие. Но я, человек грамотный, не забыл осведомиться о противопоказаниях. И не зря, так как явно и эти мне не подошли. В итоге он выписал те, которые я хотел. Но по дороге в аптеку я нечаянно обронил рецепты, и мне пришлось к нему вернуться.

— Николай Борисович у нас уже не работает. А давайте-ка я вас запишу на среду к...

— Никаких сред! Сегодня же! Или завтра. Я же умереть могу!

— Да, да... Конечно, конечно, — засуетилась она. — Минуточку... Вот, к Елене Яковлевне на одиннадцать часов завтра, подойдет?

— Ну, если другого варианта нет, то да. Попробую дожить.

Мне самому было лень куда-то тащиться. Пусть даже за спасением жизни.

— Отлично! — как-то резко обрадовалась она. — Тогда завтра возьмете в регистратуре свой талончик.

— Спасибо, — вежливо ответил я. — А эта Елена Яковлевна — хороший врач? Опытный?

— О, — как-то очень восторженно отозвалась регистраторша, — это самый лучший наш врач! Именно поэтому я записываю вас к ней! Она у нас — профессионал, к ней очереди самые длинные. Она уже точно поможет вам, только вы все ей подробно расскажите, опишите каждый симптом, ничего не забудьте.

— Даже и не сомневайтесь, — вторил я, — я еще прослаблю вашу поликлинику, если вам удастся меня вылечить!

— Я не сомневаюсь! Мы же до сих пор помним вас и поэтому советуем все только самое лучшее!

— Тогда до завтра, милая девушка, — попрощался я.

Может, ей действительно не так уж и много лет. Голос-то звонкий, радостный стал ближе к концу разговора...

Перед сном я снова померил температуру. Градусник показал 37, но я решил, что слишком мало его подержал. Но сон поборол болезнь и погрузил истощенный организм в дрему.

В десять сорок пять я был в поликлинике. Получил талончик и поднялся на лифте, которого, кстати, пришлось долго ждать, на второй этаж. Очередь у нужного мне кабинета образовалась нешуточная. Но я ни о чем не беспокоился — встал себе в створку, подальше от остальных больных. Я решил, что поскольку и так болен чуть ли не всеми на свете болезнями, то не стоит еще больше усугублять ситуацию чужими. Стоял себе спокойно и никого не трогал, пока одна несимпатичная старушка не открыла рот и не сказала мне:

— Эй, парень, что ты стоишь просто так? Очередь занять не собираешься? За мной будешь!

— У меня, бабуля, электронный билет есть, если вы знаете, что это такое. На нем написано «одиннадцать ноль-ноль». Вот тогда я и войду. — Я с достоинством достал из кармана бумажку и продемонстрировал ей.

— Я знаю, что это такое. Но очередь у нас живая! — насупилась та.

Я чуть не подавился со смеху. Надо же, совсем из ума выжила!

— Бабуля, что живая, это я вижу. Мертвым лечиться не надо.

Мне думалось, что я сделал удачное замечание. Но присутствующим так не показалось. Они были напрочь лишены здравого смысла. Они начали ругаться и принуждать меня занять очередь. Они говорили, что мой электронный билет на настоящий момент — ерунда полнейшая. Я должен был поверить либо им, либо регистраторше. Выгодней было держаться второго варианта.

Я сказал примерно следующее:

— Товарищи! Вы — пещерные люди. И не моя вина, что вы не умеете пользоваться терминатором! Это раз! А второе...

Но договорить мне не дали. Один из этих неучей сказал такую оскорбительную фразу, что я опешил. Затем я посмотрел на часы, которые показывали ровно одиннадцать, и заскочил в кабинет. Вовсе не от трусости, нет! Просто уже подошло мое время.

В кабинете помимо медсестры и врача еще находилась пациентка. Встретили меня недружелюбно: так же, как и товарищи снаружи.

— Выйдите из кабинета, — грубо сказала мне, по всей вероятности, врач. Потому что именно она, скрючившись над столом, что-то писала, а вторая, помоложе, ничего не делала.

— У меня талончик на одиннадцать ноль-ноль! — не растерялся я, пытаюсь нашарить его в кармане.

— И что дальше? Вы не видите, что у нас пациентка? Идите за дверь и ждите!

— Вот еще! Я не намерен ждать! У меня талончик! Черт, куда я его засунул? — Я в панике принялся обыскивать себя по второму кругу.

— Немедленно покиньте кабинет!

— Я на одиннадцать ноль-ноль! А сейчас уже одиннадцать ноль одна! Вы обязаны меня принять!

— Быстро выходите!

— А вот и не выйду! — Я сел на кушетку и сложил руки на груди. Как древний фараон, кажется.

В кабинете зависла неприятная пауза.





— Елена Яковлевна! Что с ним делать? Охрану вызвать? — обратилась грубая женщина к той, что помоложе.

Я понял, что ошибся. Та, молодая, выглядела более привлекательно: круглое светлое личико, русые длинные волосы, мягкий взгляд серых глаз... На долю секунды я даже залюбовался.

— Извините нас, пожалуйста, за создавшуюся ситуацию, — обратилась ко мне та самая врач. — К сожалению, вы должны подождать какое-то время в коридоре, пока мы не закончим осмотр. Вам придется занять очередь, но мы вас обязательно примем.

Я слушал ее бархатный голос как зачарованный. Захотелось что-то сделать для нее, например, выполнить любую ее просьбу. Тут мне вспомнилось, что за дверью меня ожидают недоброжелатели, несмотря на то, что талончик у меня на одиннадцать ноль-ноль! Но отчего-то засмутившись, я вышел. И вновь очутился в волчьем логове. Кто-то что-то сказал, но я промолчал, но не от трусости, а потому что с дураками спорить бесполезно. Принялся искать куда-то запропастившийся талончик.

— Что, терминатора потерял? — пискнул кто-то с галерки, и все остальные почему-то начали громко смеяться.

— Эх вы! — горько вздохнул я. — Взрослые люди! Но откуда в вас столько желчи? Я, между прочим, сильно болен и неизвестно, сколько проживу еще на этом свете. А вы бессовестно ржете! У меня есть все болезни...

— Да, и талончик на одиннадцать ноль-ноль! — перебил писклявый, чем почему-то вызвал еще одну порцию хохота. Совершенно необоснованного!

Я начал подозревать, что это у них спровоцировано какой-то заразной болезнью. Мне смеяться совершенно не хотелось, но стало страшно, что я могу заразиться от них. Еще не хватало, чтобы ко всем моим болячкам присоединился дурацкий хохот! Я очень испугался, но и разгневался, надо отметить, тоже! Единственным правильным выходом виделось мне прибежать к регистраторше

вниз и нажаловаться на этих ненормальных людей. Я стремглав бросился к лифтам. Лифт шел целую вечность. За эту вечность я решил спуститься по лестнице. Потом передумал, потом снова решил, а пока копался, приехавший было лифт кто-то перехватил. Пришлось все-таки идти. Там, внизу, продираясь через еще одну очередь, уже к регистратуре, я получил тысячи проклятий в свой адрес. Думаю, если бы все они сбылись, я вряд ли бы прожил больше минуты. Невиданное хамство! Но я все-таки растолкал этих невежд и выкрикнул в окошко о своей проблеме. Но, к моему удивлению, в ответ мне тоже выкрикнули. Правда, всего одно слово: «Псих!» Сказав им в ответ примерно то же, что и они мне, я отправился домой. Не потому, что струсил, нет. Я решил написать жалобу президенту на эту поликлинику.

Задумано — сделано! Сначала я описал в письме симптомы моей болезни, потом оповестил о злых пациентах, перешел к некорректному поведению медсестры и работников регистратуры. Я поведал президенту о том, что у меня была законная запись на определенное время (через электронный терминатор, между прочим), которой все пренебрегли. В конце я отметил, что если все-таки умру от своих болезней, то всему виной — моя районная поликлиника. Также предупредил его об эпидемии необоснованного смеха. А вдруг это какой-то новый вирус? Все может быть.

В итоге письмо получилось длинное и обстоятельное. Очень оно мне понравилось! Я сразу же отправил его по адресу. Лег спать, по своему обыкновению, в одиннадцать. Но только начал закрывать глаза, как вдруг вспомнил милую Елену Яковлевну, которая оказалась единственным нормальным человеком во всей поликлинике. Внезапно меня осенила мысль: вдруг президент, прочитав мое письмо, накажет не только администрацию, нерадивых работников поликлиники, всех грубых пациентов, но и эту очаровательную женщину? Надо бы предупредить ее об этом! Не подскажете мне ее телефон?



*Выруливаю на МКАД из «Ашана» под мост,  
на опоре моста надпись: «Валя шлюха!» Вот тебе на!  
Раньше бы написали «Солнышко, я люблю тебя!».  
За что Валю-то? Куда мы катимся? За Валю обидно...*

*Вадим, Москва*

**Галка ГАЛКИНА:**

**В**адим, с Вале́й, думаю, все хоккей. А вот автор этого дацзыбао — любопытный экземпляр. Ведь шел он издалече. Надпись сделана на опоре моста. Возможно, краску и кисть он купил в близлежащем «Ашане». Писал второпях, нервно оглядываясь. И еще вопрос: как Валя (видимо, женского рода) могла увидеть адресованный ей крик души? Только по пути из «Ашана». Значит, она или живет в «Ашане», или работает. Выбираем второе. Судя по разгульному образу жизни, Валя — уборщица или менеджер по продажам. В общем, имеет полное право.

А сам-то автор куда смотрел, когда начинал кадриться к Вале? Незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. Хотя, весьма возможно, Валя проявила крепость характера и отказала автору. Тогда вообще вырисовывается драма сродни «Анне Карениной». С той разницей, что Каренин вряд ли отомстил бы Анне, впопыхах рисуя на опоре «Аня шлюха!». Рядом кучер нетерпеливо мял удила...

Да не шлюха она.

Просто это — любовь!

Проказник\* ГЕО, человек-юбилей

Не юбилейте!!!

Классик

Дева красная, огрей (оглоблей)  
в мой столетний юбилей!

**К 100-ЛЕТИЮ ГЕО**

- ❖ И вот пришел шалун столетний — и стало время незаметней!
- ❖ Пронес под курткой сто пудов марксистско-ленинских трудов!
- ❖ Гео в партию вступил под псевдонимом Автандил!
- ❖ Комсомольцем Гео слыл, пиво с воблюю любил!
- ❖ Гео отмечал 100 лет, съел лягушку на обед!
- ❖ Заказал себе простушку — принесли ему ватрушку!
- ❖ Заказал себе он кашку, а отведал простоквашку!
- ❖ Был потерян партбилет, вдруг его на свете нет!
- ❖ Гео, Каутский и Ленин ели в партии пельмени!
- ❖ Ленин Гео уважал, на мозоль ему нажал!

**PHOTOSTOP**

© Фото Игоря МИХАЙЛОВА



\* Мужик-проказник работает и в праздник (народная мудрость).



**Фаза месяца:**

*Лет сто зато!*

**ЗАБАВЫ СТОЛЕТНИХ**

- \* На коньках катались часто в масках, плавках или в ластах!
- \* На лыжню вскочил дедок — и просыпался песок!
- \* Задымился лес на взгорке, знать, закончилась махорка!
- \* Подарили Гео клюшку, отвезли его в психушку!
- \* А маразм-то все крепчал, Гео вышел на причал!
- \* Вот причалил ледокол, Гео сделали укол!
- \* Разгулялся псих в больнице, будет крякать и лечиться!
- \* Вот и гости к юбилею, с ними Гео веселее!
- \* Гео жизнь прожил одну, скреб лопатой по дну!
- \* Гео снился Дуремар и тортиловый кошмар!

**SMS'ка, посланная себе столетнему:**

**Не рухни!**



Инна КАБЫШ

Инна Кабыш родилась в Москве в семье служащих. В 1986 году окончила факультет русского языка и литературы Московского заочного педагогического института. Работала старшей пионервожатой, учителем в школе, руководителем литературно-музыкального коллектива при Дворце культуры «Энергетик». Первая публикация — в альманахе «Поэзия» (1985). Стихи печатались в журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов» и других. Член Союза писателей СССР (1989). В 1996 году за книгу «Личные трудности» была удостоена Пушкинской премии фонда Альфреда Тепфера (Гамбург).

## КАКОЕ ВАШЕ ДЕЛО?

**П**ятнадцать лет назад одна мама попросила меня подтянуть ее сына по русскому языку. У мальчика — тогда просто Паши — были удивительные, распахнутые миру голубые глаза. А по русскому была тройка. Как, впрочем, и по всем остальным предметам, кроме рисования, труда и информатики.

Я тогда какое-то время позанималась с Пашей, но потом наступило лето, а в следующем учебном году занятия как-то не заладились.

И вот полтора года назад Пашина мама позвонила снова. Она рассказала, что за прошедшие пятнадцать лет ее сын вырос, стал известным художником и... умер.

Я была потрясена услышанным.

Через несколько дней написались стихи.

Не хочу жить на этом свете,  
где законам всем вопреки  
раньше нас умирают дети,  
умирают ученики.

Пусто место отныне свято.  
Я спрошу без тебя — Москву:

по какому такому благу  
я, к примеру, еще живу?

Я спрошу без тебя — Россию,  
хоть и знаю ее ответ,  
эту клушу, эту разиню,  
для кого ты что есть, что нет.

Я спрошу, наконец, у Бога:  
Он ответчик за все один!  
Впрочем, как с него спросишь много,  
если умер у Бога сын...

«Болящий дух», как известно, «врачует песнопенье». Но мой дух продолжал болеть и, выражаясь высоким штилем, «алкать познания».

Я побывала в Пашиной мастерской, посмотрела его холсты, граффити, инсталляции, ролики. Сходила на мюзикл TODD, для которого он делал декорации. То, что это большой художник, я поняла сразу, но оставалась еще какая-то тайна. Первая персональная и она же посмертная выставка Павла 183 (этим именем Паша подписывал свои работы) в апреле 2014 года помогла мне найти этой тайне название.

«Наше дело подвиг» — так (конечно, без тире между подлежащим и сказуемым) назвал Паша одну из своих картин, так кураторы выставки назвали ее самое. Выставка помогла мне понять тот посыл, который оставил миру Паша.

Жизнь художника — подвиг.

Жизнь вообще — подвиг.

Во всяком случае, должна им быть.

И тогда я подумала, что нужна книга о Паше. Чтобы о нем знали не только художники, но и люди, далекие от живописи.

«Поэт в России больше, чем поэт». А художник больше, чем художник, если это Павел183. Потому что его дело не живопись, а подвиг. А значит, он не просто художник, а герой.

Герой не столько задуманной мной книги, сколько нашего времени. Книга, надеюсь, выйдет в издательстве «Время», а главы из нее я предлагаю на суд читателей «Юности». Почему именно «Юности»?

Потому что Паша183 умер совсем молодым, и книга о нем будет называться «Скучно жить долго».

## УВИДЕТЬ ПАРИЖ...

«Увидеть Париж — и умереть!» — идиотская фраза. Но как некая словесная формула, очевидно, обладающая способностью материализоваться.

Паша побывал в Париже (своей первой и последней за границей) дважды: в октябре 2012-го и январе 2013 года — соответственно за пять и два месяца до смерти.

За границу он никогда не стремился. Более того, его невозможно было «выпихнуть» ни в Италию, ни в Испанию. Все, что можно было там посмотреть, он посмотрел на выставках, в альбомах, книгах, наконец, в Интернете. А отдыхать он не умел. К тому же — и это самое главное — ему было безумно жаль времени: он как будто знал, что ему отпущено в обрез. Тем более жаль было лета (а ведь это самое «выездное» время). Ведь летом так много можно сделать, если ты стрит-художник.

*Справка из Википедии.* Стрит-арт (англ. *Street art* — уличное искусство) — изобразительное искусство, отличительной особенностью которого является ярко выраженный урбанистический стиль.

Художник, избравший путь стрит-арта, — это человек, преображающий город, а стало быть мир, очеловечивающий его.

Основной частью стрит-арта являются граффити, трафареты, инсталляции.

У стрит-арт-художника, как правило, есть свой творческий псевдоним (в случае с Пашей это Павел183: число 183 получилось из чисел 11 — день рождения, 8 — месяц рождения, 83 — год рождения, которые поставили рядом и вычеркнули повторяющиеся: 11883).

Задача стрит-арта — не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог.

«Улицы — наши кисти, площади — наши палитры», — писал стрит-арт-художник слова Маяковский. Впрочем, у Маяковского и его товарищей-футуристов под эту лирику была подведена серьезная теоретическая база.

Из «Газеты футуристов» от 15 марта 1918 года: «Товарищи и граждане, мы, вожди российского футуризма — революционного искусства молодости (курсив мой. — И. К.), объявляем:

1. Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовках, сараях, человеческого гения — дворцах, салонах, библиотеках, театрах.
2. Во имя великой поступи равенства каждого перед культурой свободное слово творческой личности пусть будет написано на перекрестках домов, стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан.
3. Пусть самоцветными радугами перекинутся картины (краски) на улицах, площадях, от дома к дому, радуя, облагораживая глаз (вкус) прохожих. Художники и писатели обязаны немедленно взять горшки с красками и кистями своего мастерства, иллюминировать, разрисовывать все бока, и лбы, и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов.

Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно глубиной мысли великих современников, созерцать цветистую яркость красивой радости сегодня, слушать музыку — мелодии, грохот, шум — прекрасных композиторов всюду.

Пусть улицы станут праздником искусства для всех».



По-моему, ключевое слово этого манифеста — «молодость». Бывают в истории периоды ломки старого и становления нового: так было в начале XX века, так было в его конце. Новое взыскует молодости. И она приходит на его зов: нас, как известно, «водила молодость в сабельный поход».

Когда я думаю, почему Паша, который мог подписаться под манифестом футуристов обеими руками, поставив свой тег 183, так рано ушел из жизни, я прихожу к выводу, что «молодость» была неотъемлемой составляющей того пути в искусстве, который он избрал.

29 лет — конец молодости, а стало быть, другой путь.

А он не хотел идти другим путем.

На Пашиной работе «Поджигатели мостов» изображен граффитчик (конечно, сам Павел), сжигающий мост. Но не за собой, а впереди себя. Сжигающий этот другой путь.

В сентябре 2012 года — за семь месяцев до смерти и за месяц до первого Парижа — Паша попал в больницу с диагнозом «нервное истощение». Больница была старая и обшарпанная. Но благодаря усилиям и финансам матери — эта женщина будет вторым главным героем нашего повествования — его поместили в отдельную палату.

А значит, была возможность работать.

А работы было много.

Незадолго до болезни Пашу — через Интернет — нашли создатели мюзикла TODD, а потому в больнице он с увлечением работал над эскизами декораций к нему. Работал на мощном авторском компьютере р183.

Но Паша не был бы Пашей, если бы, находясь в больнице с одним диагнозом, не заработал второй. Он пожалел лежавшего с ним в отделении мальчика-сироту из детского дома, который и заразил его ветрянкой.

«Человеком с большой буквы», «щедрым до невероятности», называли его друзья (добавим, что его еще называли «человеком, с которого содрали кожу», чем объясняли, в частности, его «потрясающую отзывчивость», а также тот факт, что все свои интервью Павел давал в маске: он скрывал не лицо, а отсутствующую кожу).

Он действительно кормил, без преувеличения, все отделение: мать, оценив ситуацию, стала приносить по две сумки продуктов: одну для сына, другую — для его соседей по отделению.

И так каждый день.

Конечно, есть соблазн сказать, что наш герой был щедрым за чужой счет, но ведь он делился не хлебом единым: к мальчику из детдома питал то ли старшебратские, то ли отцовские чувства.

И получил ветрянку.

Добро, как всякая инициатива, наказуемо.

Ветрянка отняла две недели уже послебольничной жизни (к слову сказать, мать, в свою очередь заразившаяся от сына, проболела полтора месяца).

А из Парижа звонили, не верили, как это: только что вышел из больницы и снова болеет? Может, просто не хочет ехать? Но на этот раз он хотел. И в октябре поездка состоялась.

Париж поразил. И не только Лувром, Домом инвалидов, Монмартром и собором Парижской Богоматери, о которых он с восторгом рассказывал матери по телефону. Но и тем, к примеру, что у его французского коллеги, художника-граффитчика Набэ, была огромная мастерская, выделенная городом.

Паша о такой мог только мечтать (у него самого благодаря титаническим трудам матери была на Преображенке крошечная «двушка», оборудованная под мастерскую).

Шесть дней в Париже пролетели как миг. В этот раз он сделал только одну работу — «Самолет» на стене гаража. Но тогда была другая задача.

Кремлен-Бисетр, центр русско-французской дружбы, пригласил его в октябре 2012 года с тем, чтобы показать площади, на которых ему предстояло работать в январе следующего, 2013 года, в рамках фестиваля граффити.

К истории вопроса.

Граффити (от итал. Graffito) — изображения, рисунки или подписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях.

Настенные надписи известны с глубокой древности. Самыми ранними являются наскальные рисунки. Граффити сохранились в Египте, Греции, Риме.

Древние граффити содержат рисунки, магические заклинания, политические лозунги, литературные цитаты. Средневековые русские граффити сохранились в киевском соборе Святой Софии: это, чаще всего, молитвенные просьбы к Богу или святым.

Свои имена на стенах Золотого дома Нерона вырезали Рафаэль и Микеланджело.

На египетских пирамидах обнаружены граффити, оставленные французами, а на стенах Рейхстага — русскими солдатами.

Граффити сегодня — вид уличного искусства, одна из самых актуальных форм художественного самовыражения во всем мире.

Я позволила себе этот небольшой экскурс, чтобы доказать, что граффити — именно вид искусства с глубокими корнями и мощной традицией, а не слово из трех букв на стене, как думают многие (это

слово может быть частью граффити, но последнее им отнюдь не исчерпывается, как не исчерпываются им, к примеру, матерные эпиграммы Пушкина).

И еще. Современные граффити связаны с хип-и панк-культурой, роком и политикой. В большинстве случаев оно протестно.

Оно, безусловно, протестно и у Паши. Но он протестовал не против правительства или президента, а против пошлости и коммерциализации жизни. Русской жизни.

В предисловии к клипу «Африка» на песню группы «Олди» Паша писал: «Россия — та страна, которая с невероятным цинизмом уничтожает в своих гражданах индивидуальность и талант. Не имея возможности самовыразиться, слабые уходят в заработки, сильные погибают за идею».

Последнее — как в воду глядел — о себе.

Своими работами он будил «мертвые души». А это ли не задача настоящего искусства?

Пашины граффити рассчитаны не на завсегда-таев музеев, не на искусствоведов, а на обычных людей, спешащих по улицам городов и весей нашей Родины.

«Я бы хотел, — сказал Паша в одном интервью, — чтобы люди меняли себя».

И это в то время, когда человека целенаправленно отучают думать и меняться.

И еще о граффити. До сих пор одни считают их искусством, другие — вандализмом. (В том же Париже зоны обитания граффити строго разграничены: художникам отводятся определенные, условно говоря, стены и заборы. Все, написанное вне этих зон, классифицируется как вандализм.)

Одни готовы платить за них большие деньги, другие — сажать в тюрьму. Кто прав? В каждом конкретном случае — своя правда. Граффити могут быть бездарным и агрессивным хулиганством, а могут — произведением искусства, по своей эстетической ценности не уступающим полотнам известнейших музеев мира.

Вернувшись из Парижа, Паша с головой ушел в TODD. Предстояло эскизы, сделанные в больнице на компьютере, перенести на стены.

Огромные площади, колоссальный объем работ. А времени — остаток октября и одна неделя ноября.

Согласно немецкой поговорке, всякое сравнение хромает. Но, просматривая кадры, запечатлевшие Пашу во время этой работы, — перед гигантской стеной, в респираторе, — невольно вспоминаешь описание того, как работал Микеланджело в Сикстинской капелле: на лесах, с далеко назад запрокинутой головой, что привело к развитию сколиоза, артрита и болезни ушей.

Теперь уже никто не скажет, какие диагнозы заработал себе наш герой во время этой страды, но то, что она приблизила его конец, очевидно.

А что же представлял из себя TODD — проект, потребовавший колоссального напряжения сил всех его участников и в конечном счете унесший жизни троих из них?

Сюжет TODD'a — английский. Это чисто лондонская легенда о Суине Тодде, парикмахере и, как бы мы сейчас сказали, серийном убийце, жертвы которого становились начинкой для пирожков.

Ужастик.

Этот сюжет был переработан англичанином Джорджем Дибденом-Питтом в серию под общим названием «Жемчужная нить», выходящую в свет в течение 1946 и 47-го годов.

Сто лет спустя, а точнее, в 1968 году, двадцатитрехлетний английский актер и режиссер Кристофер Бон превратил творение Дибдена-Питта в пьесу для театра Виктории, углубив образ главного героя: из маньяка (не без влияния графа Монте-Кристо) он превратился в мстителя и в некотором смысле моралиста.

Еще через одиннадцать лет эта пьеса под пером Стивена Сондхейма превратилась в мюзикл «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит».

Кроме того, история о парикмахере с Флит-стрит неоднократно экранизировалась: с 1926 по 2007 год вышло семь фильмов.

Последний — режиссера Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли, сюжет которого почти полностью совпадает с сюжетом Сондхейма, — был хорошо принят во всем мире, получил множество наград (включая премии «Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую работу художника-постановщика).

И вот в 2012 году TODD возродился на русской почве: зонг-оперу ужасов, по определению ее создателей, взялась поставить панк-рок-группа «Король и Шут» во главе с Михаилом Горшенёвым.

Что же это был за сюжет, на протяжении полтора веков привлекавший к себе столь острый интерес, и как он трансформировался в России?

Как уже было сказано, более глубоким образ Суини Тодда сделал Кристофер Бонд.

В русской версии (драматурги Михаил Бартечев и Андрей Усачев) главный герой по ложному доносу попадает на каторгу. В его отсутствие его жена Бетти кончает жизнь самоубийством, а дочь Элизабет берет на воспитание священник.

Вернувшийся после двадцати лет каторги Суини Тодд решает восстановить справедливость, наказав виновных. Он устраивает цирюльню над

пирожковой своей любовницы миссис Ловетт. Одного за другим — при помощи бритвы — он лишает жизни своих обидчиков, через люк отправляя их тела прямоком в мясорубку миссис Ловетт. В конце концов Тодд по ошибке убивает собственную дочь, а когда узнает об этом, убивает себя.

Круг замыкается.

Чем подобный сюжет привлек группу «Король и Шут», Михаила Горшенёва и Пашу183?

Друзья и близкие Паши уверяли меня, что здесь был чисто артистический интерес: панк-группе во главе с Горшенёвым мюзикл Сондхейма был близок эстетически, Паше — интересна стилизация под английские граффити.

Но, думаю, был тут и, скажем так, содержательный момент.

Борясь со злом, разрешая себе убийство «по вести», человек ввергает себя и окружающих в кровавое месиво (его метафорой в спектакле TODD служит гигантская мясорубка).

Горшенёв считал, что в TODD'е зрителей «должны отвратить людская продажность, непробиваемый цинизм, неумная гордыня напополам с манией величия и... жажда мести». Так что все создатели мюзикла чувствовали, что участвуют в создании не стильной страшилки, а чего-то более масштабного, поднимающего вечные вопросы: что есть добро? что есть зло? как — и надо ли — с ним бороться?

Такая игра стоила свеч.

В спектакле было занято сорок артистов, изготовлено двести костюмов, написаны огромные декорации.

Русский TODD синтезировал драматургию, балет, мюзикл, рок-оперу, мистерию, граффити и паркур (от фр. parkour — искусство перемещения и преодоления препятствий в городских условиях). Каждый из этих элементов был частью единого целого, работал на идею. Думаю, это и привлекло к проекту так много ярких людей.

Что касается Паши, то свой воистину каторжный труд на этом проекте в интервью он назвал кайфом. В этом же интервью он озвучил концепцию своих работ.

Стена Пороков — это стилизация современных (действие перенесено в XX век) идолов и символическое изображение всех существующих человеческих пороков. А стена Правосудия — это, по сути, Страшный суд.

Свою технику сам Паша назвал графической фотостилизацией, за основу которой берутся свои или чужие фотоснимки. Основную свою задачу он видел в создании визуальной информативности, или эстетизированной информации. Но

главное — Паша ощущал себя частью большого и талантливого Дела. «Я стремился сделать каждый свой рисунок таким образом, чтобы он взаимодействовал с актерами, пространством, сюжетом так же, как мои работы в городе взаимодействуют с теми, кто в них живет».

Премьера TODD'а состоялась в ноябре 2012 года в Театре киноактера. Успех был оглушительный.

Оперу называли проектом, аналогов которому нет ни в современном театре, ни в отечественной музыке. А ее успех сравнивали с успехом «Юности» и «Авось».

Вот один из отзывов: «TODD стал беспрецедентным театральным событием, даже в условиях современной вседозволенности. Встречаем Новый, 2013 год, строим новые планы на грядущий год чертовой дюжины».

Но у года «чертовой дюжины» были свои планы в отношении TODD'а.

Он принес с собой одну за другой — в апреле, июне и июле — смерть троих его создателей: художника Паши183, пиар-директора Лии Галимовой (работавшей под псевдонимом Регина Варцан) и солиста Михаила Горшенёва.

К слову, TODD в переводе с немецкого означает «смерть».

Пашу и Лию свел именно TODD. Это произошло осенью 2012 года. К этому времени Паша был уже состоявшимся художником, он был на самом взлете, оказавшемся финишной прямой.

А кем была девушка, с которой он познакомился за полгода до своей и девять месяцев до ее смерти? Лия Галимова родилась в 1987 году в Уфе. Очень скоро стало понятно, что она необычный ребенок: богатая фантазия, сочувствие всему живому, талантливость во всем, к чему бы она ни прикасалась. Она с детства хорошо писала — стихи и прозу, занималась в литобъединении. Легко поступила в Московский литинститут имени Горького, который иронично называла «горьким институтом имени литературы». Быстро научилась рисовать, и «рисунки ее были просто замечательные».

Многое любила: йогу, музыку, фото, живопись и, конечно, литературу. А еще — природу: червей, которых спасала во время дождя, и кошек, с которыми дружила.

А самое главное — любила людей.

Они вообще были похожи, о таком сходстве говорят — родственные души. Могли часами говорить об искусстве, слоняться по любимой обоими Москве.

Лия была свидетелем создания Пашей «Гнезд» — инсталляций в виде птиц, снесших видеокамеру, и

инсталляции «Колдовская книга», представляющей собой телефонную будку со справочником, затянутым паутиной. И то и другое должно было стать частью города и пригласить к диалогу его жителей.

Именно Лия подала Паше идею «Перевернутого дома» — дома, уходящего ступенями в небо, за который он получил премию «Мост».

Они — Паша и Лия — и на TODD'е встретились неслучайно: обоим влекли новые формы в искусстве. Именно Лия сделала интервью, где Паша излагает концепцию своих работ к TODD'у.

Лия писала Паше стихи.

Столичный джедай, последний герой, покажи,  
Как бетонные реки впадают в твои миражи,  
Океан адресов, саванну в огнях,  
Где цветут кирпичи в трансформаторных пнях,  
Поле битвы травы, плодородный асфальт,  
Каменный остров, стальной водопад.  
Стаи летят по пустым магистралям,  
Ночью трамваи выходят на водопой.  
Древний лесной, веди за собой.  
Мы в седьмом круге МКАДа, за нами Москва.  
Офисный зверь не проснется от тяжелого сна,  
Пока в темные очи мансарды-глазницы  
Не слетятся вить гнезда инфракрасные птицы.  
Дай разряд электронному сердцу —  
И неотложки сирена  
Доставит сигнал в магнитную вену.  
Путь от комы до космоса только один:  
Этот мир совершенен, запомним его таким.

Последняя строка звучит «потусторонне», как взгляд с другой планеты, с другого — того — света.

Лия, несомненно, была не от света сего, потому и был у нее этот взгляд, потому она и вернулась на свою планету.

Паша относился к Лии с нежностью, возможно, любил ее «как сорок тысяч братьев». Но все же — «братьев».

Его девушкой была другая.

Они познакомились в конце марта 2012 в Питере. В тот день Оля возвращалась домой позже обычного. В вагоне метро ее внимание привлек молодой человек в темных очках. В темных очках — в марте, вечером, в Питере — что за пиджонство! Но, выходя на следующей станции, пиджон протянул Оле какую-то бумажку.

Это оказалась визитка с силуэтом «Аленки», адресом сайта «183art.ru» и номером телефона. На обратной стороне было написано «Позвони!». Оля не очень поняла, что бы это могло значить. Таким молодым людям, по идее, должны нравиться девушки с накрашенными лицами, у нее же в краске были только руки.

Но, может, именно это и привлекло к ней внимание Паши: в девушке с перепачканными краской пальцами он безошибочно опознал свою.

Дома Оля вошла на сайт, означенный на визитке, и была буквально ошеломлена Пашиными работами.

Она позвонила. Молодые люди познакомились, но встретиться — в этот раз — им не удалось: Паша уезжал в Москву. Но они решили не терять друг друга. И начались бесконечные телефонные звонки и переписка по скайпу.

Оба были очень заняты: Оля писала диплом (она училась на реставратора), Паша работал над проектом Space invader.

Встречи все откладывались, но оба чувствовали, что стали близки и ждали предстоящей встречи.

Летом Паша ездил в Екатеринбург, а Оля — на Саяны и Байкал. Потом уехала в Иркутск. И снова — звонки, письма.

В октябре был шанс встретиться: Оля возвращалась из Иркутска через Москву. Но помешала та самая злополучная ветрянка.

А потом Паша уехал в Париж.

Встретиться удалось только в ноябре — после Парижа и премьеры TODD'а.

Но вернемся к TODD'у,

Вслед за Лией, 19 июля 2013 года, из жизни ушел композитор и исполнитель главной роли в мюзикле легендарный Михаил Горшенёв.

О Горшенёве (Горшке) написано достаточно. Здесь я коснусь лишь того, что относится к TODD'у, а стало быть, к Паше183.

И все-таки небольшая справка о М. Горшенёве.

Родился 7 августа 1973 года в г. Бокситогорске в семье военнослужащего. В детстве хотел пойти по стопам отца. Учился в школе, брал уроки игры на гитаре. После школы поступил в Реставрационный лицей (то есть рисовал, будучи по преимуществу музыкантом, как Павел играл — на фортепиано — будучи по преимуществу художником), откуда был отчислен, так как занимался не учебой, а музыкой.

В 1988 году основал группу «Контора», куда в 1990-м пригласил Андрея Князева (Князя) в качестве создателя текстов. Из-за того, что тексты были «сказочные», группа стала называться сначала «Король шутов», а затем — «Король и Шут».

В 2004 году вышел дебютный альбом Горшенёва «Я Алкоголик Анархист». В 2010-м Михаил загорелся созданием музыкального спектакля по мотивам английской легенды о парикмахере-убийце Суине Тодде. Так появился мюзикл TODD и новый альбом на его основе.

В одном из интервью М. Горшенёв так объяснил свое новое увлечение: «Мы поставили себе

задачу создать принципиально новый сценарий. Тодд у нас совсем другой. У нас он угрюмый и нереально “крутой”. Наш герой разительно отличается от того отморозка, который был описан двести лет назад». На вопрос о том, как шло превращение Горшенёва-рокера в Горшенёва-артиста, Михаил ответил: «Режиссер А. Устюгов является моим основным консультантом. Он мне постоянно говорит: “Не читай ты этих Михайлов Чеховых и Константинов Станиславских, у тебя должно быть свое обаяние”».

Отличие рок-концерта от спектакля Горшенёв видел в том, что «рок-концерт — это угар», а в театре «ты не должен обращать на зрителей внимания, в театре для тебя должны существовать только партнеры на сцене».

Режиссер А. Устюгов, упоминаемый Горшенёвым, так отзывался о его «переквалификации» в драматические артисты: «Миша рьяно набросился на актерское мастерство. Ясно, что сразу столкнулся с огромным объемом информации, с которым нужно было справляться. Не надо забывать, что люди этому учатся годами».

Но у Горшенёва не было в запасе этих лет.

«Огромный объем информации», напряженная репетиционная деятельность, хронические недосыпания и, что греха таить, стимулирующие вещества сделали свое дело.

19 июля 2012 года Михаила Горшенёва, пережившего восемь клинических смертей, не стало.

У каждого из этих троих — двадцатилетней Регины, двадцатидевятилетнего Паши183 и тридцатидевятилетнего Горшенёва — был свой путь к TODD'у. В нем эти пути пересеклись.

После него — пресекались.

Конечно, у каждого из них был, грубо говоря, свой диагноз, своя личная причина смерти.

Но меня не оставляет ощущение, что TODD-смерть сыграл в их жизнях роковую роль. Они играли в нем и с ним и, может быть, заигрались. Заигрались со смертью.

В последней арии Тодда есть такие слова:

С двух сторон сгорела,  
Сожжена моя свеча.

Мне кажется, что жизнь каждого из этих троих тоже сгорела «с двух сторон»: одной из них был TODD.

Но пока была премьера, восторг зрителей, высокая оценка в прессе, чувство удовлетворения и подъема у его создателей. А что касается Паши — то появившаяся возможность вырваться в Питер. К Оле.

О Питере он сказал: «...наряду с бесконечными гравюрами, статуями и барельефами ангелов здесь живут люди, которых вполне можно назвать ангелами во плоти».

Чтобы петербуржцы действительно почувствовали себя таковыми, Паша придумал вот что: на стенку автобусной остановки, над скамейкой, наклеивал крылья, так что ожидающий транспорта человек на какое-то время становился ангелом. Тем самым — ангелом во плоти.

А еще тогда же, гуляя с Олей по городу, он задумал и немедленно осуществил проект «Духи Питера».

На стенах домов в районе улицы Марата, Колмны и Лиговского проспекта благодаря Паше проступили лица Достоевского и Натальи Гончаровой...

Художник будто давал городу возможность видеть сны о себе самом, напоминал ему — в сутолоке и суете сегодняшнего дня — о его великом прошлом, о том, что он не каменная громада на болоте, а душа России.

И ведь все это, высокое и прекрасное, создавалось при помощи таких, казалось бы, приземленных вещей, как проектор, аккумулятор, фотоаппарат и штатив.

Подножием Пашиного искусства было ремесло.

«Меня восхищали, — пишет Оля, — четкость и скорость в формулировке идей и техническая сторона работы. Когда у него в голове рождался какой-либо образ, в следующее мгновение он уже знал, как его лучше воплотить».

Так, в одну из прогулок по Питеру Паша нашел старый полуразвалившийся гараж и при помощи отпечатанной фотографии и красок превратил его в вагон метро, как бы выезжающий из-под земли.

Вагон оказался московским: Москва входила в Питер, как, по слову поэта, «образ входит в образ».

Воистину у Паши был талант соединять времена и пространства, очеловечивать неживое и будить мертвое.

Новый, 2013, год встречали с Олей с Москве. Чуть ли не 1 января, когда все было закрыто, лихо-радочно искали материалы для Пингвина. Он должен был стать символом их совместного будущего — жизни и творчества.

Через год он украсит посмертную выставку Паши183. А еще тогда же, в канун Рождества, они вместе сделали граффити «Дай хоть на минуту испытать святую милость», где девочка-подросток простирает ладони к небу, с которого идет настоящий снег.



В этом случае нельзя сказать, что искусство продолжала природа, а природу — искусство.

Что там, где кончалось искусство, «дышала почва и судьба».

Искусство не кончалось.

Потому что девочка с протянутыми к небу ладонями превращала в искусство стену будки, на которой была нарисована, землю, на которой эта будка стояла, и небо, с которого шел настоящий снег.

Я думаю, что это и была задача Пашиного метода — не множить произведения искусства, а, преобразая жизнь, превращать в искусство ее самое. Расколдовывать спящую царевну.

А в конце января был «второй» Париж.

Туда нужно было привезти новые работы. И за декабрь-январь — сразу после TODD'a (о котором Паша скажет, имея в виду свои работы: «Теперь не страшно и умереть») — было написано двенадцать холстов.

Это были работы зрелого мастера, нашедшего свой путь, свою манеру, которому было что сказать миру.

Последние Пашины работы выполнены в смешанной технике: это и маркер, и краски, и металл. На половине из них есть тексты. По большей части это стихи.

У Паши 183, как у старых китайских мастеров, текст — неотъемлемая часть картины. А если учесть, что все они — тексты песен известных рок-групп, то получится, что каждая картина — синтез живописи, поэзии и музыки.

Имеющий уши слышит Пашины картины.

Нельзя «пересказать» картину, как нельзя пересказать музыку или стихи. Но все же, все же, все же...

Вот одна из картин — ладонь, очевидно пробитая гвоздем, на фоне схемы московской подземки. А под ней стихи. В этом случае — стихи самого Паши о распятых философах и поэтах, кончающиеся строчками «Но все же есть один ответ, дающий свету путь в ночи — всегда есть тот, кто пропадет, но сбережет огонь свечи».

«В жизни всегда есть место подвигу» — Паша переосмысливает эту хрестоматийную строчку, делает ее своим символом веры — «Наше дело подвиг». Так называется другая его картина, так называлась его посмертная выставка.

«Молодость», «подвиг», «смерть» — вот, на мой взгляд, триединство Пашиного метода, пути, посыла.

Еще картина: ребенок ест кашу на фоне египетских пирамид, одна из которых является пакетом — советским, треугольным — молока.

На картине строки из песни М. Танича:

На дальней станции сойду,  
Необходимо  
С высокой ветки в детство  
заглянуть...

Детство — это вечное. Позднесоветское детство самого Паши в том числе. Оно никогда не кончится. Сгинет Советский Союз. Разрушатся пирамиды. Детство пребудет всегда.

«Современный Дон Кихот» — это опять-таки о том, что в жизни всегда есть место подвигу. И не в жизни вообще, а в этой, с электричками и линиями электропередач, которая здесь и сейчас.

Холст «Хранители». Две загадочные фигуры в тоннеле подземки. Наверняка московской. Вспоминается недавняя катастрофа в московском метро, унесшая более сотни человеческих жизней. Очевидно, хранителей в ту минуту не было на месте. На месте подвига.

21 декабря 2012 года предрекали конец света. Паша верил в магию цифр (об этом свидетельствует его псевдоним).

На одном из «парижских» холстов изображена цитата из «Последнего дня Помпеи»: юноша, одной рукой прижимающий девушку, а другой пытающийся защититься от смертельной стихии. На заднем плане картины — московская высотка. В левом верхнем углу — горящая «лампочка Ильича», под которой строчки из песни Б. Гребенщикова «Та, которую я люблю»:

В сердце немного света,  
Лампочка в тридцать watt.  
Перегорит и эта —  
За новой спускаться в ад.

Что это? Картина-пророчество? Картина-предчувствие (конца своего света)?

И то, и другое, и третье, которое у каждого зрителя и слушателя (потому что картина эта звучащая) свое.

Может быть, самая загадочная из «парижских» картин — это картина с цитатой из Ю. Шевчука «Небо на земле»:

Там, где тьма стоит у света,  
Там, где свет стоит у тьмы.  
От завета до совета бродят  
Странные умы.

На ее заднем плане — особняк, охраняемый грифонами, а на переднем — бабушка (идущая

от особняка) с двумя ведрами. Над особняком две буквы — А и Ω (альфа и омега).

Пашины друзья считают, что это рай художников, тот самый (булгаковский) не свет, а покой. Но бабушка с ведрами? Может, она — связующее звено между тем и этим светом? Может, она та «последняя» (омега), которая стала «первой» (альфой)? Может, просто бабушка художника, которую он очень любил и которую «по благу» поселил в раю художников и поручил ей важное задание: носить что-то (добро? талант? искусство?) из одного мира в другой?

Картина «Скрипач» продолжает тему искусства.

А холст, где Стаханов врубается (в прямом смысле) в вечность, символами которой являются Московский Кремль и опять-таки египетская пирамида, с надписью «Мы увязли сапогами в вечность», думается, о том же: ежедневном черно-рабочем подвиге художника.

Или картина с изображением средневекового замка, где башня-донжон — баллон с краской.

Какой здесь посыл? Может, мое творчество — моя крепость?

А вот и знаменитая Пашина Аленка — его Мадонна, его Прекрасная Дама.

Но на этот раз — соединенная с материнской платой компьютера.

На мой взгляд, это метафора Пашиного метода: новейшие технологии в соединении «с человеческим, слишком человеческим». Ведь что может быть «человечней» ребенка, а Аленка — это вечный ребенок, девочка, которая никогда не вырастет.

*Детство — художник — подвиг.*

Если совместить триаду первого (из последних) Пашиного холста «молодость — подвиг — смерть» с триадой последнего «детство — художник — подвиг» и по его методу вычеркнуть повторяющееся (а повторяется здесь не только «подвиг»: «детство» и «художник» в системе Пашиных координат — это одно, потому что художник — вечный ребенок), то получится:

*художник — молодость — подвиг — смерть.*

Абсолютное понимание своего метода, пути, судьбы. Ни добавить, ни убавить.

Эти холсты поехали в Париж. На их транспортировку потребовались две тысячи евро. Деньги, конечно, дала мать.

Они, холсты, вернутся в Россию уже после смерти Паши, летом 2013-го. Их привезут в автобусе вместе с разным барахлом: тряпками, телевизорами, холодильниками.

...Первый день в Париже — 25 января — совпал с днем рождения Высоцкого. Паша не мог на это

не откликнуться, и на одной из парижских стен появились граффити: магнитофонная кассета.

Высоцкий бы оценил.

Паша пробыл в Париже шесть дней: с 25 января по 30-е. Это был не тот, первый, чужой Париж — теперь он был фестивальным, рабочий, а значит, свой. В нем Паша чувствовал себя как рыба в воде: с утра до вечера рисовал, ночью смотрел город. В рамках парижского фестиваля, по сути, прошла его первая персональная выставка.

Здесь он создал граффити «Есенин» и, назовем их так, «Мальчик у ручья», где рядом с мальчиком, пускающим бумажный кораблик, надпись «Любое течение высохнет, но искусство останется».

«Высоцкий», «Есенин» и «Мальчик у ручья» объединены той же темой:

*художник — молодость — искусство (оно же подвиг) — смерть.*

Здесь же появилась проекция в стиле light-art «Возвращение мушкетеров» (куда же и возвращаться мушкетерам, как не в Париж!) и стрит-арт-работа «Две руки», символизирующая встречу русской и французской культур.

Паше очень хотелось, чтобы в Париже купили его работы: это была бы окончательная победа. Он, себе уже все доказавший, хотел доказать миру — сегодняшнему, хищному, прагматичному, — что художник может жить своими трудами, искусством, а не ремеслом.

Но он выставил довольно высокие цены.

Впрочем, не столько высокими были цены, сколько аудитория, как теперь принято говорить, была нецелевая: на фестиваль заглядывали в общем-то бедные люди, простые парижане — не меценаты, не галеристы.

Кстати, о галеристах.

Еще в 2007 году в Москву приезжала парижская галеристка Наиля Нурхаева. Она побывала на «Винзаводе» и заметила там Пашу. Как у всех галеристов, у нее был нюх на настоящее. И в течение следующих трех лет она купила у Паши восемь картин по 50 (!) долларов, а восемь просто взяла, якобы на реализацию.

Все попытки связаться с ней и вернуть картины тщетны. Оставим это на ее совести.

В Париже Паша дал несколько интервью.

В одном из них он сказал: «Я не считаю себя ни художником, ни дизайнером, ни фотографом. Я просто человек, который хочет что-то сказать людям». (Сколько в наши дни людей, считающих себя художниками, артистами, поэтами, которым совершенно нечего сказать людям.)

Вернувшись из Парижа, Паша сразу попал на похороны любимой бабушки — той самой, маминной мамы, дед которой был иконописцем.

Он очень тяжело пережил эту потерю еще и потому, что перед отъездом отмахнулся от ее приглашения: как всегда, не хватало времени.

Паша написал письмо.

«Здравствуй бабуля.

Здравствуй мое солнышко маленькое.

Я вернулся из этой поездки. Я все чувствовал.

И я знаю, что ты теперь рядом. Пожалуйста, прости меня и маму. Всех нас прости. Мы с мамой тебя очень любим и будем помнить всегда. А если что, я напомним о тебе и о нашем великом роде. Спасибо тебе!!!

Люблю! Люблю! Люблю!

Твой внук Пашуня.

30 января 2013 года».

Свое письмо Паша положил на бабушкину могилу.

Говорят, это плохая примета.

Бабушке Паша посвятил свой последний проект «Город детства».

Для осуществления этого проекта он отобрал десятки фотографий, на которых запечатлено «советское детство»: мамы с колясками, дети с санками. По мысли Паши, их нужно было увеличить и расставить по Черкизовскому парку, причем так, чтобы в определенное место в парке попала фотография, где изображено это же место тридцати-сорокалетней давности. Город как бы смотрел в волшебное зеркало и видел себя в детстве. Паша собирался снять на пленку детей и взрослых, рассматривающих старую фотографию и сравнивающих себя с теми, кто на ней изображен.

Поменялись фасоны колясок, санок, пальто и шуб, но по-прежнему остались дети, мамы, бабушки.

Думаю, что смысл этого проекта — диалог, восстановление порванной связи времен, если угодно, воскрешение.

В том числе и собственной бабушки.

Денег на проект не дали, и Паша сделал его на свои.

А в конце марта поехал в Питер к Оле. Он обещал позвонить из поезда, но позвонил сразу в дверь. Оля обратила внимание на отсутствие запаха табака.

Оказывается, перед отъездом из Москвы Паша еще раз сходил на TODD. Там прямо во время спектакля у девятилетней девочки Агнии, ис-

полнявшей роль смерти, сорвался голос, но она смогла до конца допеть свою партию:

Как васильки, синеют небеса,  
И распевают на рассвете птички,  
И заплетает девочка косички,  
Ей ни к чему железная коса.

Прекрасна жизнь и так нелепа смерть,  
Как бантик голубой на рок-концерте...  
Но если уж такая роль у смерти,  
Ей тоже захотелось что-то спеть.

Взлетает ввысь, как бабочка, душа.  
Пусть мертвые лежат в своей могилке.  
Оставьте эти детские страшилки.  
И посмотрите, жизнь так хороша.

Пашу так потрясло мужество этого ребенка, что он твердо решил бросить курить...

Когда они прощались с Олей, ветер стих, и крупными хлопьями пошел снег. Может, такими же хлопьями он шел тогда и в Москве, опускаясь прямо в ладони девочки с последних Пашиных граффити.

Оля собиралась приехать в Москву через несколько дней — надолго, может быть, навсегда.

Но через несколько дней, а точнее, 1 апреля, Паши не стало.

Мать, пришедшая утром навестить захворавшего накануне сына, нашла его мертвым.

Пашу 183 похоронили на кладбище «Ракитки» рядом с его второй бабушкой прямо напротив церкви. В последний путь его провожало не менее ста человек, в том числе его кумир, солист группы «Алиса» К. Кинчев. Не менее половины пришедших считали Пашу своим другом.

Паша ушел на пике известности, накануне весны и личного счастья.

Это была жизнь-искусство. Жизнь-подвиг. Ничего лишнего.

Он ушел и от денежки, и от девушки.

Мир ловил его, но не поймал.

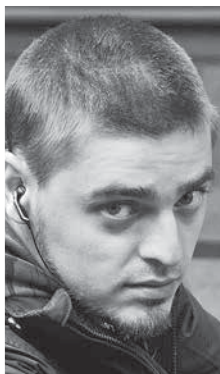
Как Маленький принц (имя «Павел» в переводе с латинского значит «маленький»), он «никогда уже не вырастет и не станет скучным ленивым взрослым».

И хочется верить, что он не умер, а как Маленький принц — после недолгого пребывания на плохо оборудованной для веселия планете Земля — ушел на свой астероид.

А почему бы и нет?

Он же был не только «маленький», но и легкий — Павел Пухов.

Продолжение следует.



Паша183

### Павел Александрович Пухов

Граффити-художник, живописец, автор фотографий, видеоработ, light-art-проектов.

Родился 11 августа 1983 года в Москве. С детства увлекался музыкой — учился в музыкальной школе по классу фортепиано, пел в детском хоре Большого театра. Интересовался информатикой, в юности занимался сборкой компьютеров.

1998–2000. Учился в Московском государственном колледже информатики и права.

В 14 лет увлекся граффити. Первый никнейм — Хекс.

2001–2002. Занимался на курсах графического дизайна в классе С. Д. Чебаткова.

2001. Учился на курсах 3D-MAX при МАРХИ, класс В. С. Пашкова.

2002–2006. Учился в Национальном институте моды по специальности «коммуникативный дизайн».

В начале 2000-х годов увлекся диггерством.

2005. На основе старого диапроектора разработал оригинальный, позволяющий создавать спецэффекты проектор, потребляющий энергию от батареек. В подземном русле реки Неглинки снял первый цикл light-art-проекций «Москва Гиляровского» (2005–2007).

2005. На любительскую фотокамеру совместно с граффити-командой «ОНИ» снял фильм «Сказка про Аленку».

2007. Первая публикация о творчестве Паши183 в журнале «Хулиган».

2007. Начал сотрудничать с парижской Onega Galerie, работающей со стрит-артом.

2009. Перенес тяжелую травму — упал с большой высоты и сильно разбился. Два месяца пролежал в реанимации и полгода восстанавливался.

2011. Начал работать с фотокамерой Mark-2.

2011. Приобрел налобную видеокамеру GoPro, благодаря чему смог снимать видеоролики о процессе создания своих уличных инсталляций.

Погиб 1 апреля 2013 года.

### Персональные выставки

2007

- Персональная выставка в книжном Магазине «Республика», 1-я Тверская-Ямская, д. 10, Москва

### Групповые выставки

2006

- «Эталон». Городская картинная галерея, Реутов
- «Стрит-арт». Государственная Третьяковская галерея на Крымском Валу, Москва

2009

- Групповая выставка в Центре современного искусства М'АРС, Москва
- «Звездное небо». Городская картинная галерея, Реутов

2010

- 8-й этап лэнд-арт-граффити проекта «Свобода», Щелково
- Public-art-проект «Стена». Центр современного искусства «Винзавод», Москва
- TRAFORO, передвижная выставка трафаретов. Восточная галерея
- Галерея «Чистка одежды», Москва
- Магазин и большое кафе Студии Артемия Лебедева, Москва
- Московский государственный университет печати

2011

- «Человек и мегаполис». Московский государственный Дарвиновский музей (видеопроект «Четыре печати»)

### Участие в конкурсах и фестивалях

2005–2006

- Победитель конкурса граффити «Snickers Урбания»

2006

- Фестиваль граффити. Центр современного искусства «Винзавод», Москва

2012

- Фестиваль русского активизма «Welcome back, Putin!». Политический клуб DeBalie, Амстердам
- Стрит-арт-фестиваль «Чистое поле», резиденция «АрхФерма», Тульская область
- Фестиваль «Арт-овраг», Выкса

2013

- 4-й Фестиваль российской культуры «RussenKo» (создание инсталляций в городе, участие в экспозиции, публичная лекция), Кремлен-Бисетр, Франция





Тодд На фоне стены Пороков



«Крылатый бомж». 2012 год. Техника граффити





«Хранители». 2013год. Холст, акрил